Ю. Барабаш



ГОГОЛЬ

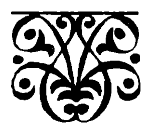
Загадка «прощальной повести»





Ю. Барабаш





*(«Выбранные места из переписки с друзьями».
Опыт непредвзятого прочтения)*



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1993

ББК 83.3Р6
Б 24

Издание выпущено
по Федеральной целевой программе
Книгоиздания России

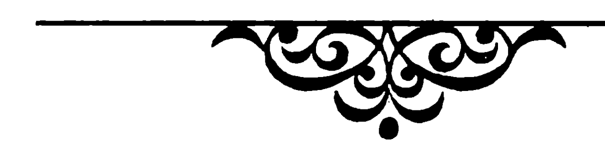
Оформление художника
Ю. Боярского

Б $\frac{4603020101-126}{028(01)-93}$ КБ-20-74-1992

ISBN 5-280-01466-4

О Русь, какой ты дашь ответ
На Гоголеву исповедь?

И. Елагин. Гоголь.



НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ

«Прощальная повесть»? Разве есть такая у Гоголя? — удивится читатель. И будет по-своему прав. Ибо ни в одном, даже самом полном, собрании сочинений писателя повести под таким названием мы не найдем.

Но в этом-то как раз и загадка...

* * *

...В сороковых годах прошлого века в московских гостиных можно было встретить некоего месье Г. Ро́ра. Выходец из Франции, он именовал себя «миссионером свободы», велеречиво, хотя и довольно туманно, распространялся о республиканских идеалах, однако при этом — что, быть может, составляло главную его отличительную черту — умел и других слушать, выспрашивать, наматывать на ус, улавливать настроения и веяния момента, толки и пересуды, умел наблюдать и подмечать, заводить знакомства, сближаться с людьми, особенно охотно — с учеными и литераторами. Все это затем нашло отражение в выпущенном им в 1852 году в Париже трехтомном сочинении под названием «Республиканский миссионер в России».

Внимание Г. Рора привлекает имя Гоголя — оно у всех на устах, в обществе с нетерпением ожидают появления его новой книги, «Выбранных мест из переписки с друзьями», о которой ходят самые разноречивые слухи. Надеясь раньше других перехватить сенсацию и будучи наслышан о дружеских отношениях Гоголя с М. Погодиным, шустрый «миссионер свободы» обращается к последнему с просьбой: нельзя ли конфиденциально ознакомиться с гоголевскими письмами, например, «как-нибудь расположиться в воскресный день, в уголке»?.. Можно, дескать, «полностью рассчитывать на мою скромность» и т. п.

Что ответил Погодин на записку Рора, мы не знаем; несомненно, француз был разочарован, узнав, что писем Гоголя у Погодина нет, их подготавливал к печати в Петербурге П. Плетнев.

Рассказывая впоследствии в своем трехтомнике о реакции читающей русской публики на книгу Гоголя, Рор, которому никак не откажешь в наблюдательности, обращает внимание на странное обстоятельство: хотя «все захотели их («Выбранные места...».—*Ю. Б.*) прочесть и почти тотчас же зазвучали и порицания, и хвалебные гимны», на самом деле «большая часть читателей ограничилась тем, что прочла лишь начало книги или перелистала ее...»[1].

Приметливый бытописатель схватывает и фиксирует здесь то, о чем ранее с тревогой размышлял Плетнев. «Страшно подумать — а это выйдет, — писал он Гоголю, сообщая, что «книга твоих писем пущена в свет», — что у многих не достанет сил кончить ее»[2].

Это было горькое и, к несчастью, сбывшееся пророчество. А ведь Гоголь мечтал, чтобы читатель прочел его книгу обязательно «несколько раз», в своем «Предисловии» он прямо просит об этом «соотечественников»[3]. Немногие вняли этой просьбе, иные же соотечественники из числа пишущей братии еще и вдоволь поиздевались над нею; слишком мало нашлось таких, кто, как молодой И. Аксаков, считал, что книгу Гоголя «надо читать не раз и не два, а 20 тысяч раз»[4].

Так сложилось с самого начала, так и повелось — вплоть до наших дней. Нам все предельно ясно со школьной скамьи: консерватизм... патриархальщина... религиозный фанатизм... ханжество... заискивание перед самодержавием... что там еще? Подобно самодовольным лермонтовским старцам, мы с глумливой улыбкой показывали на нищего пророка:

«...Глупец — хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
  Смотрите же, дети, на него,
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!

Приговор давно вынесен и подписан, обжалованию не подлежит. Так что и читать книгу нет, собственно, никакой надоб-

---

[1] См.: Литературное наследство, т. 58. М., 1952, с. 694—695.

[2] Русский вестник, 1890, XI, с. 42.

[3] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14-ти томах. М., 1937—1952, т. VIII, с. 216. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках тома и страницы. Должен предупредить читателя, что, следуя Гоголю (да и вообще общепринятой традиции), слово «Бог» и другие слова того же семантического ряда пишу с прописной буквы.

[4] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, ч. I, т. 1. М., 1888, с. 407.

ности. Позволю себе несколько перефразировать Плетнева: стыдно подумать, но много ли среди нас, кроме узких специалистов, тех, кто дочитал «Переписку» до конца? И все ли из мнящих себя интеллигентами — пусть уж меня простят — читали ее вообще?.. Целые поколения выросли и получили образование, лишь кое-что, лишь понаслышке, отраженно, по хлесткой базаровской реплике да по канонизированным критическим разборам (вопрос: всегда ли исчерпывающим и во всем ли справедливым?) знают о книге Гоголя. Предпринятая в свое время И. Золотусским дерзкая попытка пробить глухую стену омертвевших стереотипов и догм, хотя и вызвала дискуссию, подлинной поддержки и развития не получила [1], и надо отдать должное исследователю, продолжающему с достойным уважения упорством настаивать на том, что «Выбранные места...» — не падение, не фиаско Гоголя, а его подвиг [2]. Но до того, чтобы эта точка зрения по-настоящему утвердилась, еще очень далеко — инерция слишком сильна...

Вот почему я считаю не только полезным, но на данном этапе просто необходимым вместе со своим читателем прежде всего внимательно и непредубежденно перечитать, а точнее — прочитать гоголевскую «Переписку».

* * *

Следующее замечание менее существенно, это скорее оговорка.

Во времена Г. Рора, по горячим следам, о книге Гоголя спорили, и как еще спорили. В третьем томе упоминавшегося сочинения Рора есть описание характерной сцены в одной из московских гостиных, где скрещивают свои мнения сторонники и противники Гоголя: светская дама, которую «Переписка», по ее словам, «примирила» с Гоголем (доселе она его, как видно, не слишком жаловала); ханжа и святоша «с претензиями на знание литературы»; едкий и категоричный в своих суждениях «молодой представитель новой школы»; «славянофил» — горячий апологет «Выбранных мест...» и вообще Гоголя; откровенный ретроград «толстяк Николай», этакий Собакевич, обвиняющий Гоголя-«малоросса» в том, что он «издевается над нашей Россией...» [3].

Нечто подобное можно было услышать тогда не только в гостиных обеих столиц, но и в провинциальных усадьбах, на

---

[1] См.: Золотусский И. Гоголь. М., 1979.

[2] См.: Золотусский Игорь. Оправдание Гоголя.— В кн.: Вінок М. В. Гоголю. Харьков, 1989.

[3] Литературное наследство, т. 58, с. 699—700.

различного рода губернских и уездных собраниях, в дворянских клубах, на студенческих сходках, не говоря уже о литературных кружках, всевозможных «средах» или «пятницах». Даже в отдельных семьях не было порою единства во взглядах на новую книгу Гоголя: у Аксаковых, например, разгорелась острая эпистолярная полемика между живущим в Калуге Иваном и фактически всеми остальными членами семейства во главе с Сергеем Тимофеевичем.

Особенно бурно кипели страсти на страницах газет и журналов — от булгаринской «Северной пчелы» до некрасовского «Современника», от тихого, малозаметного «Финского вестника» до влиятельной «Библиотеки для чтения», от основательных ежемесячников типа «Сына Отечества», «Москвитянина», «Отечественных записок» до бойких петербургских и московских «Ведомостей» и даже «Московского Городского Листка»... Гоголевская «Переписка» вышла в свет в самом начале 1847 года, а уже в феврале один из рецензентов отмечает: «Ни одна книга в последнее время не возбуждала такого шумного движения в литературе и обществе, ни одна не послужила поводом к столь многочисленным и разнообразным толкам, как «Выбранные места из переписки с друзьями»[1]. Справедливости ради надо отметить, что «хвалебных гимнов», о которых упоминает Г. Рор, было очень мало, все больше «порицания». За редким исключением, большинство статей, рецензий, даже писем, получаемых автором, состояло из «упреков слишком тяжких и жестких» (XIII, 271), и «многие были так страшны, что не дай их Бог никому получить» (VIII, 467).

Так вот — подробный обзор всей этой полемики, этой «страшной анатомии», производившейся, по выражению Гоголя, «над живым телом еще живущего человека» (VIII, 432), не входит в мою задачу. Это уже сделано в специальных гоголеведческих изданиях, к которым может обратиться любознательный читатель. Я же намерен касаться тех или иных отзывов лишь по мере необходимости, в связи с рассмотрением самой книги Гоголя.

* * *

«Жить — значит, меняться,— пишет в предисловии к «Суждениям господина Жерома Куаньяра» Анатоль Франс, — посмертная жизнь наших мыслей, запечатленных пером, подчиняется тому же закону: они продолжают свое существование, лишь непрерывно меняясь...»[2]. Это справедливо сказано. Толь-

[1] Финский вестник, 1847, т. 14, № 2, с. 33.

[2] Франс Анатоль. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2. М., 1958, с. 527.

ко наивному, обыденному сознанию история литературы может представляться в виде огромного скопления неподвижных памятников, каждый из которых занимает строго и окончательно определенное место на бесконечной полке всемирного книгохранилища. Куда ближе к истине взгляд на мировую литературу как на сложнейшую динамическую систему, компоненты которой пребывают в непрерывном движении, развитии, изменяющемся взаимодействии друг с другом, со временем, с читателем и даже... с самими собой,—такова диалектика их постоянства и обновления.

А. Франс отмечает одну, вполне реальную, хотя и в присущей ему парадоксальной манере выраженную, сторону процесса: различного рода интерпретации, так или иначе влияющие на авторский замысел. По его мнению, произведения, непрерывно изменяясь благодаря «жалким умствованиям ученых педантов», становятся «все более и более непохожими на то, какими они были, когда появились на свет, зародившись у нас в душе». В конечном счете, «ни один стих из «Илиады» и «Божественной Комедии» не сохранил в нашем понимании того смысла, который был придан ему первоначально»[1].

Но есть и другие аспекты проблемы. Важнейший, на мой взгляд, — различия во взаимоотношениях литературных произведений с той или иной эпохой, возникающие при их соприкосновении с новыми явлениями жизни и отсюда — с новыми запросами общества, его изменившимся духовным, эстетическим сознанием и этическим идеалом, с совершенно иным художественным контекстом. То, что, скажем, «Гамлет», «Дон Кихот» или «Борис Годунов» в разные исторические моменты живут непохожей жизнью, воспринимаются по-разному, кажется, можно считать аксиомой; этот факт давно осознан эстетической мыслью, хотя логически вытекающий из такого осознания историко-функциональный подход к литературному процессу в практических исследованиях утверждается робко.

Вряд ли надо оговариваться, что речь идет, конечно же, не о спекулятивных интерпретациях, не о конъюнктурном «подтягивании» классики к злобе дня. Потенциал обновления литературного произведения, возможность динамической переакцентировки функций отдельных его компонентов, их переосмысления заложена в них самих — вот что важно не упустить из виду. Происходит своего рода раскрытие внутренних резервов, до некоторых пор отодвинутых на периферию читательского внимания, а то и вовсе скрытых от него.

Отношение к «Выбранным местам из переписки с друзьями» — наглядный тому пример. Книга эта в представлении

---

[1] Франс Анатоль. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 527.

большинства из нас раз и навсегда застыла, законсервировалась, на веки вечные осталась в той и только той далекой от нас эпохе. Жизнь, однако, учит быть более вдумчивыми и осторожными в приговорах. Если бы в мою студенческую пору, в начале 50-х годов, кто-нибудь сказал мне, что из карамзинского наследия «История государства Российского», а не хрестоматийная «Бедная Лиза» через три с половиной десятилетия окажется в центре широкого общественного внимания, я бы, признаюсь, принял это предсказание за шутку. Или публицистические сочинения Достоевского, суждения Толстого-моралиста. Еще не так давно они привлекали наше внимание прежде всего как объект критического отталкивания, сегодня же мы читаем «Дневник писателя» и «Исповедь» не менее пристально, с не меньшей духовной жадностью, чем «Преступление и наказание» и «Войну и мир». А «мысли, запечатленные пером» (использую франсовское выражение) И. Киреевского и В. Печерина, А. Хомякова и П. Чаадаева, К. Леонтьева и Н. Федорова, В. Соловьева и П. Кропоткина, В. Бердяева и В. Розанова, С. Булгакова и П. Флоренского, М. Драгоманова и М. Грушевского, В. Винниченко и Д. Чижевского... А высочайше осужденные и оплеванные «Вехи», «Несвоевременные мысли» Горького... А письма В. Короленко к А. Луначарскому... Я останавливаюсь на этом рубеже, ибо дальше начинается этап нашей духовной и литературной истории, требующий особого разговора.

Да, многое возвращается к нам из забытья, а порою и как бы из небытия, ко многому возвращаемся — или еще возвратимся — мы сами.

Я не вижу причины, почему должны быть исключением гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями».

* * *

Могут спросить: а в чем смысл такого возвращения и кто поручится, что оно есть благо? Стоит ли, не легкомыслие ли искажать сложившуюся картину мира, нарушать стабильную иерархию ценностей, смещать устоявшиеся критерии? К тому же какие, мягко говоря, противоречивые, мировоззренчески далекие от нас, подчас попросту чуждые нам фигуры, да и друг другу чуждые: воинствующие славянофилы и убежденные западники, видевшие в России лишь цитадель отсталости и мракобесия; ортодоксальные защитники православия и католик, сменивший кафедру греческой словесности в Московском университете на келью монаха-редемпториста; один из столпов русского консерватизма и князь-анархист; апологеты русского

самодержавия с его незыблемым принципом «единой и неделимой» и приверженцы национальной украинской идеи; бывший легальный марксист, ставший религиозным философом, и певец революционной бури...

Что тут сказать? Верно, что картина меняется, но отнюдь не верно, будто она искажается, напротив, она становится более полной, многообразной, стереоскопичной, более близкой к реальности, а стало быть, и более адекватной. Возвращение — это приращение нашего духовного потенциала, это отказ от искусственного, хотя вроде бы и «удобного», во всяком случае привычного, обеднения, маскирующегося под гармонию, в пользу обогащения, которая лишь косному уму может показаться хаосом.

Это важно; однако важно не только это. Едва ли не еще существеннее тот вывод, к которому с неизбежностью мы приходим (если, конечно, не предпочтем зажмурить глаза и заткнуть уши) перед лицом этой новой, или обновленной, или возрожденной — как угодно, картины отечественной духовной истории, — вывод о вариативности исторического развития. О том, что вариант истории, известный нам сегодня как единственный, в пору своего возникновения таковым не был. О существовании в истории альтернативных путей к воплощению идеала, как и множественности трактовок самого идеала. О бесплодности такой философии истории, которая имеет дело с данностью, но не с процессом, считая абсолютной истиной свершившееся только потому, что «так было», и игнорируя то, что «могло бы быть»... О несостоятельности однолинейной концепции идейных и философско-нравственных исканий, при которой прогрессивным считается то, что оказалось так или иначе реализованным в практике, остальное же списывается по разряду ошибок, идейных тупиков и злокозненных попыток притормозить движение прогресса. Часто высказываемая мысль о неприменимости к истории сослагательного наклонения верна в том отношении, что прошлое не исправишь и события нельзя «переиграть» заново, однако все же подлинное постижение исторического прошлого без «сослагательного наклонения», то есть без учета возможных, хотя и не реализованных, вариантов вряд ли возможно.

Охотно повторяем мы и справедливые слова о том, что история — не тротуар Невского проспекта. Не забудем при этом, что она, история, и не шоссе с однорядным движением... Нелепо отрицать наличие закономерностей в историческом развитии, однако не менее нелепо считать проявлением закономерности лишь то, что уже произошло; причинно-следственные связи действуют далеко не так прямолинейно, как нам иногда кажется. Падение феодализма и замена его буржуазным стро-

ем во Франции конца XVIII века были закономерны и потому неизбежны, но именно ли так и только ли так, как она происходила, должна была происходить Великая французская революция? Русское освободительное движение в России не могло не возникнуть и не получить громадного, как все в России, размаха, все к этому вело, и вело неотвратимо, но действительно ли единственно возможными и безукоризненно правильными были его конкретные формы и пути? И только ли (безусловно, заведомо, всегда и во всем) ошибочными, реакционными, соглашательскими и проч., и проч. следует считать возникавшие иные решения, иные варианты?

Как же все сказанное соотносится с Гоголем и его книгой?

В одном из писем к автору «Выбранных мест...» Ап. Григорьев обращает внимание на совпадение: почти одновременно с книгой Гоголя вышел в свет роман А. Герцена «Кто виноват?». Критик стремится быть объективным в оценке литературных достоинств романа: «...Книга действительно блестящая, остроумная, резко парадоксальная...» Но он решительно не приемлет основную концепцию романа Герцена. По его мнению, автор подчиняет свой ум и дарование изначально ложной идее — отрицанию «свободы и сопряженной с ней ответственности», утверждению мысли о том, «что никто и ни в чем не виноват, это все условлено предшествующими данными и что эти данные опутывают человека так, что ему нет из них выхода...» [1].

Заметна односторонность во взгляде критика на книгу Герцена, в трактовке ее главной идеи; анализ Белинского, данный в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», полнее и глубже. Меня, однако, в данном случае интересует не сама по себе оценка Ап. Григорьевым романа «Кто виноват?». Я думаю вот о чем: почему о своем неприятии увиденной им в романе концепции человека, его свободы и его ответственности перед лицом общественных условий, «предшествующих данных», — почему он пишет об этом именно Гоголю? Не потому ли, что находит в его «Выбранных местах из переписки с друзьями» альтернативу чуждой ему концепции?

Именно потому, и в этом отношении Ап. Григорьев, я думаю, не был далек от истины. Гоголь в своей «Переписке» одним из первых в русской литературе, если не первым, поставил под сомнение некоторые из тех крайностей, которыми и впрямь грешила революционно-демократическая мысль, — хотя бы в том, что касалось понимания взаимосвязей человека и «среды», отношения к цивилизации, материальным благам и к нравственности, душе, внутреннему миру; наконец, он отверг, вслед

---

[1] Григорьев Аполлон. Собр. соч., вып. 8. М., 1916, с. 25.

за Пушкиным, зловещий призрак бессмысленного и беспощадного бунта, разглядев в нем страшные очертания «топора», к которому вскоре будут призывать Русь... Он сказал то слово о «строении» человеком самого себя, которое до него в полный голос прозвучало разве что у Сковороды, а после него было подхвачено и углублено Достоевским, Толстым, сборником «Вехи».

Означает ли это, что Гоголь — автор «Выбранных мест...» — во всем прав? Нет, не означает; в гоголевской социально-этической альтернативе были и свои крайности, причем часто консервативного характера, и свои тяжкие заблуждения, что, собственно, и не позволило ей выйти на стрежень исторического процесса, поворачивало ее поперек и даже против течения, но была в ней и своя правда, которую в пылу борьбы не разглядели, да, возможно, и не могли тогда разглядеть современники.

* * *

К числу таких заблуждений, причем едва ли не самых для автора роковых, относят обычно религиозность, пронизывающую книгу от начала до конца. Даже С. Аксаков, человек старой закваски и далеко не радикальных воззрений, к тому же входивший в круг ближайших друзей Гоголя, пылкий его почитатель, — даже он в письме к сыну Ивану горько сетовал (впрочем, еще не прочитав «Переписки», лишь пользуясь «верным и секретным известием», а попросту говоря, слухами): «Увы! исполняется мое давнишнее опасение! религиозная восторженность убила великого художника...»[1] Этот приговор стал общим местом сразу же, уже в современной Гоголю критике его книги, о послеоктябрьском же литературоведении не приходится и говорить.

Между тем вопрос, на мой взгляд, далеко не так однозначен, и характеристика религиозных устремлений Гоголя, проявившихся в «Выбранных местах...», просто как «заблуждений» представляется, мягко говоря, поверхностной. Ниже я намерен подробнее рассмотреть эту тему, во всяком случае, наиболее существенные ее аспекты, но уже сейчас хотелось бы, во избежание недоразумений, сделать одну оговорку принципиального характера. Оговорка эта рассчитана на читателя, который привык, не вникая в существо дела, пугаться уже самих слов — Бог, Христос, Евангелие и т. п. Что поделаешь, сознание многих из нас формировалось в ту пору и в тех условиях, когда

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., 1956, с. 333.

подлинным откровением, вершиной революционной мудрости казались кое-кому призывы эренбурговского Хулио Хуренито: «Оскорбляй святыни, преступай заповеди, смейся, громче смейся... чтобы было для пустого — пустое». Но ведь ныне мы, кажется, понемногу умнеем, начиная, хотя и с трагическим запозданием, понимать: культура и религия, нравственность и христианство, созидание и вера связаны между собою настолько тесно, что оскорбление святынь, преступление заповедей, циничная насмешка над ними чреваты страшной, зияющей пустотой, милой сердцу разве что «великого провокатора»...

Это — мы, и это — сегодня. Что же сказать о Гоголе?

* * *

И последнее. Читатель, надо полагать, уже заметил, что эти вступительные странички написаны от первого лица. Не исключено, что кто-нибудь расценит данное обстоятельство как недопустимое отступление от нормы. Что ж, я готов принести извинения, однако решусь настаивать на своем праве и далее продолжать в том же духе, тем более что на своем веку уже отдал немалую дань традиции безличного изложения... Хотелось бы быть правильно понятым: говоря от первого лица, я просто подчеркиваю тем самым, что иные мои суждения о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» или в связи с ней субъективны, не совпадают, а подчас и расходятся с некоторыми давно устоявшимися, в том числе и весьма авторитетными взглядами и оценками. Только это — и ничего более.



«ВЫБИРАЮ САМ ИЗ МОИХ ПОСЛЕДНИХ ПИСЕМ...»

Видя жития сего я горе,
Кипящее, как Чермное море,
Вихром скорбей, напастей, бед,
Расслаб, ужаснулся, поблед.
О гоге сущим в нем!

Г. Сковорода.
Сад божественных песен.
Песнь 17-я.

К середине 40-х годов, как раз в ту пору, к которой относится возникновение замысла и создание «Выбранных мест из переписки с друзьями», Гоголь, с юных лет не отличавшийся богатырским здоровьем, совсем «разслаб» и духом и телом. Это временно́е совпадение подтверждает, более того — акцентирует сам писатель.

Вот первые слова его «Предисловия» к «Переписке», датированного июлем 1846 года: «Я был тяжко болен...» Из последующего картина вырисовывается такая: когда к лету 1845 года болезненное состояние достигло высшей точки и Гоголю казалось, что «смерть уже была близко» (VIII, 215), он, вторично в этом году отговев и собрав последние силы, пишет духовное завещание, где, в частности, поручает друзьям отобрать наиболее существенные из его писем, только то, что «может доставить какую-нибудь пользу душе» (VIII, 222), причем не всех писем, а начиная с конца 1844 года (эту дату мы еще вспомним), и издать их отдельной книгой. Смерть и болезнь, однако, отступили, автор даже готовится «к отдаленному путешествию к святым местам, необходимому душе моей», и теперь уже сам, чувствуя все же, что это лишь передышка и что жизнь его висит на волоске, производит отбор своих писем и составляет из них книгу. Ее он хотел бы «оставить при расставании... от себя моим соотечественникам» (VIII, 215).

Так все и было или, вернее, почти так, ибо есть в изложении Гоголя элемент той «корректировки» событий, того их переосмысления, которые неизбежно возникают там, где беглый дневниковый набросок, запись факта, эпистолярное сообщение преобразуются в принципиально новое качество — в явление литературы. Уже в первых строках «Предисловия», а ес-

ли иметь в виду всю книгу, то тем паче, Гоголь выступает не просто как собиратель собственных писем, человек, решивший навести порядок в своем архиве; нет, он предстает перед нами в роли профессионального писателя, избравшего «переписку» в качестве наиболее подходящей для воплощения своего замысла литературной формы.

Что я имею в виду?

Поясню, однако, прежде необходимое, на мой взгляд, отступление.

Признание Гоголя относительно своего болезненного состояния, в котором задумывалась и складывалась его «Переписка»,—сущая находка, весомейший аргумент для сторонников версии о психической невменяемости автора книги. А таковых в разные времена было более чем достаточно.

Не успел Гоголь летом 1846 года, еще в разгар работы над книгой, опубликовать статью о переводе В. Жуковским гомеровской «Одиссеи» (эта статья представляла собой отредактированное письмо к Н. Языкову и была включена затем в «Выбранные места...»), как О. Сенковский, он же «Барон Брамбеус», поместил в своей «Библиотеке для чтения» проникнутый злой иронией комментарий. Намек на известное сравнение «Мертвых душ» с «Илиадой», принадлежащее К. Аксакову, был более чем прозрачен: «Гомер болен! Гомер захворал на том, что он — не в шутку Гомер. Гомер возгордился неизлечимо!»[1] То ли этот выпад, то ли выдержанная в таком же тоне статья другого барона, Е. Розена, в «Северной пчеле» (№ 181) сыграли свою роль, то ли еще кто-то постарался, только в октябре С. Шевырев сообщает Гоголю о расползающихся «невыгодных слухах»: «Говорят иные, что ты с ума сошел. Меня встречали даже добрые знакомые твои такими вопросами: «Скажите, пожаласта, правда ли это, что Гоголь с ума сошел?» — «Скажите, сделайте милость, правда ли это, что Гоголь с ума сошел?»[2]

Выход в свет «Выбранных мест...» и вспыхнувшие вокруг них страсти подхлестнули злую молву. В январе 1847 года С. Аксаков пишет служившему тогда в Калуге сыну Ивану, что Гоголь определенно «на некоторых предметах помешался» и что ему необходима «публичная оплеуха», иначе он «может утвердиться в своем сумасшествии»[3]. Правда, то была семейная переписка, но из нее видно, что Аксаков-старший горячо обсуждал эту тему со многими, его мнение вряд ли было секретом для читающей Москвы...

Если такого рода приговоры, выносимые коллегами-лите-

---

[1] Библиотека для чтения, т. 78, 1846, отд. VI, с. 17.

[2] Письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю.—Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1893 год. СПб., 1896, прилож., с. 31.

[3] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 341, 342.

раторами, еще можно истолковать в метафорическом, иносказательном смысле; если молодой Ап. Григорьев в своем весьма сочувственном отзыве о книге Гоголя, говоря о «болезненном настройстве» писателя, имеет в виду остроту терзавших его ранимую душу противоречий и сомнений [1], то некоторые врачи-психиатры, проявившие интерес к Гоголю, в частности к «Выбранным местам...», взглянули на автора прежде всего как на своего пациента.

Правда, Н. Баженов, например, проявляет в этом вопросе заметную осторожность. По его мнению, Гоголь в своем «самом цветущем возрасте» — не более чем типичный «неврастеник с ипохондрическими идеями», во второй же половине жизни писатель страдал душевными депрессиями, периодической меланхолией. При этом Н. Баженов решительно отвергает «довольно распространенное мнение» о якобы характерных для Гоголя «галлюцинаторных явлениях» и «бредовом психозе с преобладанием идей религиозно-мистического характера» [2].

С Н. Баженовым не согласился другой известный русский психиатр, В. Чиж, вполне допускавший, что Гоголь мог страдать галлюцинациями; зато он солидарен с Ч. Ломброзо, который в своей книге «Гениальность и помешательство» без долгих колебаний причислил Гоголя к разряду «помешанных гениев» [3]. Трудно даже перечислить те особенности личности и творческой натуры писателя, которые В. Чиж квалифицирует как симптомы патологии, душевной болезни, проявления параноического характера: бред величия и тяготение к аристократической среде, особенно женской; грубость в обращении с друзьями и искательство перед сильными мира сего; сексуальная недостаточность и неожиданное позднее сватовство к А. Вьельгорской; внутреннее отвращение к учению и страсть к учительству; неспособность сочувствовать страданиям людей; ослабление умственных и художнических потенций; граничащее с графоманством стремление писать обо всем, высказываться по любому поводу... Даже в искренней, не замутненной привходящими обстоятельствами (в частности, желанием занять кафедру в Киевском университете) любви к родной Украине, к ее истории и этнографии, даже в истинной, свободной от ханжества религиозности отказывает В. Чиж Гоголю. Что же касается «Выбранных мест...», то, по словам В. Чижа, если бы его вызвали

---

[1] Григорьев Аполлон. Собр. соч., вып. 8, с. 3.

[2] Баженов Н. Болезнь и смерть Гоголя. — Русская мысль, 1902, кн. 1, с. 144—145; кн. 2, с. 61. Точку зрения Н. Баженова поддерживал В. Короленко, связывавший «депрессивный невроз» Гоголя с наследственностью по отцовской линии (см.: Короленко В. Г. Избранные сочинения. Л., 1935, с. 542—543).

[3] См.: Викторов П. Учение о личности как нервно-психическом организме. Вып. 1. М., 1887, с. 98—99.

в суд в качестве психиатра, он безусловно «высказался бы за невменяемость автора»[1].

Еще более жесткий диагноз ставят Г. Сегалин и И. Галант: Гоголь, считают они, страдал шизофреническим заболеванием и прогрессирующим слабоумием[2].

Я не берусь спорить с мэтрами психиатрической науки, да, откровенно говоря, и не считаю это нужным. Ибо для меня очевидно главное: у автора «Выбранных мест...» прежде всего тяжело ранена совесть, он изнемогает от боли, тревоги, страха, от ощущения личной ответственности за русскую жизнь — настоящую и будущую, за человека, сущего в кипящем, «как Чермное море», мире, полном «скорбей, напастей, бед». Напомню: Гоголь далеко не единственный, кто в нашем богоспасаемом отечестве был объявлен умалишенным, ибо не вписывался в рамки закостенелых общественных структур и — что едва ли не страшнее — инерционного мышления; достаточно назвать хотя бы его предшественника Сковороду и таких современников, как Чаадаев и Печерин. Гоголевская же судьба в этом отношении, пожалуй, даже трагичнее: унизительные операции над его живой душой проводились дотошными экспертами еще много десятилетий после смерти. Та «страшная анатомия», от которой Гоголя, по его признанию, бросало «в холодный пот» (VIII, 432), превратилась в патологоанатомию...[3]

Бог с ней, с этой патологоанатомией, отставим ее в сторону. Вернемся к гоголевскому «Предисловию».

Увы, упоминание автора о своей болезни — не условный литературный прием, это отражение жестокой реальности. Весь 1845 год был для Гоголя исключительно тяжелым, писатель, видимо, не преувеличивал, когда позднее писал Плетневу: «...Я дивлюсь теперь, как вынес его» (XIII, 38). В февральском письме к А. Смирновой он приносит извинения за долгое молчание, ссылаясь на здоровье, «которое расклеилось совер-

---

[1] Чиж В. Болезнь Н. В. Гоголя.—Вопросы философии и психологии, 1903, кн. V (70), с. 785.

[2] См.: Клинический архив гениальности и одаренности, т. II, вып. IV, 1926; т. III, вып. I, 1927. Представление о том, под каким углом зрения рассматривают авторы сборников «гениальность и одаренность», дает также опубликованная в одном из указанных выпусков статья, посвященная «эвропатологии гениальных эпилептиков», а именно: Наполеона, Магомета (Мухаммеда), Юлия Цезаря, Данте, Байрона, Флобера, Л. Толстого, Достоевского, Блока и др.).

[3] Версию о сумасшествии Гоголя отвергают многие современные литературоведы; см., напр.: Мильдон В. Отчего умер Гоголь?— Вопросы литературы, 1988, № 3. Определенный интерес представляет с этой точки зрения статья А. Белышевой «Тайна смерти Гоголя» (Нева, 1967, № 3) — спорная, даже сомнительная в ряде общих выводов, она, во всяком случае, довольно убедительно показывает несостоятельность ставшего общепризнанным диагноза о «умопомраченном самоубийце».

шенно во Франкфурте в конце старого и начале нового года» (XII, 457). В дальнейшем письма к друзьям вплоть до осени, но еще и потом, в первые месяцы 1846 года, полны жалоб на болезненное состояние. «Временами бывает несколько лучше,— пишет Гоголь Языкову 5 апреля,— временами вновь хуже. До сих пор не в силах писать и трудиться, и малейшая натуга повергает меня в болезнь...» (XII, 477). Полный упадок физических сил сопровождается хандрой, чувством тоски, душевным беспокойством. Что можно сказать о причинах этой гоголевской хандры? Я бы назвал по крайней мере две таких причины. Первая — нарастающие сомнения в ценности и важности всего сделанного в литературе, глубокая неудовлетворенность, столь часто возникающие у художника на каком-то этапе его пути и столь, в конце концов, естественные, если это подлинный, взыскательный к себе художник. Начиная с 1844 года (вот она, дата, обозначенная в духовном завещании) в письмах Гоголя все чаще проскальзывает недовольство собой и своим творчеством, пока, наконец, оно не выливается в намерение новой своей книгой, а именно «Перепиской», «искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного» (VIII, 215). Прав ли был писатель, отрекаясь от прежних своих сочинений, или роковым образом заблуждался, — вопрос другой, я здесь не вдаюсь в его рассмотрение. Замечу, что после выхода книги Гоголь попытается разъяснить и уточнить свою позицию. «Я не могу понять, — пишет он Шевыреву 27 апреля 1847 года, — отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства, тогда как из моей же книги можно бы, кажется, увидеть было... какие страдания я должен был выносить из любви к искусству, желая себя приневолить и принудить писать и создавать тогда, когда я не в силах был... Что ж делать, если заставлен я многими особенными событиями моей жизни взглянуть строже на искусство?» (XIII, 292). Если даже и было временное затмение, если и была трагическая ошибка в оценке собственного творчества, то подумаем — какую цену заплатил за нее сам писатель, какие тяжелейшие психологические муки должна была причинять ему, так глубоко верившему в силу слова, мысль о бесполезности, «необдуманности» всего им сделанного, как переворачивала, как терзала она его душу...

Вторая причина — одиночество, не вполне, быть может, осознанная ностальгия. Как ни велика была любовь Гоголя к Италии, как ни уверял он горячо других и себя самого в благотворности для души и тела бесконечного странствования по дорогам Европы, частой перемены мест, мелькания стран и городов, как ни заботливы, порой душевно близки были встречавшиеся ему за границей друзья, знакомые, поклонники талан-

та — все же он был не дома, все же высокое небо Кампаньи лишь напоминало ему небо над родной Васильевкой. И был один, всегда один... В письме к Смирновой от 4 июня 1845 года, после очередного обострения болезни, Гоголь говорит, как страдает «душою от страданий... тела», как «душа изнывает вся от страшной хандры, которую приносит болезнь, бьется с ней и выбивается из сил биться», — и тут у него прорывается затаенная боль: «И ни души не было около меня в продолжение самых трудных минут, тогда как всякая душа человеческая была бы подарком...» (XII, 490).

Именно тогда Гоголь и пишет свое завещание и именно тогда, согласно «Предисловию», у него рождается мысль о книге писем, которую должны издать после его смерти друзья, но которую, оправившись кое-как от болезни, подготовил он сам.

Такова литературная версия событий, версия самого писателя. На самом деле первые признаки замысла «Переписки» появляются значительно раньше. Еще в начале 1843 года в февральском письме к А. Данилевскому из Рима находим признание, которое с полным основанием может быть истолковано как отдаленный намек на будущую книгу. «Ты спрашиваешь,— пишет Гоголь, — зачем я не говорю и не пишу к тебе о моей жизни, о всех мелочах, об обедах и проч. и проч. Но жизнь моя давно уже происходит вся внутри меня, а внутреннюю жизнь (ты сам можешь чувствовать) не легко передавать. Тут нужны томы. Да притом результат ее явится потом в печатном виде» (XII, 139).

2 апреля 1845 года в письме к Смирновой Гоголь высказывается уже куда более определенно о задуманной книге: «Это будет небольшое произведение и не шумное по названию в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих...» (XII, 472—473). Здесь появляется еще один, чисто внешний, так сказать, житейский мотив: предполагаемая книга, по мысли Гоголя, должна, кроме всего прочего, доставить ему «в избытке деньги, потребные в пути», то есть для давно задуманного им путешествия в Иерусалим. Соглашаясь взять у Смирновой взаймы какую-то сумму, Гоголь твердо надеется, что, если не подведет здоровье и «пошлется мне освежение и сила для труда», он вскоре вернет долг: «...У меня будет гораздо больше денег, чем можете вы думать, потому что расход тех сочинений, которые бы мне хотелось пустить в свет, т. е. произведений *нынешнего меня,* а не прежнего меня, был бы велик, ибо они были бы в потребу всем» (XII, 471). В излагаемой в «Предисловии» истории возникновения книги писем этот момент, материальный, также сыгравший, как мы видим, некоторую роль в деле, отсутствует, он, по мнению автора, не должен интересовать читателя.

Конечно, деньги для Гоголя, жившего литературным заработком (от своей доли в отцовском наследстве он отказался еще в молодые годы), отнюдь не были безразличны, тем более накануне далекого путешествия, да, впрочем, он и всегда в них нуждался, едва сводя подчас концы с концами... И все же не это, разумеется, было главным импульсом для издания писем. Но что же в таком случае?

Довольно распространено мнение, что таким импульсом стали обнаружившиеся у Гоголя примерно с конца 1843 года наклонность к проповедничеству и назиданиям, уверенность в своем призвании незаменимого советчика, целителя душевных недугов. Так, например, считает В. Шенрок, подчеркивая, что многие друзья и знакомые писателя вольно или невольно подталкивали его на этот путь, подыгрывали его слабости, без конца обращаясь к нему за советами и принимая их «с каким-то слепым подобострастием», между тем как «духовные откровения Гоголя, сообщаемые обыкновенно в виде каких-то формул и внушительно подчеркиваемые автором, были в сущности или бессодержательны, или парадоксальны»[1]. В. Шенрок поддерживает и развивает здесь точку зрения Н. Тихонравова, по мнению которого замысел «Переписки» возник тогда, когда Гоголь перестал довольствоваться узким кругом друзей и решил «поделиться назидательными советами с читающею публикою»[2].

Поражает, насколько поверхностны объяснения подобного рода, хотя они и принадлежат серьезным исследователям; фиксируются лишь чисто внешние признаки, лишь то, что бросается в глаза, и совсем не уловлена неординарность гоголевской позиции, ее многомерность.

Хочу в этой связи привлечь внимание читателя к редко цитируемым словам Гоголя из его письма к Шевыреву от 12 марта 1844 года, то есть относящегося к периоду, когда писатель, если верить критикам, был уже якобы целиком захвачен ролью вещателя высших истин. Отвечая на не сохранившееся письмо Шевырева, который, по-видимому, извинялся за его краткость и сугубую деловитость, Гоголь пишет: «...Я не согласен с тобою в том, что о подобном предмете (речь, как можно предположить, шла о денежных делах, которыми по поручению писателя занимались тогда в Москве Шевырев, Аксаков-старший и Погодин.— *Ю. Б.*) следовало бы написать большое и обдуманное письмо. Обдуманные письма должен я писать к вам, потому что еще строюсь и создаюсь в характере, а вы уже со-

---

[1] Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV. М., 1898, с. 7, 9.

[2] Тихонравов Николай. Примечания редактора и варианты.— В кн.: Соч. Н. В. Гоголя. Изд. 10-е, т. IV. М., 1889, с. 466.

здались» (XII, 266). Есть ли тут хотя бы намек на проповеднические амбиции, улавливаются ли потуги на «духовные откровения»? Я ничего похожего не обнаруживаю, уверен, что не обнаружит и самый придирчивый, но объективный читатель. Напротив, очевидно стремление пишущего к некоторой, в какой-то степени даже чрезмерной, граничащей с самоуничижением, строгости по отношению к себе, забота о «строении» самого себя, своего нравственного мира. Этим стремлением, этой заботой определяется один из важнейших лейтмотивов большинства его «обдуманных» писем, вошедших позднее в книгу. Я говорю «один из», потому что этим вопрос не исчерпывается. Ошибкой было бы свести дело лишь к поиску сугубо личного нравственного императива, к упорядочению своего «душевного хозяйства» (XIII, 232). При вдумчивом и, главное, непредвзятом прочтении писем трудно не заметить: приглашая друзей и, вместе с ними, широкого читателя писем к размышлению, точнее — к со-размышлению о собственных душевных недугах, изъянах и пороках, Гоголь (что ж, в этом, пожалуй, действительно есть известная доля самообольщения) исходит из того, что эти недуги, изъяны и пороки присущи не ему одному, но времени, обществу, если угодно, людям вообще. Потому-то в его представлении «самостроение» каждого есть необходимая предпосылка жизнестроения, создания лучшего порядка вещей, достижения общего блага, чему, в конечном счете, и посвящена прежде всего его книга. Он говорит о душе, чтобы высказать все накипевшее, наболевшее о России, о русской жизни. Это для него неразрывно. «Дело мое — *душа и прочное дело жизни»,* — напишет он в одном из писем (VIII, 299). Пусть судит читатель, так ли уж «бессодержательна» эта гоголевская «формула», как кажется иным критикам...

«Прочному делу жизни» должны были послужить «Мертвые души», но конца работе не было видно, написанные главы второго тома сожжены, и Гоголь, как он позднее объяснит С. Аксакову в письме от 28 августа 1847 года, «поспешил заговорить о тех вопросах», которые, по его сдержанному выражению, «занимали» его (XIII, 374), вернее же будет сказать — не давали ему покоя, жгли ум, бередили совесть...

Потому он так решительно, не без резкости отклоняет поздравления Плетнева («Зачем ты называешь великим делом появление моей книги?»), потому так раздраженно реагирует на «глухие» замечания друга о цензуре, вымаравшей «больше половины и притом той существенной половины, для которой была предпринята вся книга», что для него этот вопрос далеко выходит за пределы личных амбиций и узко понимаемого литературного «дела». «Мне важно то дело, которое больше всего щемит и болит в эту минуту. ...Когда узнаешь, что есть та-

кие страданья человека, от которых бесчувственная душа разорвется, когда узнаешь, что одна капля, одна росинка помощи в силах пролить освежение и воздвигнуть дух падшего, тогда попробуй перенести равнодушно это уничтоженье писем» (XIII, 204). Несколько дней спустя Гоголь пишет о том же Плетневу уже чуть спокойнее, однако не менее определенно: «Есть дела, которые должны быть впереди наших личных дел, а таким я почитаю пропуск (писатель размышляет здесь уже о втором издании книги.— *Ю. Б.*) именно тех самых статей, которые не показались тебе важными и насчет которых ты согласился, что их *лучше* не печатать» (XIII, 213).

Только этой поистине неодолимой душевной потребностью высказаться и тем самым «прислужиться» (Гоголь любил этот украинизм и часто пользовался им) людям-братьям, можно объяснить то, что человек по натуре своей довольно замкнутый, не уверенный в себе, постоянно мучимый мыслью о том, что он не может «произнести умного и нужного слова», остро чувствующий в душе своей тяжкий груз «бесчисленного множества... недостатков» (VIII, 217), — этот человек решается на публичную исповедь или, во всяком случае, «отчасти... исповедь», как характеризует свою книгу сам Гоголь в одном из писем к матери (XIII, 138).

Я бы назвал ее так — «исповедь-проповедь», ибо эти два начала переплетаются, органически сливаются в ней. Природу этого феномена писатель раскрывает в письме под названием «Советы»: «Уча других, также учишься» (VIII, 281). Поэтому «всякой совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать... обрати в то же время к самому себе, и то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. ...Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех» (VIII, 282). Моральная опора такой позиции — страдание; на человека, умудренного страданием, возложена обязанность подать помощь и совет каждому, кто просит их у него. «Страданьями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других» (VIII, 282).

Л. Толстой, перечитывая в 1909 году «Выбранные места из переписки с друзьями», делал на полях многочисленные пометки и при этом большинству писем выставлял оценки по пятибалльной системе. Не лишено интереса, что процитированные только что места из письма «Советы» отчеркнуты Толстым, одно (о «крупицах мудрости») отмечено знаком «нотабене», а все письмо оценено «пятеркой» с плюсом...

Столь же высокой оценкой отмечает Толстой письмо «Значение болезней», во многом корреспондирующее с «Советами».

Признаюсь, я не сразу разгадал ход толстовской мысли, логику ассоциативных связей. Вероятно, Толстому должна была импонировать духовно-нравственная стойкость человека перед лицом болезни («...Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух»; VIII, 228), но достаточно ли этого? Наверняка ему близка мысль о необходимости, вместо сетований «в душевном бессилии» на Бога, оглянуться прежде всего «на себя самого», посмотреть «глубже себе внутрь» — не случайно в этом месте на полях стоят «нотабене» и «четверка». Но ведь не все, отнюдь не все принимает Толстой в этом письме. Его коробят слова Гоголя о том, что после болезни он «все же стал лучше, нежели был прежде» (VIII, 228), — тут на полях красуется «двойка». Не думаю, чтобы у Льва Николаевича, человека от природы здорового, жизнелюбивого, знавшего и ценившего радость движения, физической работы, игры, — не думаю, чтобы у него могли вызвать сочувственный отклик такие, например, рассуждения с детских лет болезненного Гоголя: «...Самое здоровье... беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими...» (VIII, 228).

Откуда же все-таки итоговая «пятерка», да еще с плюсом?

И вдруг вспомнилось: «Смерть Ивана Ильича»... Эта очищающая сила страдания; этот внезапный и уже необратимый душевный перелом у последней жизненной черты; это страшное и вместе с тем благотворное нравственное прозрение, когда человеку вдруг открывается неприкрытая и жестокая правда о себе, о всей прежней жизни, о том, что теперь уже «не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников...» (VIII, 229); последние гоголевские слова отчеркнуты Толстым.

Тот, кого в письме Гоголя шокируют обращенные к Богу слезы благодарности за ниспосланные ему телесные страдания, кто высокомерно отвергает совет писателя принимать «покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен», кому нонсенсом кажутся «чудное значение», «высокий смысл» болезни, изнурительного физического мучения как жесточайшего, но необходимого человеку нравственного испытания, — тот пусть вернется к толстовскому повествованию о жизни и смерти Ивана Ильича, пусть перечитает его...

Для Гоголя «значение болезней» (как и других «несчастий», «потрясений», «публичных оплеух», о которых писатель говорит в письме «Близорукому приятелю») заключается еще и в том, что перенесенные страдания и наступающее вслед за ними духовное просветление становятся мощным творческим

импульсом. «...Ныне, в мои свежие минуты, — читаем в том же письме, — которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего» (VIII, 229).

К этой теме Гоголь возвращается не раз. «И душе, и телу моему следовало выстрадаться, — пишет он Смирновой.— Без этого не будут «Мертвые души» тем, чем им быть должно» (XIII, 41). То же — в другом письме, к Плетневу: «Без них (речь идет о «горьких неприятностях и несчастиях».— *Ю. Б.*) не воспиталась бы душа моя, как следует, для труда моего. Мертво и холодно было бы все то, что должно быть живо, как сама жизнь, прекрасно и верно, как сама *правда*» (XII, 546). При этом Гоголь имеет в виду не только и не столько свою личную судьбу, особенности собственной натуры, сколько общую, как он считает, закономерность психологии творчества. Характерно его письмо к Языкову от 15 февраля 1844 года. Гоголь размышляет здесь о жизненных испытаниях, страданиях и недугах как своего рода стимуляторе духовной энергии, мужества, которые помогают плыть «вполперек скорбей», о тех слезах, душевных потрясениях, «душевном вопле», которые приносят «просветление очей» и становятся «горнилом... поэзии». «Вспомни, — говорит он другу, — что было время, когда стихи твои производили электрическое потрясение на молодежь, хотя эта молодежь и не имела большого поэтического чутья, но заключенный в них лиризм — глубокая истина души, живое отторгновение от самого тела души, потряс их. Последующие твои стихи были обработаннее, обдуманнее, зрелее, но лиризм, эта чистая молитва души, в них угаснул». И Гоголь делает общезначимый вывод: «Не суждено лирическому поэту быть покойным созерцателем жизни, подобно эпическому. Не может лирическая поэзия, подобно драматической, описывать страданья и чувства другого».

Закон этот не только к творчеству относится, это и закон нравственный. Творчество, или поэзия, по определению Гоголя, неотрывно от страданья, а тем самым и от со-страданья. «Голос из глубины страждущей души есть уже помощь великая другому страждущему». Не имеет права медной копейкой подавать милостыню поэт, его долг — употребить на пользу людям талант свой, «все данные ему от Бога способности». Перед художником, как и перед каждым из смертных, а быть может, с еще большей остротой, стоят главные вопросы: «...Где наши дела?», «...Что сделал ты добра? Или ты призван затем, чтобы не делать только зла?» (XII, 261—262).

Из этого корня и рождался замысел «Переписки». «Сердце мое говорит, — пишет Гоголь в «Предисловии», — что книга

моя нужна и что она может быть полезна» (VIII, 216). Громом с ясного неба прозвучали для автора «Переписки» лавиной обрушившиеся на него упреки в гордыне, в претензиях на роль всезнающего советчика, в навязчивой назидательности, в учительстве и поучительстве. Гоголь был обескуражен и потрясен тем, насколько превратно он понят. «Я не всходил с моей книгой на кафедру, требуя, чтобы все по ней учились, — отвечает он критикам в «Авторской исповеди». — Я пришел к своим собратьям, соученикам, как равный им соученик... Я никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам нашим Учителем». Этим учителем для Гоголя — и, по его убеждению, для всех — был Христос. Сам же он надеялся только на то, «что при прочтеньи книги, будет мне сказано: «Благодарю тебя, собрат», а не: «Благодарю тебя, учитель» (VIII, 465).

И вновь голос автора, на этот раз прозвучавший из невозвратного далека («Авторская исповедь» опубликована посмертно в 1855 году), не был услышан, объяснения его критика не желала принимать во внимание. Едва ли не единственным, кто по достоинству оценил исповедь Гоголя, оказался Чернышевский; при всем своем критическом отношении к «Выбранным местам...», он заметил все же, что, дочитав книгу, «вы невольно произносите»: «Да, прав был этот человек, гордо и смело говоря: каков бы я ни был, но я был одним из лучших людей в мире!» [1]

Но все это будет позднее. А пока Гоголь вынашивает замысел будущей книги.

В апреле 1846 года в письме к Языкову он излагает уже довольно продуманный ее план. Речь заходит о стихах И. Аксакова, присланных им Жуковскому, и Гоголь просит Языкова показать молодому поэту «мои письма, писанные к тебе о предметах, предстоящих у нас лирическому поэту, по поводу стихотворения «Землетрясение» (оба письма вошли в «Выбранные места...» под общим заголовком «Предметы для лирического поэта в нынешнее время»). И в этой связи замечает: «Кстати об этих письмах, ты их береги. Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям страждущим на разных поприщах... Я попробую издать, прибавив коечто вообще о литературе. Но покамест это между нами. Мне нужно обсмотреться и все разглядеть и взвесить. Двигает мною

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1947, с. 775.

теперь единственно польза, а не доставленье какого-либо наслажденья» (XIII, 52—53).

Спустя две недели Гоголь подтверждает тому же адресату свое намерение «издать выбранные места из писем» (XIII, 62), а в июле уже пишет «Предисловие», из которого ясно видно, что не только общий характер книги, но и ее конкретный состав писателем в основном определен: «Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключеньем всего, что могло иметь значенье только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями» (VIII, 215—216).

Гоголь чувствует: час пробил. Пришло время, «когда должна объясниться хотя отчасти свету причина долгого моего молчания и моей внутренней жизни» (XIII, 109). Преисполненный «такого сильного желанья быть полезным», какого «никогда еще доселе не питал» (VIII, 216); испросив, по старинному обычаю, прощения у всех за умышленные или неумышленные обиды, пренебрежение, неуважение, за «неудовольствие», принесенное прежними сочинениями, а также — заранее — за «все недостатки, какие могут быть найдены... в этой книге, — как недостатки писателя, так и недостатки человека» (VIII, 217); с твердой верой в силу молитвы своей и «всех в России», кого он просит помолиться о нем, — он с головой окунается в работу. Никогда еще, кажется, не работал он с таким лихорадочным напряжением, в таком стремительном темпе, как в эти три летних месяца, несмотря на частые переезды в поисках эффективного лечения — Карлсбад, Швальбах, Остенде... «Не ленюсь ни капли; даже через это не выполняю как следует леченья на морских водах...» (XIII, 103), — признается он в одном из писем.

И вот уже 30 июля Гоголь пишет в Петербург Плетневу: «Наконец моя просьба! Ее ты должен выполнить, как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга. Все свои дела в сторону, и займись печатаньем этой книги под названием: «Выбранные места из переписки с друзьями». ...Здесь посылается начало» (XIII, 91—92). Это были «Предисловие» и шесть статей. Статью об «Одиссее» Гоголь отослал Плетневу раньше, в начале месяца, пока еще ничего не говоря о книге, лишь намекнув, что эта «маленькая просьба» (напечатать и высказать свое мнение) есть «предвестие большой» (XIII, 84). «Продолжение будет посылаться немедленно», — обещает Гоголь и чуть ниже добавляет: «...Безостановочно» (XIII, 92). Действи-

тельно, в августе Плетневу отправлена вторая тетрадь, содержащая семь статей («Это составит почти половину книги»,— замечает Гоголь; XIII, 98), в сентябре, с перерывом всего в две недели (да еще с извинениями: «Не сердись, если не так скоро высылаю»; XIII, 103), еще две тетради, а в середине октября — пятая, последняя. «Так устал, — комментирует Гоголь эту посылку, — что нет мочи; в силу сладил, особенно со статьей о поэзии, которую в три эпохи мои писал и вновь сжигал и наконец теперь написал...» (XIII, 110). Силы Гоголя поддерживают морские купания, но главным образом, конечно, убежденность в том, что дело его — «правда и польза» (XIII, 110) и что он «взял перо» не просто так, а «во имя Бога... во славу Его святого имени» (XIII, 112). Отсюда — «свежесть душевная», необыкновенный душевный подъем и вдохновение, о которых он уже не смел и думать и в которых, как это ему свойственно, видит особую «милость Божию»: «...И все мне далось вдруг на это время: вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось все это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка труда» (XIII, 112). Отсюда и то чувство облегчения и внутренней удовлетворенности, которым пронизано ноябрьское письмо к Жуковскому из Неаполя. К тому времени уже проявились первые симптомы осложнений с цензурой, тревожные предвестники той «страшной бестолковщины», того «демонского восстания», в котором «какие-то таинственные партии европейцев и азиатцев вместе совокупились» (XIII, 206), чтобы обкарнать, изуродовать книгу (об этом у нас будет повод поговорить); а впереди ожидало еще много, много всякого — того, что сам писатель потом обобщенно назовет «оплеухой»... Но сейчас на душе «так тихо и светло, что я не знаю, кого благодарить за это; кто вымолил своими чистыми молитвами мне это состоянье у Бога? О, да будет за то вся жизнь его так же светла, как светлы мне эти минуты!» (XIII, 143).

Как же складывалась книга?

Не могу понять, право, почему вдруг В. Гиппиусу показалось, будто «никакой «перепиской с друзьями» Гоголь в этой книге не пользовался, только очень немногие статьи варьируют отдельные мысли, раньше вошедшие в действительные письма»[1]. Варьирование мыслей есть, это верно, но я не вижу ни малейшего основания ставить из-за этого под сомнение достоверность писем, вошедших в «Переписку». Мы помним, как Гоголь просит Языкова беречь его письма, которые хочет включить в книгу; кстати, некоторое время спустя он напоминает Языкову, чтобы тот «прислал... копию» с его писем (XIII, 89).

[1] Гиппиус Василий. Гоголь. Л., 1924, с. 170.

Не вызывает сомнений, что с подобными просьбами писатель обращался и к другим своим друзьям. «Жду возврата некоторых писем еще, — сообщает он Плетневу, высылая ему первую тетрадь, — но за этим остановки не будет, потому что достаточно даже и тех, которые мне возвращены» (XIII, 92). Кроме того, по обычаю своего времени, Гоголь чаще всего снимал для себя копии с наиболее важных, по его мнению, из посылаемых писем — иначе как бы он «рассмотрел все то, что писал разным лицам...» (XIII, 53). Так что в большинстве своем письма, вошедшие в книгу, — это и есть «действительные» письма к друзьям, а не статьи, которым «придана лишь форма писем», как считает В. Гиппиус; в ряде случаев адресаты пока не установлены, но это вовсе не означает, что они «мнимые».

Другое дело, что включение в книгу писем было процессом отнюдь не механическим. «Мне их нужно пересмотреть, — объясняет Гоголь Языкову, поторапливая его с присылкой копий с его писем.—Они, верно, очень вялы и неумны, как все мои письма, писанные прежде. Я даже любопытен знать, как я выразил ту мысль, которая бы могла иметь на тебя некоторое впечатление и не имела никакого. Она выразилась, верно, бессильно, а может быть, даже не выступила вовсе из-за неопрятных и неточных слов моих» (XIII, 89—90). Гоголь вполне отдавал себе отчет, что речь идет о таких текстах, «которые вначале вовсе не готовились к печати» (XIII, 99), поэтому нужна работа «над перечисткой, переделкой и перепиской», этим он и занимался «от всех сил» (XIII, 98). Иные же письма «нужно было совсем переделать: так они оказались неопрятны» (XIII, 103), чем и можно объяснить то обстоятельство, что высылаемые Плетневу тетради Гоголь называет не письмами, а статьями.

Впрочем, написаны были специально для книги, собственно, «две-три статьи литературные», читатель предуведомляется об этом в «Предисловии», такова, например, статья «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» — та самая, которую Гоголь, как мы помним, «писал и вновь сжигал». Считает он необходимым написать в заключение «и еще кое-что, относящееся до собственной души из нас каждого, без чего книга была бы без хвоста» (XIII, 103); это — «Светлое Воскресенье».

Перед нами, таким образом, не литературная мистификация, не мнимая переписка как формальный прием; в то же время это и отнюдь не беспорядочное собрание «сырых», неотделанных писем, а определенным образом организованное идейно-эстетическое единство, целостное произведение. В этом (но именно в этом!) смысле можно согласиться с В. Гиппиусом,

когда он называет книгу Гоголя «литературным произведением»[1].

Работа над текстами писем («перечистка», «переделка», в ряде случаев весьма существенная), написание специально для книги предназначенных статей — важные стадии процесса превращения переписки как житейского, бытового материала в литературное произведение. Особое значение имеет начальная стадия этого процесса — стадия отбора писем, отбора целенаправленного, подчиненного главной идее или сумме идей, составляющих стержень замысла. Это подчеркнуто самим названием книги, указывающим на то, что читатель имеет дело не вообще с письмами писателя, тем более не со всеми письмами, а с «выбранными местами» из его переписки, причем переписки с определенным кругом лиц, духовно ему близких, «с друзьями». В «Предисловии» Гоголь вновь акцентирует мысль о сделанном им тщательном отборе («Выбираю сам...») и конкретизирует ее, уточняя, что речь идет, во-первых, о переписке последних лет, а во-вторых, лишь о письмах, которые относятся к вопросам, «занимающим ныне общество» (VIII, 215).

Судя по всему, процесс отбора писем шел одновременно с кристаллизацией общего замысла, и у нас нет фактов, которые можно было бы истолковать как свидетельство испытываемых Гоголем в ту пору затруднений в этой работе. Похоже, что в мае 1846 года писатель принимает окончательное решение о подготовке книги (вспомним письмо к Языкову от 5 мая), и тогда же в его записной книжке появляется набросок перечня предполагаемых разделов. До середины октября, когда книга была закончена, этот перечень если и претерпел какие-либо изменения, то самые незначительные.

О том, что писатель считал произведенный им отбор писем и сложившийся состав книги оптимальным, говорит болезненность, с которой он воспринял изъятие цензурой ряда разделов. С горечью сетует Гоголь на то, что «вместо толстой книги вышла небольшая брошюра» (XIII, 206), «оглодок» (XIII, 216), при этом его угнетает, конечно же, не само по себе уменьшение объема, а утрата важных компонентов, нарушающая цельность книги.

Вынашивая мысль о новом издании «Переписки» «в ее настоящем виде», то есть так, как она была им задумана и составлена, и вместе с тем не питая иллюзий по поводу нравов цензуры, Гоголь с болью душевной заранее соглашается на компромисс — изъятие разделов «Близорукому приятелю» и «Страхи и ужасы России». Об этом он пишет в феврале 1847 года А. Россету, которого просит «заняться... книгой» в

---

[1] Гиппиус Василий. Гоголь, с. 170.

помощь Плетневу. Показательно, однако, что в приводимый здесь «порядок писем, какой должен быть в издании настоящем моей книги», Гоголь все же включает названия обоих крамольных писем, хотя и условно, в угоду обстоятельствам, зачеркивает их (XIII, 229).

Истины ради надо отметить, что известен и другой авторский перечень. Он составлен, вероятно, не раньше начала 1848 года, так как в нем упоминается письмо к Жуковскому, которое Гоголь намеревался озаглавить «Искусство есть примирение с жизнью», а оно датировано концом декабря 1847—началом января 1848 года. Перечень этот, по справедливому замечанию В. Шенрока[1], производит странное и даже, я бы сказал, несколько загадочное впечатление. Сюда почему-то включены некоторые статьи, входившие прежде в «Арабески», и в то же время не попал ряд глав из первого издания «Переписки», в том числе запрещенные цензурой; к тому же перечислены двадцать четыре пункта вместо первоначальных и ставших каноническими тридцати двух. Чем все это можно объяснить? Пересматривает ли Гоголь, продолжая обдумывать второе издание книги, ее состав, и перед нами какой-то новый вариант этого состава? Или же данная запись не связана с конкретными размышлениями писателя о втором издании и беглому наброску, сделанному в альбоме сына русского посланника в Риме (как можно предположить, при обстоятельствах сугубо приватных, скорее всего наспех), вообще не следует придавать программного значения? Я предпочел бы проявить осторожность и ограничиться постановкой этих вопросов, хотя, не скрою, склоняюсь ко второй версии.

Что же касается полного издания «Выбранных мест из переписки с друзьями», того, которое автор считал «настоящим», то Гоголю так и не суждено было его увидеть, оно осуществлено Ф. Чижовым только в 1867 году.

Тут, мне кажется, есть все основания задуматься над таким вопросом: как охарактеризовать подход Гоголя к своей книге, принцип, который он положил в ее основу и всячески старался строго соблюдать?

Вспомним и попробуем суммировать несколько моментов.

Момент первый: тщательный отбор писем из некоторого большого их числа, причем диктуемый не случайными или второстепенными обстоятельствами, а сугубо содержательными соображениями, главным замыслом книги, отбор, при котором даже такие, казалось бы, чисто внешние признаки, как временные рамки и круг адресатов, приобретают принципиальное зна-

---

[1] См. в кн.: Письма Н. В. Гоголя. В 4-х томах, т. III. СПб, 1900, с. 378—379, примеч.

чение. Момент второй: специальное написание новых разделов, что, совершенно очевидно, вызвано намерением восполнить какие-то возникшие, с точки зрения автора, пробелы, лакуны, недоговоренности в складывающейся композиции, стремление сделать книгу более завершенной, охватить различные аспекты проблематики и различные стороны рассматриваемых предметов. Наконец, момент третий: четко определенный состав книги и порядок разделов, причем малейшее отклонение от этого плана расценивается как нарушение целостности книги, взаимосвязанности ее частей.

Если мы сочтем названные моменты существенными, а мне они представляются именно таковыми, то вывод напрашивается один: подход автора «Выбранных мест...» не назовешь иначе, как подходом системным. Гоголь видит в своей книге сложную, в известной мере самодовлеющую идейно-эстетическую систему, хотя сам он термином этим, естественно, не пользуется и вообще ни над чем таким не задумывается.

Надо признать, что в сущности по сей день не задумывается над этим и критика. В свое время у П. Анненкова в воспоминаниях о Гоголе мелькнули понятия «системы» и «целости», но они связаны были с его рассуждениями о чертах характера писателя и не имели отношения к тому, что сегодня мы вкладываем в эти термины[1]. Встречается слово «система» и у В. Шенрока, однако исследователь не углубляется в подлинный его смысл, называя гоголевскую «Переписку» «целой системой мнений»[2], он по существу не идет далее представления о таких понятиях, как «сумма», «конгломерат», «некоторое количество».

Грешно, впрочем, не вспомнить, что значительно раньше, еще при жизни Гоголя, предпринята была попытка взглянуть на «Выбранные места...» с системной точки зрения — и именно в смысле, близком нашему сегодняшнему пониманию. Я имею в виду книгу архимандрита Феодора (А. Бухарева) «Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году».

Александр Матвеевич Бухарев (1824—1871), довольно известный в середине прошлого века духовный писатель, был личностью незаурядной, человеком трудной судьбы. Его лекции в Московской духовной академии, сочинения, прежде всего такие, как «О православии в отношении к современности» и «О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской», проникнутые духом страстного поиска живых связей христианства с насущными вопросами времени, постоян-

---

[1] См.: Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 53—54.

[2] Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV, с. 562.

но навлекали на него недовольство со стороны церковного начальства и даже гонения. В конце концов Бухарев был переведен из московской академии в казанскую. Поражением закончилась его борьба с редактором журнала «Домашняя беседа» В. Аскоченским, добившимся запрещения главного труда А. Бухарева — толкования Апокалипсиса и увольнения его с поста члена комитета духовной цензуры. Архимандрит Феодор слагает с себя сан, становится простым монахом, а вскоре порывает и с монашеством, целиком посвятив последние годы своей недолгой жизни литературно-богословской деятельности.

Представляя себе, хотя бы в общих чертах, направление духовных интересов А. Бухарева, мы без труда поймем логику его обращения к «Выбранным местам из переписки с друзьями». О степени знакомства А. Бухарева с Гоголем нам ничего достоверного не известно, однако какие-то взаимоотношения, видимо, все же были, если судить по предисловию к книге, где автор сообщает, что имел возможность читать «ему самому» (то есть Гоголю) отрывки из своих писем, правда, «только некоторые» и «коротенькие». Возможно, знакомство, пусть не близкое, быть может, даже мимолетное, как раз и подсказало А. Бухареву форму адресованных писателю писем, помогло найти доверительную интонацию разговора.

Книга эта представляет собою развернутый комментарий к «Выбранным местам...», выдержанный преимущественно (что, разумеется, не удивительно) в теологическом ключе; к некоторым ее страницам я еще вернусь, а сейчас хочу обратить внимание прежде всего на методологическую позицию автора.

А. Бухарев не первый и далеко не последний из пишущих о книге Гоголя, кто отмечает ее «разбросанность», внешнюю неорганизованность и хаотичность (Гоголь в письме к Плетневу называет это желанием «заниматься многим наместо одного»; XIII, 320), связанную с тем, что составляющие ее письма писались к разным лицам и по разным случаям. Но есть одно принципиальное обстоятельство. Если для большинства критиков «Переписки» (не побоюсь сказать — едва ли не для всех) это было поводом для такой же разбросанности, для произвольной выборочности, когда предметом рассмотрения, как правило, становились отдельные, вычлененные из книги в соответствии с субъективными интересами и целями критика те или иные мысли и положения, то А. Бухарев ищет в видимом хаосе скрытую от невнимательного глаза внутреннюю логику, общую идею, системные связи. «...Понять вас, — пишет он, обращаясь к Гоголю, в первом письме, — нельзя иначе, как представляя все эти рассеянные мысли, или по крайней мере, более существенные и основные из них в общей связи. ...Первым делом

моим будет сказать, как понимаю вашу **систему** (подчеркнуто мною.—*Ю. Б.*) мыслей, которая только изложена не систематически, а по разным отдельным статьям и письмам»[1]. По убеждению А. Бухарева, мысли автора «Выбранных мест...», поскольку они имеют «строгую, внутреннюю связь и последовательность», представляют собою «стройное целое». Исходя из этого, он выделяет и затем поочередно рассматривает в книге Гоголя три проблемно-тематических уровня или «отдела»: «...Первый составляют общие и основные мысли — о бытии и нравственности, о судьбах рода человеческого, о Церкви, о России, о современном состоянии мира и проч.»; второй уровень составляют мысли, касающиеся «искусства и, в собственности, поэзии»; третий «состоит из некоторых личных объяснений ваших о себе, о сочинениях ваших, об отношении вашем к публике и пр.». И что самое главное, А. Бухарев уловил иерархическую взаимосвязь между этими уровнями: «Отзывы ваши лично о себе объясняются из ваших мыслей об искусстве и поэзии, — а эти последние имеют основание свое в вашем взгляде вообще на бытие и жизнь»[2].

Было бы преувеличением утверждать, что А. Бухареву удалось последовательно реализовать сформулированный им принцип системного подхода к «Переписке», целиком подчинить свой анализ выявлению сложных и противоречивых взаимозависимостей между выделенными им уровнями. Однако нельзя и не отдать в полной мере должного его наблюдательности, вдумчивости и аналитическому чутью. С известной долей условности предложенное им системное членение текста гоголевской книги и сегодня вполне может быть признано в научном смысле корректным, стать исходным пунктом анализа.

В корректировке, дополнении, а главное, конкретизации схема А. Бухарева, конечно, нуждается, и прежде всего это относится к его характеристике первого «отдела». Дело в том, что данный «отдел» (назовем его условно социально-философским) есть не только часть общей «системы мыслей» Гоголя, он сам представляет собою систему, состоящую из взаимосвязанных «узлов», или компонентов, или подсистем, а эти последние, в свою очередь, включают в себя структурирующие элементы более низкого уровня. А. Бухарев, как мы видели, обозначает некоторые из таких подсистем и делает это в целом достаточно корректно. Однако, во-первых, предлагаемый им перечень мог бы быть дополнен (он и сам оговаривается: «и проч.»); так, мне думается, есть основания вычленить в «Переписке» в каче-

---

[1] Архимандрит Феодор (А. Бухарев). Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1860(61), с. 10.

[2] Там же, с. 11.

стве относительно самостоятельной подсистемы проблемный узел, связанный с ролью женщины в обществе. Во-вторых, и это, пожалуй, основное, автор «Трех писем» остается все же на слишком обобщенном уровне, не расшифровывает структуры названных им подсистем. Между тем достаточно представить, насколько сложны эти структуры у таких, например, подсистем, как «судьба рода человеческого», или «Россия», или «современное состояние мира» (я пользуюсь определениями А. Бухарева), которые включают в себя как целые письма, так и отдельные мысли, положения, мотивы, пронизывающие разные разделы книги.

Я говорю об этом применительно к первому «отделу», намеченному А. Бухаревым, но сказанное мы вправе отнести и к отделу второму, «эстетическому», а в известной мере и к третьему, «субъективному», — вспомним хотя бы неоднозначную структуру таких писем, как «Об Одиссее, переводимой Жуковским», «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», или четырех писем о «Мертвых душах».

Книга Гоголя, таким образом, предстает перед нами как многоуровневая иерархическая «система систем», как некая целостность, составные части которой имеют «строгую, внутреннюю связь и последовательность», — не стыжусь вновь повторить формулировку проницательного А. Бухарева.

Ну а как же хаотичность, разбросанность, случайность отбора материала и тому подобные упреки, не раз адресованные «Переписке»? Самое интересное, что в определенном смысле они не лишены оснований. В самом деле, присмотримся: лишь некоторые из вошедших в книгу Гоголя писем воспринимаются как нечто завершенное, замкнутое, как довлеющие сами себе единицы, целиком включенные в ту или иную проблемно-тематическую подсистему, — таковы, к примеру, «Христианин идет вперед» или, скажем, «Чей удел на земле выше». Во многих случаях структурирующие элементы действительно «разбросаны» по разным письмам — по видимости хаотично, в самых, казалось бы, неожиданных и произвольных сочетаниях с другими элементами, на деле же будучи строго подчинены скрытой от поверхностного взгляда логике, придающей их совокупности внутреннее единство. Собственно, даже в упомянутых только что двух письмах главная проблема, проблема нравственного императива, существует не в «чистом» виде, она тесно сплетена с религиозными мотивами, с темой веры в Бога; это проблема *христианской* нравственности. С другой стороны, та же проблема отнюдь не замыкается, конечно, на двух письмах, она приобретает, так сказать, всепроникающий и всеохватывающий характер, в ее гравитационном поле оказываются и

такие, например, разделы, как «Женщина в свете» или «Занимающему важное место», посвященные вроде бы совсем другим вопросам. Иначе говоря, тема нравственности становится одним из важнейших лейтмотивов всей книги.

Вот почему перечитывать последнюю (я говорю именно о перечитывании, а не о первом прочтении) целесообразно не в механически последовательном порядке, поочередно раскладывая письма по тематическим полочкам, — это лишь собьет с толку, смажет картину. Нет, здесь более уместен системный принцип, учитывающий смысловые доминанты, внутренние взаимосвязи и переплетения отдельных элементов и подсистем, «перетекание» проблем из «отдела» в «отдел», с одного уровня на другой. Такой подход вытекает из системной природы произведения.

Здесь кажется уместной аналогия с третьей частью романа аргентинского писателя Х. Кортасара «Игра в классики». В предпосланной роману «Таблице для руководства» автор предупреждает, что если кто-нибудь решится читать эти «необязательные главы», то делать это следует «в особом порядке», руководствуясь приведенным тут же специальным указателем. «Порядок» этот внешне весьма напоминает хаос, что даже наталкивает на мысль о литературной мистификации — ведь начинать предлагается с главы 73-й... На самом же деле такое чтение «зигзагом», по методу популярной детской игры (отсюда—метафора, давшая название роману), чтение, требующее известного напряжения и внимания, обнаруживает за кажущейся произвольностью перестановок, «переключений», немотивированных на первый взгляд сдвигов и сближений внутренне логичную систему своеобразных комментариев, дополняющих предыдущие части романа, глубже раскрывающих авторский замысел. Возможно, в этой аналогии усмотрят натяжку, но мне думается, она все-таки возможна, ибо в «Выбранных местах...» системные связи между разделами также далеко не механически соотносятся с последовательностью их расположения; Гоголь же, в отличие от Кортасара, «таблицы для руководства» не дает...

Означает ли сказанное, что можно вовсе не обращать внимания на то, в какой последовательности даны гоголевские письма? Нет, не означает. Установленный автором порядок, которому он придавал немалое значение, также не нейтрален, он выполняет свою системную, смыслообразующую функцию. Важно понять, в чем именно заключается эта функция, ни в коем случае не игнорируя ее, однако и не абсолютизируя, не превращая в формальное препятствие на пути рабочего анализа, в ходе которого может возникнуть необходимость и во временном отступлении от строгой последовательности, свободном «пе-

рескакивании» через те или иные разделы или, напротив, в возвращении к каким-то из них, в повторах каких-то мыслей, положений, цитат и т. п. Если такого рода «вольности» носят характер рабочего приема, если они диктуются интересами исследования и не входят в противоречие с внутренней логикой системы, не нарушают эту логику, — в них нет беды.

Строго говоря, следует вести речь о *бисистемной* природе такого явления, как «Выбранные места...». Перед нами симбиоз двух систем—«субъективной», авторской, и «объективной», складывающейся в читательском восприятии. Обе эти системы не только не идентичны, но далеко не во всем совмещаются, однако они коррелятивны, что предполагает при интерпретации объекта предельную осторожность, использование, как в операции с «сиамскими близнецами», исключительно микрохирургического инструментария.

Да и вообще не стоит само понятие системы, особенно если имеется в виду система духовного, интеллектуального, художественного порядка, представлять себе как нечто, напоминающее жесткую, «цельнометаллическую» конструкцию. Слаженность и взаимозависимость составных частей системы ни в коей мере не противоречат ее гибкости, не исключают возможности, а подчас и неизбежности того, что иные элементы, находясь в сфере притяжения системы, в то же время как бы «выпадают» из нее, сохраняют известную автономию, стоят особняком.

В гоголевской «Переписке» такие «выпадающие» (по крайней мере, на первый взгляд) элементы — это рассмотренное нами только что «Предисловие», а также «Завещание», заслуживающее специального внимания. Тем более что именно в нем, в «Завещании», нам предстоит встретиться с «Прощальной повестью»...



ЗАГАДКА «ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ»

Конфликтная ситуация, неизбежно возникающая вокруг любого завещания — имущественного ли, политического ли, — стара, как мир, и банальна, как сетования на нравы молодежи или капризы погоды. Быть может, кому-нибудь и известны счастливые примеры, когда бы завещания не вызывали распрей и раздоров, не пробуждали застарелых обид, антипатий, ненависти, не приводили к борьбе за наследство или наследие, за деньги или за власть... Я таких примеров ни из истории, ни из житейской практики привести не берусь.

Гоголевское «Завещание» — случай особый. Имущественных вопросов автор в нем не касается, о дележе наследства (да и какого наследства?) не может быть и речи. Пункт VI, содержащий распоряжения о будущих доходах от посмертных изданий своих сочинений, Гоголь в книгу не включил, а отдельно отослал этот текст матери (см. письмо от 14 ноября 1846 года; XIII, 138). Политических проблем в «Завещании» нет. Власть? Но кому и как может завещать писатель свою власть над умами и душами людей?

Тем не менее именно «Завещание» (как и «Предисловие») сразу же по выходе книги оказалось едва ли не под самым острым критическим огнем. Если по поводу других разделов еще высказывались различные суждения, то тут по сути все были единодушны в решительном неприятии. Я, правда, могу припомнить доброжелательный отзыв — писательницы А. Ишимовой, той самой, чью книгу для детей по русской истории «нечаянно открыл» перед дуэлью Пушкин, «невольно зачитался» и тут же написал автору последнее в своей жизни письмо[1]. Так вот, Ишимова еще до выхода в свет «Выбранных

[1] См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X. М., 1958, с. 623.

мест», ознакомившись у Плетнева с первыми листами корректуры, то есть как раз с «Предисловием» и «Завещанием», поспешила письменно выразить автору «хотя миллионную часть... глубокой благодарности»[1]. Но это редкий пример подобного рода. Даже самые близкие друзья Гоголя, хотя и всячески старались быть деликатными, не обидеть автора, не могли все же скрыть своего огорчения этой публикацией. «Вообще все хвалят ваши письма, — пишет Гоголю его добрая приятельница А. Вьельгорская, — но не одобряют предисловия и особенно духовного завещания, видя в них, как говорят, «уничижение паче гордости». Признаюсь вам откровенно, я сама сожалею, что вы напечатали ваше духовное завещание, не оттого, что оно мне не нравится, но оттого, что оно не может нравиться публике и что она не может понять его»[2]. Добродушный Жуковский в письме к Гоголю дипломатично пеняет «самому себе» за то, что не предохранил друга от ударов критики — «не присоветовал тебе уничтожить свое «завещание...»[3]. Позднее даже такой апологет «Выбранных мест...», как П. Матвеев, посвятивший защите этой книги специальную работу, высказывает мнение, что Плетневу, готовившему «Переписку» к печати, «следовало выкинуть завещание»[4].

Мнение это не изменилось по сей день, причем распространяется оно, если воспользоваться пастернаковским образом, «поверх барьеров» — барьеров идеологических, классовых и любых других. Так, В. Набоков в книге «Николай Гоголь», всем своим пафосом направленной против эстетики русских революционных демократов, восхищается зальцбруннским письмом Белинского к Гоголю. Еще забавнее, что отношение к гоголевским «Выбранным местам...», в частности к «Завещанию», со стороны Абрама Терца (А. Синявского), автора книги «В тени Гоголя», напрямую корреспондирует с позицией его советских критиков — М. Храпченко и С. Машинского...

Более всего Абрама Терца, а в равной степени и его оппонентов, как и давних их предшественников, шокирует то обстоятельство, что Гоголь опубликовал свое завещание при жизни, «в книге, как афишу о собственной смерти», а после этого, «словно в насмешку, в издевательство над собой, продолжает жить и жить...»[5]. За словом «афиша» у Терца легко угадывается упрек в саморекламе. Критик прошлого века предпочитал другое слово — «публичность», но смысл обвинения был тот же.

---

[1] Русская старина, 1893, VI, с. 552.
[2] Вестник Европы, 1889, № 10, с. 120.
[3] Жуковский В. А. Соч., т. VI. СПб, 1878, с. 81.
[4] Матвеев П. А. Николай Васильевич Гоголь и его Переписка с друзьями. СПб., 1894, с. 61, примеч.
[5] Терц Абрам. В тени Гоголя. Лондон, 1975, с. 8.

«...Вступить в беседу с Россией по случаю своих домашних распоряжений, когда они могут исполниться без ее участия, или по случаю своей души, когда поминовения о ней можно устроить гораздо смиреннее и когда Церковь и без наших завещаний будет молиться о нас в числе других усопших: на эту публичность надо иметь особенное право» [1].

Таким образом, неприличие, вызывающий характер поступка Гоголя усматривается в том, что он преждевременно сделал свои предсмертные (как он тогда думал) мысли всеобщим достоянием, как бы представляющим интерес для многих, иначе говоря, превратил факт сугубо личной жизни в факт литературы. Это оценивается как по меньшей мере нескромность, отсутствие должного смирения, как проявление гордыни. «Вы как будто впали в прелесть...», — пишет Гоголю его знакомая Е. Свербеева, а ее муж, Д. Свербеев, в письме, пересланном через С. Аксакова, формулирует свои впечатления более резко: «просто надувательство!» [2] А как иначе: извещает о своей близкой кончине, сам же, по выражению А. Терца, «продолжает жить и жить»...

Есть ли в упреках подобного рода какой-нибудь резон?

Ответ лучше всего искать в гоголевском тексте.

Первый же пункт «Завещания», это нельзя не признать, производит поначалу несколько странное впечатление: писатель беспокоится, чтобы тело его не погребали «до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения». Настойчивость свою в этом необычном предостережении Гоголь объясняет тем, что во время болезни на него не раз «находили минуты жизненного онемения», при котором «сердце и пульс переставали биться» (VIII, 219) и которое, как он опасается, легко может быть принято за смерть.

А. Терц называет это «чувством гроба», которое, по его мнению, Гоголь носил в груди чуть ли не на протяжении всей жизни, время от времени давая ему выплеснуться в свои сочинения. То это образ узника в «Кровавом бандуристе», которому «казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним», и чудился стук заступа, «когда страшная земля валится на последний признак существования человека». То мертвец, встающий из могилы на глазах застывших от ужаса Данилы Бурульбаша и его казаков: «Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! душно! — простонал он диким, нечеловечьим голосом» («Страшная месть»). То, наконец, это описание уже в «Выбранных местах...» («Исторический живописец Иванов») собст-

[1] Письма Николая Филипповича Павлова к Николаю Васильевичу Гоголю.— Русский архив, 1890, № 2, с. 288.

[2] Цит. по: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV, с. 522, 524.

венного душевного состояния, подобного летаргическому сну, когда человек «видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевельнуть пальцем и подать знака, что он еще жив» (VIII, 334).

Выстроенный А. Терцем ряд примеров может показаться убедительным, но лишь на первый взгляд. Если вдуматься, он окажется конструкцией довольно зыбкой, построенной на сугубо внешних признаках, на натяжках. Ведь в случаях с «Кровавым бандуристом» и «Страшной местью» перед нами не что иное, как типичные образцы романтической атрибутики, действительно нередкие у раннего Гоголя, однако же отнюдь не только у него — могил, гробов, мертвецов, в том числе и оживающих или даже вовсе «живых», в тогдашней русской и, скажем, немецкой романтической литературе было хоть отбавляй; идентифицировать подобного рода описания с чувствами и переживаниями автора по меньшей мере не корректно. Что же до признаний Гоголя позднего, то этот пример не «работает» по той простой причине, что ровным счетом ничего не добавляет нового к первому пункту «Завещания». Последний лишь конкретизирует, так сказать, прозаизирует, переводит в практический план развернутую метафору летаргического сна, к которой Гоголь прибегает в письме к М. Вьельгорскому (это оно включено в «Переписку» под названием «Исторический живописец Иванов»). Спору нет, здесь заметен оттенок некоторой болезненной навязчивости, отражающей то «нервическое» состояние, в котором готовилась и создавалась «Переписка» и о которой не раз говорит сам автор в письмах той поры, но я не вижу никаких оснований распространять это состояние, квалифицируемое А. Терцем как «чувство гроба», на всю биографию Гоголя и на все его творчество.

(Не говорю уже о том, в каком уничижительном, глумливом тоне выдержаны соответствующие страницы книги «В тени Гоголя», как, впрочем, вся глава «Эпилог», посвященная «Выбранным местам...». Нескрываемая и ничем не сдерживаемая антипатия к личности Гоголя подталкивает А. Терца к грубой издевке там, где уместны лишь сочувствие и деликатность. «Хожу и спрашиваю: — Вы случайно не знаете, как похоронили Гоголя? В смысле («профессорское» арго?— *Ю. Б.*) — погребли. На какой день, в каком виде»?[1] — таково начало книги. Далее следует пересказ ходячей байки о том, как Гоголя будто бы зарыли живым и как потом выяснилось, что он лежал в гробу на боку... Затем — мнимо глубокомысленное, не без хохмаческой окраски, размышление о том, что мог подумать Гоголь, когда проснулся в могиле... Неловко и досадно становится, ког-

---

[1] Терц Абрам. В тени Гоголя, с. 7.

да обнаруживаешь подобные кощунственные пошлости в работе, отнюдь не лишенной метких наблюдений и интересных, пусть часто и спорных, мыслей).

В пункте 1, если вчитаться в текст «Завещания» внимательно, можно заметить один небольшой, вроде бы мимолетный штрих, игнорируемый А. Терцем, а с моей точки зрения — существенный. Дело в том, что Гоголь, предупредив (между прочим, достаточно лаконично, в сдержанной интонации) о своем опасении быть погребенным заживо, тут же по существу снимает с этих опасений малейший мистический налет, подчеркнуто переводит проблему из сферы своих личных душевных переживаний в плоскость общечеловеческую, социальную. Вот что он пишет: «Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это (то есть просьбу не спешить с похоронами. — *Ю. Б.*) здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности» (VIII, 219).

Знал бы, видел бы писатель, чтó такое смерть и погребение людей в нашем веке, в наши дни... Не знал, но предчувствовал, предощущал, провидел. И только ли о смерти да о погребении речь? А в жизни что? Недаром Гоголь говорит о «всех делах». Интуиция художника подсказывает ему, что вместе с так называемой цивилизацией грядет и какая-то разрушительная, обезличивающая, обесчеловечивающая сила, для которой он пока не находит другого имени, как «неразумная торопливость», но которая перед нами сегодня предстает сразу во многих своих уродливых обличьях — таких, как цинизм, бездуховность, утрата веры сначала в Бога, а потом и в себя самого, в других, во все на свете, как голый практицизм и опустошенность души, потребительство и эгоизм, эгоизм людей, групп, ведомств, классов, целых обществ... Оставляя распоряжения на случай собственной смерти, Гоголь не забывает напомнить людям «вообще об осмотрительности», чтобы человечество, одурманенное сладкой отравой «прогресса», его кружащей голову лихорадкой, не погребло заживо само себя и весь поднебесный мир...

Вот чего мы до сих пор не прочитывали в этом пункте гоголевского «Завещания».

Между тем чуть дальше, в пункте IV, звучит похожая, но на сей раз не раздумчиво-философская, а пронзительная нота. «...Соотечественники! страшно!..» — какое простое, каждому понятное признание, какой леденящий душу то ли стон, то ли вскрик, то ли мольба о помощи... Что здесь — только ли та невыносимая предсмертная тоска, которую суждено неизбежно

испытать человеку в какое-то короткое мгновение на последнем рубеже? Только ли ужас ожидания Страшного суда[1], мистический страх «при одном... предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих»? Да, и это, и это тоже. Но не только. Есть еще и другой страх — когда страшно оглянуться на прожитую жизнь, когда охватывает ужас при мысли об «исполинских возрастаньях и плодах», семена которых «мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...» (VIII, 221). Современники писателя воспринимали эти слова лишь как запоздалое покаяние, как свидетельство отречения от рожденных его художническим воображением созданий; еще не так давно нас учили рассматривать их исключительно как выражение религиозного обскурантизма, играющего на руку эксплуататорам. Но сегодня мы, живущие в конце двадцатого века и волею судеб заглянувшие в железное лицо таким Виям, таким «страшилищам», каких не могли вообразить ни Гоголь, ни сам Иоанн Богослов, — не вправе ли мы, да и не обязаны ли услышать прежде всего предостережение художника, адресованное потомкам? Он словно наперед знает, что мы так и не научимся думать о «возрастаньях и плодах», приносимых семенами, которые умеем так щедро и бездумно разбрасывать, получая чудовищные всходы гулагов, голодоморов, чернобылей, карабахов, «афганов» — и несть им числа... Знает, и потому, находясь «на смертном одре» и видя «иное... лучше тех, которые кружатся среди мира», хочет помочь соотечественникам, даже и тем, «которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою», постичь «хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны». Он завещает нам и горькие свои прозрения, и свою любовь к человеку. «Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и в утешение среди наитягчайших моих страданий...» (VIII, 221).

---

[1] Этот пугающий образ с какой-то трагической причудливостью обрамляет жизнь Гоголя. Одно из душевных потрясений детства — рассказ матери о Страшном суде, описание «вечных мук грешников» (см.: I, 260). А совсем незадолго до кончины — беспощадные обличения отца Матвея, грозящего Страшным судом «за всякое праздное слово». Свидетель этих бесед рассказывает, как однажды Гоголь, «не владея собою», прервал священника: «Довольно! Оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно!» (см.: Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1857, с. 9).

Но вернемся к пункту 1, ведь мы еще так и не дочитали его до конца.

Высказав и объяснив свою просьбу не торопиться с его погребением, Гоголь продолжает: «Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба» (VIII, 219).

Это одно из тех мест, на которых мысленно задержался Л. Толстой, перечитывая гоголевскую «Переписку»: последние строки, начиная от слов «не связывать» и до конца абзаца, им отчеркнуты. Еще более пристальное и, несомненно, сочувственное внимание Толстого привлекла следующая, относящаяся уже к пункту II, фраза: «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном» (VIII, 219). Каждый, кто посетил могилу самого Толстого (или хотя бы видел ее изображение, или просто слышал о ней), могилу, лишенную памятника и даже креста,— каждый поймет, почему писателем отчеркнуты и к тому еще подчеркнуты эти гоголевские слова, а на полях поставлен знак «нотабене»...

Как, однако, по-разному подчас прочитывается и истолковывается разными людьми один и тот же текст! Вот запись из дневника Чернышевского (24 июля 1848 г.), его разговор со своим другом В. Лободовским. Предмет разговора — Гоголь, «Выбранные места из переписки с друзьями». Касается Чернышевский и пункта о памятнике: «Памятник? Да ведь назвали бы дураком, если б не знал он, что в 10 раз выше Крылова, а ему ставят памятник...»[1] Заметим: Чернышевский не осуждает Гоголя, напротив, он считает, что его «ругают напрасно», защищает от обвинений в «тщеславии, мелочности и пр.», как личность автор «Переписки» ему явно импонирует. И при этом сам он все же исходит по сути из тезиса о... неискренности Гоголя: отстаивает его право на памятник, как бы не допуская и мысли, что отказ писателя от этого права есть выражение действительного его желания.

А ведь это — Чернышевский (правда, молодой); чего же ожидать от других читателей и комментаторов книги Гоголя? До Толстого никто всерьез так и не поверил в искренность просьб Гоголя о памятнике и других «погребальных почестях»,

---

[1] Цит. по: Гоголь Н. В. Материалы и исследования, т. II. М., 1936, с. 481.

как, впрочем, и всего его «Завещания». Наиболее отчетливо и резко, местами едва ли не с фельетонной хлесткостью такое отношение выразилось в получивших широкий резонанс открытых письмах Н. Павлова к Гоголю, опубликованных «Московскими ведомостями» и тут же перепечатанных «Современником»[1].

Прежде чем обратиться к этим письмам, стоит сделать небольшое отступление и сказать кое-что об авторе, а также о некоторых обстоятельствах их появления в свет.

Николай Филиппович Павлов (1803—1864) оставил не слишком глубокий, но заметный след в русской беллетристике и литературной жизни минувшего века. Лучшие из его сочинений, прежде всего книга «Три повести», имели читательский успех и одобрительно, подчас даже высоко (пожалуй, чересчур высоко) оценивались такими авторитетами, как Пушкин, Белинский, Чаадаев, Тютчев; в их числе был, кстати, и Гоголь. Правда, справедливости ради следует сказать, что Пушкин с присущим ему абсолютным эстетическим слухом сразу же уловил неумеренность иных похвал и, благожелательно отозвавшись о способностях автора, счел нужным все-таки ограничить свои замечания о его повестях «одними порицаниями»; впрочем, он называет их «истинно занимательными» и — не без иронического подтекста — присоединяется к мнению «одной дамы», заметившей, что, читая эту книгу, «забываешь идти обедать»[2].

И как человек, и как литератор Павлов удивительно многолик, его жизнь полна зигзагов и контрастов; мягко говоря, она весьма пестра. Сын дворового человека, отпущенного на волю и выбившегося в купцы третьей гильдии; неудавшийся актер; бедный студент; мелкий чиновник; литератор-поденщик, зарабатывающий на хлеб насущный переводами, очерками, фельетонами, водевильными куплетами, — и владелец тысячи душ, роскошного дома с парадной лестницей и швейцаром, «знатный» московский барин, щеголяющий изысканным платьем, золотыми табакерками и первоклассной кухней. Обличитель крепостничества, заскорузлых нравов, корыстолюбия — и польстившийся на богатое приданое «муж мамзель Яниш» (как нарекли его злые языки) — бывшей невесты А. Мицкевича, уже не очень молодой поэтессы Каролины Карловны Яниш, известной в русской литературе под именем Каролины Павловой. Глашатай благородных моральных принципов — и отчаянный картежник, выигрывающий и проигрывающий по 10—15 тысяч

---

[1] Московские ведомости, 1847, № 28, 38, 46; Современник, 1847, № 5, 8. Впоследствии письма Н. Павлова были перепечатаны журналом «Русский архив» (1890, № 2).

[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 323—324.

за вечер[1], к тому же подозреваемый в не совсем чистой игре — случайно ли Пушкин в одном из писем предостерегает П. Нащокина: «С Павловым не играй![2] Литератор с репутацией либерала-западника, автор повестей, вызвавших высочайший гнев, административный ссыльный (правда, всего на несколько месяцев в Пермь) за хранение «Полярной звезды» и сочинений Герцена — и редактор-издатель газеты «Наше время», субсидируемой Министерством внутренних дел и выступающей с нападками на того же Герцена...

С Гоголем Павлова ничто не сближало, но не было, казалось, и причин для вражды между ними. Напротив, С. Аксаков называет имя Павлова в числе тех, кто в 1838 году участвовал в складчине для посылки денег в Италию терпящему нужду Гоголю[3]. Он же вспоминает, с другой стороны, что «Гоголь постоянно защищал» от нападок «вторые «Три повести» Павлова» (имеется в виду книга «Новые повести».— *Ю. Б.*), «доказывая, что они имеют свое неотъемлемое достоинство: наблюдательный ум сочинителя и прекрасный язык, и что они нисколько не хуже первых»[4]. Кто знает, быть может, Гоголь и говорил что-нибудь подобное в доме Аксакова, зная, что тот частенько встречается с Павловым за зеленым карточным столом; нам известно совсем иное его мнение о «Новых повестях»: сочинитель, «не захотевши быть самим собой, вздумал копировать... модных нувеллистов» (VIII, 425). Однако это критическое суждение Гоголя было опубликовано лишь после его смерти, и вряд ли Павлов мог о нем знать, когда писал и публиковал свои «Письма».

Как видно, импульс для этого нашумевшего выступления, явно преследующего цель не оставить от гоголевской «Переписки» камня на камне, надо искать не в каких-либо внешних обстоятельствах, а в сфере сугубо психологической, в особенностях характера Павлова, чертах его личности. Человек сметливый, переимчивый, несомненно не лишенный литературного дарования, пусть и не очень значительного, Павлов вместе с тем отличался отсутствием твердых убеждений, эклектизмом взглядов, интересов, вкусов, той всеядностью и «эластичностью», если не сказать — беспринципностью, благодаря которой и в его литературном салоне можно было встретить «всех без различия направлений»[5] — Хомякова и Герцена, Самарина и

---

[1] См.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 179.
[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 353.
[3] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 161.
[4] Там же, с. 175.
[5] Брюсов Валерий. Материалы для биографии Каролины Павловой. — В кн.: Каролина Павлова. Собр. соч., т. 1. М., 1915, с. XXVI.

Огарева, братьев Аксаковых и Кетчера...

Дидероты и Декарты,
При Грановском Шевырев,—
Философия и карты,—
Всем ты рад, на все готов,—

зло, но отнюдь не без оснований писала Е. Растопчина[1].

И вот еще что надо иметь в виду: готовность «на все» опасно сочеталась у Павлова с тщеславием и самомнением, отягощенными к тому же болезненным комплексом неполноценности; выкарабкавшись, по его собственному признанию, «из грязи Замоскворечья и Старой Конюшенной»[2], он был обуреваем непомерными амбициями и завистью к тем, кого считал удачливее себя. Натурам подобного склада для самоутверждения и «самоподстегивания» обычно необходим оппонент, соперник — реальный или придуманный. В воображении Павлова таким его соперником в литературе стал Гоголь. Эта снедающая его и слишком очевидно обнаруживающая себя ревность по отношению к Гоголю в литературных и близких к литературным кругах была постоянным предметом иронии и осуждения, которые особенно явственно сквозят во многих откликах на «Письма» Павлова[3].

Приведу пространную, но зато очень характерную выдержку из одного частного письма, относящегося к январю 1847 года. «Здесь, — пишет из Москвы адресат, — книга Гоголя занимает всех, все кричат, жестоко нападают на него. Каролина Карловна в каком-то исступлении! Николай Филиппович написал критику и нынче читает ее у Киреевского — он, который никогда не признавал таланта гениального Гоголя, с жадностию бросился на эту книгу — прибирает эпиграфы из «Тартюфа», хлопочет, кричит. Это отвратительно — признаюсь Вам, не могу я хладнокровно все это выслушивать. Как жалки люди, как жадно ловят они всякую возможность осмеять, опорочить талант. Как гадко радуются возможности падения всякой знаменитости. Павлов от этого не вырастет ни на волос — что же за отвратительная суетливость. Жалкие люди»[4].

Может быть, это негодует кто-то из горячих апологетов «Выбранных мест...»? Допустим, Ишимова или Смирнова; кстати, последняя брезгливо, с оттенком аристократического снобизма отзывалась о «лакейской натуре Павлова»[5]. Нет, оши-

---

[1] Русская старина, 1885, № 3, с. 691.

[2] Цит. по: Вильчинский В. П. Критические статьи Н. Ф. Павлова.— В кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. Л., 1959, с. 173.

[3] См. об этом: Литературное наследство, т. 58, с. 574.

[4] Там же, с. 701—702.

[5] Русская старина, 1890, № 11, с. 353—354.

бется тот, кто так подумает. Приведенный отрывок взят из письма Е. Свербеевой — той самой Свербеевой, которая двумя днями раньше почтительно, с искренней болью, но совершенно недвусмысленно писала самому Гоголю о «грустном впечатлении» от его книги и корила его (читатель, надеюсь, помнит?) за то, что он «впал в прелесть»...

Письма Свербеевой, ее щепетильная объективность могут служить образцом подлинно нравственного отношения к литературе, к писателю; однако это не единственный пример подобного рода. Вот мнение дочери С. Аксакова — Веры Сергеевны. Она решительно настроена против гоголевской «Переписки», до хрипоты (если это выражение применимо к эпистолярной форме) спорит по этому вопросу с братом Иваном и потому, прочитав первое из «Писем» Павлова, поначалу находит в нем немало импонирующего. И в то же время она замечает, что это письмо «как-то не располагает к себе»: «...Что-то бездушное слышится в этой статье, по крайней мере совершенное отсутствие теплоты и убеждения»[1]. «Павлов не дорос даже до ошибок Гоголя»,— считает Ю. Самарин, хотя и признает, что в первом письме, «к сожалению, есть правда»[2]. Могут сказать: это — Самарин, один из лидеров славянофильства... Хорошо, обратимся к П. Чаадаеву, которого, с его очевидным западничеством, уж никак не заподозришь в сочувствии взглядам автора «Выбранных мест...». Чаадаев проявляет интерес к статьям Павлова, в своем письме к П. Вяземскому он отмечает остроумие критика, но при этом в его мимолетной характеристике — «наш замысловатый приятель» — отчетливо слышится снисходительно-пренебрежительная интонация:[3] так не говорят о человеке, которого уважают или хотя бы просто принимают всерьез...

Тем удивительнее, что сомнительного привкуса, присущего павловским «Письмам», их далеко не безукоризненной с нравственной точки зрения подоплеки не почувствовал, не распознал Белинский. Или почувствовал, распознал, но не придал значения, целиком поглощенный своим, как всегда и во всем неистовым, неприятием книги Гоголя? Неужели полагал, что в борьбе с нею любой союзник хорош?.. Как бы то ни было, во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» он объявляет «Письма» Павлова «лучшей из статей против нее», то есть против книги Гоголя, хвалит их за «тонкость мысли, ловкость диалектики, при изложении в высшей степени изящном», называет «явлением образцовым и совершенно особым в нашей ли-

---

[1] Литературное наследство, т. 58, с. 700.

[2] Самарин Ю. Ф. Соч., т. 12. М., 1911, с. 372.

[3] Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. 1. М., 1913, с. 282.

тературе»[1]. В той же, если не еще более восторженной, тональности выдержаны оценки, содержащиеся в письме к В. Боткину: «Статья Н. Ф. Павлова — образец мастерства писать. ...Сколько ума, какая последовательность, как все ровно и цело... Это та́к умно, что мо́чи нет!»[2] Именно здесь Белинский высказывает мысль о перепечатке «Писем» Павлова в «Современнике», что, как известно, было сделано.

Боткин же в письмах к Анненкову и Краевскому, в свою очередь, рассуждая о «напыщенном невежестве Гоголя»[3] и восхищаясь статьями Павлова, просто-напросто почти дословно повторяет оценки и аргументацию Белинского, от себя лишь добавляя, что эта критика напоминает «манерой своей Вольтера»[4]. А в это самое время ничего не подозревающий Гоголь «с любопытством» читает «Письма об Испании» Боткина и шлет автору через того же Анненкова дружеский привет: «Если увидите Боткина, поклонитесь ему» (XIII, 363—364). Ничего удивительного: ведь Боткин (в отличие от Свербеевой) не делился с Гоголем откровенно своими впечатлениями от его книги, он предпочитал высказываться за его спиной...

Зато все то, что думает о нем Павлов, по крайней мере провозглашенное во всеуслышание, Гоголь знал, «Письма» его, пересланные Шевыревым, читал; впрочем, о его реакции на них я скажу несколько ниже.

Теперь же все-таки — о самих «Письмах», вернее сначала об одном письме, первом[5], которое возвращает нас к непосредственному предмету разговора, к «Завещанию».

Я уже говорил, что по сути никто из современников не поверил, будто Гоголь и впрямь не хочет себе памятника. Не верит, разумеется, и Павлов и ради обоснования этого своего

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8. М., 1982, с. 411.

[2] Там же, т. 9, с. 633.

[3] Цит. по: П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, с. 529.

[4] Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1889 год. СПб., 1893, прилож., с. 78.

[5] Нумерация павловских писем довольно странная. Кроме первого, опубликованы еще второе и... четвертое. К последнему в «Московских ведомостях» дано примечание: «Помещение 3-го письма по обстоятельствам отдаляется». Но существовало ли оно вообще? Шевырев по этому поводу пишет Гоголю: «Третье письмо Павлова не было не только напечатано, но даже и написано. Так мне сказывал автор...» Между тем «в публике разошелся слух, что третьего письма не пропустила цензура» (такое предположение бытует и по сей день в нашем литературоведении). «Я не знаю,— недоумевает Шевырев,— почему он (Павлов.— *Ю. Б.*) нарушил порядок числительный» (Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1893 год. СПб., 1896, прилож., с. 50—51). А может, для того и нарушил, чтобы дать пищу слухам о цензурном запрете, неизменно привлекающем, как хорошо известно, особое внимание публики?.. Я такого хода не исключаю.

неверия не жалеет ни эрудиции, ни остроумия, ни публицистического темперамента.

Но прежде он порезвился, комментируя другие просьбы Гоголя. Сначала, как мы помним, высказал сомнение в моральном праве писателя на «публичность» предсмертного обращения к соотечественникам, казуистически мотивируя это тем, что подобная акция противоречит его, Гоголя, «утонченным понятиям о нравственности»[1]. Затем от души повеселился по поводу того, что Гоголь опасается быть похороненным заживо; в в тоне легкой шутки критик замечает, что рассеянный автор «Завещания» обращается с этим вообще не по адресу: «вы в чужих краях, вы на дороге в Иерусалим; мы в России, и нам никак нельзя бы поспеть вовремя», так что пусть уж, дескать, о ваших похоронах позаботятся те, кто будет «поближе к вам»... Далее, перейдя на серьезный, отчасти даже обличительный тон, Павлов решительно осуждает как неправомерное желание писателя, чтобы тело его было предано земле, «не разбирая места», и чтобы никто не поклонялся его «гниющей персти»; тут в ход идут прецеденты из древнеегипетской истории, примеры из Библии, ссылки на авторитет Церкви, на народные обычаи и «русскую породу»...

Что же касается просьбы не ставить памятника, то ее критик рассматривает не иначе, как скрытый намек, косвенное напоминание писателя о своем значении для духовной жизни общества. «Ведь вы не то что не хотите памятника; я ошибся: вы его хотите,— торжествующе, как бы срывая с гордеца маску смиренника, возглашает Павлов,— да только не такого, какой употреблялся и употребляется у всех народов, а получше и поделънее». Какой же скрытый подтекст, таящий в своих глубинах исполненный гордыни замысел автора, обнаружил в «Завещании» проницательный критик?

Перечитаем пункт II. «Кому же из близких моих,— пишет Гоголь,—я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник» (VIII, 219—220).

О да, иронизирует по этому поводу критик, памятник, о котором вы мечтаете, прекрасен, «памятник нетленный, не подверженный влиянию вероломных стихий и разрушительного времени», только кто же из смертных имеет право на подобные

---

[1] Здесь и далее цитаты из «Писем» Павлова даются по тексту журнала «Русский архив», 1890, № 2.

притязания, кто достоин такого памятника?.. Не высокомерие ли, не греховная ли «прелесть» — думать, что можешь влиять даже «не на умственное развитие себе подобного, а на святыню его души»?..

Павлов избирает проверенный и безотказный прием опровержения оппонента: видеть и слышать не то, что пишется и говорится, а то, с чем удобнее и выигрышнее спорить. В основе этого способа полемики лежит добрый старый принцип: «про Фому» — «про Ерему»...

Вот Гоголь высказывает затаенную свою мечту о том, чтобы дело его и слово способствовали духовному возвышению близких, тех, кто его знал и любил. Нормальное человеческое желание, в котором трудно усмотреть что-то предосудительное. Павлов же именно этот человеческий аспект попросту игнорирует, он сразу переходит в другой, куда более высокий регистр — строго напоминает автору «Завещания», что если кто-то и вырастет душой, то это будет «не памятник приятелю, а исполнение Божественного закона, предписанного бессмертной душе», «дар небесной благодати», что «у друзей ваших есть иной завет, заповеданный им другими устами», и что никому, кроме Бога, не дано бодрить и освежать всех вокруг себя «в смысле духовном, в смысле нравственном»...

Гоголь призывает каждого (но себя прежде всего!) хотя бы на пороге вечности заглянуть в собственную душу, задуматься «о своей собственной черноте»: «Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!» (VIII, 220). Разве не ясно слышен тут голос умирающего, которому открылись вдруг, пусть слишком поздно, смысл и бессмыслица прожитой жизни? Павлов же доказывает, что слова Гоголя есть лишь обличение кого-то, а не себя, что они «явно метят на то, чтоб друзья ваши отмылись от черноты душевной».

Гоголь хотел бы, чтобы друзья помнили его и проникли в смысл слов, им сказанных (а что такое слова писателя, как не его сочинения?). И чтобы «всяк из них» перечитал после смерти его письма, «к нему писанные за год перед сим» (VIII, 220); что ж, он действительно глубоко верил тогда в полезность и преобразующую силу своих писем... Ошибка? Слабость человеческая? Пусть так, да только ведь и мы с вами перечитываем сейчас эти письма! Павлов иронизирует: «...Вам бы следовало принять предварительные меры и обязать их (друзей.— *Ю. Б.*) во время разговоров с вами вырезывать ваши слова на меди». Таков тон полемики, таков стиль, оцененный Белинским как «в высшей степени изящный»...

Нет смысла подробно останавливаться на комментариях Павлова к пункту III, в котором Гоголь завещает «никому не

оплакивать» его после смерти, не «предаваться бесплодному сокрушению», «унынию» (VIII, 220). Комментарии эти выдержаны в том же духе: апелляция к христианскому учению («этих слез не запретил Божественный Учитель, ибо Сам прослезился над прахом Лазаря») соседствует здесь с бестактными намеками («Да и к чему преждевременные опасения? Как знать, расплачутся ли еще о нас!..»).

Отсюда — прямой и естественный переход к ёрничанью по поводу следующего, IV пункта «Завещания». Но на сей раз перечитаем сначала Гоголя, а уж потом послушаем Павлова.

Пункт IV по сей день до конца не разгадан. Я имею в виду то, что относится к «Прощальной повести». Это сочинение, которое Гоголь считает лучшим «из всего, что произвело перо мое», «лучшим своим сокровищем», «знаком небесной милости», писатель завещает соотечественникам; он просит их об одном — «выслушать сердцем» эту повесть. «Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкой родственник вам всем» (VIII, 220—222).

Конечно, первый вопрос, который сразу же возникает, — о каком сочинении говорит здесь Гоголь? В авторском примечании к пункту IV он дает такое пояснение: «Прощальная повесть не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни» (VIII, 222). Из этого примечания можно сделать вывод, что было завершено какое-то произведение, то ли озаглавленное, то ли условно именуемое «Прощальной повестью», которое могло бы быть опубликовано уже сейчас, при жизни автора, однако публикация откладывается, ибо подлинное свое значение повесть получит лишь после его смерти. Поскольку в материалах Гоголя такая рукопись не была обнаружена, в литературоведении утвердилась уклончивая формула, к которой обычно прибегают комментаторы: «Судьба этого сочинения не известна». Возразить тут нечего, формула неуязвима, она, как говорится, закрывает вопрос.

Может быть, и так, но только не для Павлова (обратимся теперь к его статье), для которого такого вопроса как бы вообще не существует. «...Какое мне дело до ее родословной!..» — говорит критик о «Прощальной повести». Он вполне мог бы добавить: да и до нее самой тоже... Ибо признание писателя задевает его лишь в той мере, в какой дает еще один повод для насмешек и обидных упреков. «Теперь вы... хотите поучать... Рама картины раздвигается, и горизонт становится шире; выступают на сцену не близкие вам, не друзья, а читатели, «все ваши соотечественники», т. е. Россия. С одной стороны они, с другой вы; с одной стороны миллионы людей, кото-

рые чрезвычайно нуждаются, чтоб какой-нибудь писатель оставил «им» в наследство «благую весть», братское поучение... с другой писатель необыкновенный, предлагающий свои услуги».

Вслушайтесь, читатель, вдумайтесь: «какой-нибудь» писатель — это имеется в виду автор «Мертвых душ», «Ревизора», «Старосветских помещиков»; «необыкновенный» — это ведь с иронией сказано, с издевкой; «услуги» — это говорится о стремлении художника быть полезным своим талантом людям... Теперь вообразите: вы — счастливый современник Гоголя, вы, казалось бы, должны с жадностью и нетерпением ожидать появления каждого нового его сочинения; и вот вы узнаете, что такое сочинение уже есть, уже создано, что писатель вложил в него весь свой нелегкий жизненный опыт, всю свою душу и теперь оставляет его вам, обществу в наследство как последнее свое, прощальное слово... Что же вы? Каков первый порыв вашего сердца? У Павлова этот «порыв» вот каков: «И завещать ее (повесть.— *Ю. Б.*) соотечественникам можно бы иначе,— простым действием типографского станка... Книгопечатание изобретено именно с тою целью, чтоб избавить нас от лишнего письма. ...Вы рассудили принять на себя напрасный труд»...

Да полноте, возможно ли такое безразличие; нет, даже не безразличие — холодность; нет, даже не холодность — враждебность? Откуда они? Вместо ответа я попрошу читателя вернуться на несколько страниц назад и перечитать то письмо Свербеевой, где так колоритно обрисованы Каролина Карловна и Николай Филиппович Павловы, особенно последний...

Впрочем, почему бы, собственно, и не писать такое Павлову? Ведь до него было сказано и опубликовано: «Тут (то есть в «Завещании».— *Ю. Б.*), между прочим, говорится, как о венце творения Гоголя, о какой-то *прощальной повести,* написанной им в назидание, поучение и услаждение высоких душ...» [1] А ведь это говорится о сочинении неопубликованном, нечитаном, неизвестном! И говорится в статье, по поводу которой автор сетует в частном письме, что из-за цензуры не мог, «зажмурив глаза, отдаться моему гневу и бешенству», что пришлось, дескать, «мурлыкать кошкою», когда хотелось «лаять собакою и выть шакалом» [2]... И кем говорится! И о ком!

Признаюсь, меня поражает даже не столько тон этого «мурлыканья», этого заочного, без суда и следствия, приговора Белинского «Прощальной повести» (зная зальцбруннское его письмо, ничему не удивляешься), сколько полнейшее отсутствие у критика даже намека на интерес к «какой-то» новой по-

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 223.
[2] Там же, т. 9, с. 622—623.

вести своего недавнего кумира — какой бы она ни оказалась, эта повесть, она ведь принадлежит перу Гоголя! Нет, поистине неистощима на загадки история отечественной литературы, как и вообще наша история, много в ней такого, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, а нам с вами и «не положено» было такие сны видеть...

Но все же, все же — что это за «Прощальная повесть»? Реальная ли рукопись, судьба которой просто пока не известна, или некий литературный фантом, и тщетно искать его в архивах?

Мысль о каком-то новом сочинении придется, видимо, отклонить: в течение многих последних лет Гоголя по существу не занимало ничего, кроме «Мертвых душ», и он всегда очень сердился, когда слышал традиционный вопрос о чем-нибудь «новеньком»; нигде, ни в одном письме нет и намека на какую-либо работу, всерьез отвлекающую от «Мертвых душ», если не считать «Выбранных мест...», которые Гоголь рассматривал как своего рода промежуточный этап в подготовке второго тома грандиозной своей поэмы, да еще небольшой по объему «Развязки «Ревизора» с «Дополнением» к ней[1].

Так что же — «Мертвые души», второй том? Тем более что в четвертом письме по поводу этого своего произведения Гоголь говорит о втором томе нечто очень близкое тому, что сказано в «Завещании» о «Прощальной повести»: «...Труд... где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу» (VIII, 297). Предположение выглядело бы убедительно, если бы не вот какое «но»: примерно в одно время с написанием «Завещания», в конце июня — начале июля 1845 года, в момент болезненного кризиса, рукопись второго тома «Мертвых душ» Гоголь сжег. Завещать соотечественникам было нечего...

Вспомним, однако, другое. Как раз в этот период Гоголь уже непосредственно обдумывает замысел книги своих избранных писем к друзьям, который все больше увлекает его возможностью высказаться, открыть душу и тем, быть может, оказаться полезным людям. Об этом он еще в апреле 1845 года пишет Смирновой. А что, если именно эту книгу, которая в конечном итоге вылилась в «Выбранные места из переписки с друзьями», и имеет в виду Гоголь, когда говорит о своей «Прощальной повести»?

---

[1] Втайне от всех создавались «Размышления о божественной литургии», рукопись которых, не вполне завершенная, была обнаружена в бумагах писателя лишь после его смерти; об этом сочинении сказано будет особо.

Я отдаю себе отчет в том, что в этой версии есть по крайней мере три уязвимых места; хочу сам же их обозначить и попытаться прояснить.

Первое. О «Прощальной повести» говорится, что она была «источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего» (VIII, 221). Переписка с друзьями, задуманная еще в детстве,— как объяснить такое? На этот вопрос — признаюсь сразу же, и со всей откровенностью—у меня четкого ответа нет. Разве что попытаться истолковать ссылку на детство как метафору, указывающую на то, что будущая книга писем должна вобрать в себя опыт всей жизни писателя? Натяжка, готов согласиться. Что ж, пусть кто-нибудь предложит иной ответ...

Второе. К моменту написания «Завещания», то есть упоминания о «Прощальной повести», книга писем была только в замысле, самое большее, и то едва ли, — в предварительных наметках, работа над ней еще не начиналась. Лишь почти через год, в апреле 1846 года, Гоголь сообщает Языкову более или менее обдуманный план книги. Что же он в таком случае называет своей «Прощальной повестью», что оставляет в наследство — замысел? Отвечаю: да, именно так. Замысел, который уже созрел в его сознании и который может быть реализован... и без его участия. Все остальное, кроме уже напечатанного, «не существует», как объявляет Гоголь в пункте V «Завещания»: «что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии». Остались только уже существующие, уже написанные им письма, которые он, в случае его смерти, просит своих друзей собрать и «издать отдельною книгою» (VIII, 222). Позднее, оправившись от болезни, он сделает это сам.

Наконец, третье. «Завещание» писалось летом 1845 года, и тогда примечание автора о том, что «Прощальная повесть» (или, как я предполагаю, «Выбранные места...») «не может явиться в свет» до смерти автора, было уместно, оно объяснялось его кризисным состоянием, ожиданием близкого конца. Но включал «Завещание» в книгу Гоголь уже в 1846 году, когда был относительно здоров и думал не о смерти, а о том, чтобы побыстрее увидеть книгу напечатанной. Почему же он оставил примечание, написанное совсем в другом состоянии духа и при иных обстоятельствах?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего понять, что такое гоголевское «Завещание» по своей жанровой, эстетической природе. Павлов упрекает Гоголя: как мог он решиться «вступить в беседу с Россией по случаю своих домашних распоряжений»! Критик напоминает не без язвительности, что «у обыкновенных людей завещания пишутся, а не печатаются». Ошибка Павлова, как и Белинского, как и многих других, в

том числе искренних поклонников «Переписки» и ее автора, проистекает от того, что они мысленно сопоставляют «Завещание» с обыкновенным юридическим документом, составленным «обыкновенным» человеком и имеющим узкопрагматическое значение. Но Гоголь — писатель. И остается писателем даже — а быть может, и тем более — на кризисном рубеже своей жизни. Он пишет не завещание в привычном смысле (под понятие «домашние распоряжения» подпадает лишь пункт VI, и то частично, ибо и здесь главный акцент Гоголь делает на нравственных наставлениях матери и сестрам, завещая им доходы от издания своих сочинений «на условии делиться с бедными пополам» и превратить «обиталище помещика» в «странноприимный дом»; XIII, 477). Он пишет «Завещание» — своеобразное литературное произведение в отнюдь не чуждом традициям русской литературы жанре послания, поучения, «слова». «Я писатель...» — говорит он, видя не только право свое, а и долг в том, чтобы его сочинения служили «в поучение людям» (VIII, 221). С этой точки зрения характеристика Белинским «Завещания» как «интимной беседы с Россией»[1] близка к истине, если, конечно, очистить ее от иронического налета и полемической шелухи...

Здесь — объяснение тех черт и особенностей «Завещания», которые присущи ему именно как литературному сочинению, а не казенной «бумаге»: ярко выявленное публицистическое начало, прямые обращения к читателю — «соотечественнику», всплески лирического чувства, пророческие интонации.

Здесь и возможный ответ на вопрос о примечании, касающемся «Прощальной повести». Действительно, если мерить мерками обыденной логики, Гоголь должен был бы, включая «Завещание» в рукопись книги, это примечание снять. Однако он не тронул его, ибо руководствовался законами совсем иной логики — эстетической. Примечание это — небольшая литературная мистификация, и понадобилась она Гоголю не только для того, чтобы донести до читателя атмосферу, в которой написано было «Завещание», но еще — что, пожалуй, важнее — и для привнесения в свой рассказ о «Прощальной повести» оттенка некоторой таинственности, алогизма, путаницы, чуть-чуть сбивающих читателя с толку и тем самым придающих повествованию бо́льшую значительность. Он вообще любил и умел это делать...

Таким представляется мне вопрос о «Прощальной повести»[2].

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 222.

[2] Не приходится говорить, что возможны и другие версии, и они есть. Так, В. Носов, автор оригинального этюда «Ключ» к Гоголю» (Лондон, 1985), отказывается видеть в «Выбранных местах...» завещанную Гоголем

Посылая Гоголю в июне 1847 года четвертое, последнее письмо Павлова, Шевырев пишет: «Мне нравится твое расположение духа. Ответ Павлову очень значителен»[1]. Какого-либо специального «Ответа Павлову», тем более предназначенного для печати, Гоголь не писал, но в письме от 25 мая того же года к Шевыреву, которое последний явно имеет в виду, есть отклик на первые публикации в «Московских ведомостях». Он и впрямь выдержан в спокойном тоне, в нем чувствуется уверенность в своей правоте, какое-то внутреннее превосходство. «Статья Павлова, — миролюбиво замечает Гоголь, — говорит... в пользу Павлова и вместе с тем в пользу моей книги». Писатель не торопится с окончательным выводом, он ждет продолжения писем и «любопытствует чрезмерно знать», к какому результату приведут они их автора. Пока же он с удовлетворением отмечает, что его книга возымела на Павлова, хотел тот или нет, сильное воздействие, сбила его, и это критик сам признает, «совершенно с прежнего его положения (как он называет) *нормального*. Хорошо же было его нормальное положение!» Гоголю даже кажется (настолько он заворожен наивной и, несомненно, не лишенной претенциозности верой в силу и облагораживающее нравственное влияние своей книги), что сам Павлов «стал уже лучше того Павлова, каким является в своих *трех последних повестях*» (XIII, 315), то есть в тех «Новых повестях», в которых, по его мнению, Павлов копировал «модных нувеллистов».

Этот отклик Гоголя на павловские письма вновь возвращает нашу мысль к «Завещанию», конкретно — к пункту V, где тесно переплелись две весьма важные для автора «Выбранных мест...» темы. Одна из них — как раз отношение к критике. (Другой темы — суровой оценки Гоголем собственного творчества — мы уже касались, рассматривая «Предисловие». В добавление к сказанному хочу лишь, поскольку разговор идет о «Письмах» Павлова, сослаться на одно его разумное суждение: «...Мы их (имеются в виду сочинения Гоголя.— *Ю. Б.*) отстоим, с каким презрением ни отзывайтесь вы сами о них»).

Так вот, об отношении Гоголя к критике. «Завещаю,— пишет он, — по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осужденьем моих произведений в публичных листах и журналах: все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих го-

---

«Прощальную повесть», он ищет «некое единое целое» в совокупности «последних неоконченных... произведений» писателя (включая предсмертные записи), объединенных идеей «Прощальной повести» (с. 67, 69). Такое разнообразие толкований, разумеется, вполне закономерно, хотя, признаюсь, автор книги «Ключ» к Гоголю» в данном случае меня не убедил.

[1] Отчет Императорской публичной библиотеки за 1893 год, прилож., с. 51.

раздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мною никто не виноват; неблагодарен и несправедлив будет тот, кто попрекает мною кого-либо в каком бы то ни было отношении» (VIII, 222).

Писалось это в 1845 году, за полтора года до выхода «Выбранных мест...», и относилось ко всему предшествующему творчеству автора. Но и выпуская в свет книгу писем, он был настроен на самое что ни на есть конструктивное восприятие любых нелицеприятных отзывов и критических замечаний, более того — настойчиво просит о них своих корреспондентов. Не случайно Самарин, комментируя в упоминавшемся письме к Смирновой статьи Павлова, тут же отмечает: «Впрочем, на Гоголя все толки производят хорошее впечатление»[1]. В самом деле, во многих письмах писатель, что называется, напрашивается на критику, живо интересуется как оценками своих адресатов, так и максимально широким спектром высказываемых в обществе мнений. «...Для меня слишком важны все мненья, ею (книгой.— *Ю. Б.*) возбужденные в публике,— объясняет Гоголь этот свой интерес Вяземскому.— Мне нужны все эти нападенья, которых так боится человек, потому что, опровергая меня, всяк мне что-нибудь да выскажет, чего бы никак не высказал (иные даже и не заговорят по тех пор, покуда не рассердятся)» (XIII, 228). Поэтому он просит друзей не скрывать от него даже самых недоброжелательных отзывов. «Жду с нетерпеньем твоих замечаний и толков о моей книге,— пишет Гоголь в декабре 1846 года Языкову,—и еще раз прибавляю: пожалуйста, без церемоний! Ты — человек несколько деликатный и все как-то боишься говорить правду, как есть; ты всегда стараешься ее немножко присахарить. В глазах моих такое дело есть почти то же, что замашка скверных докторов, которые, желая больному доставить удовольствие своею микстурою, подбавят к ней или лакреции, или сладкого корня и тем сделают ее в несколько раз противней. Всё пиши...» (XIII, 163). Чуть раньше с такой же просьбой он обращается к А. Виельгорской: «Жду с нетерпением от вас ваших писем и ваших откровенных мнений и мыслей о моей книге «Выбранные места», которая, вероятно, уже вышла. Присовокупите к вашим собственным сужденьям отзывы всех, кого ни услышите, хорошие и дурные, не скрывая ничего, ни даже имен тех, которые их произнесут. Все это мне нужно, всё меня учит и вразумляет» (XIII, 152).

Эти просьбы ставили друзей Гоголя в щекотливое положение: «микстура» часто была слишком уж горькой, и им не хо-

---

[1] Самарин Ю. Ф. Соч., т. 12, с. 372.

телось огорчать писателя, ранить его авторское самолюбие. Вот что пишет ему С. Соллогуб (Вьельгорская) из Петербурга в феврале 1847 года: «Я бы охотно прислала вам выписки из многочисленных критик, которые появились в разных наших журналах, но не смею решиться на такое дело. Критики столь язвительны, разбор ваших писем так немилосердно строг и насмешлив и выведенные заключения из собственных ваших слов и суждений так странны и преувеличенны, что я считаю лишним упоминать о них здесь...» [1]

Такую же неловкость испытал и С. Аксаков, когда Свербеев прислал ему упоминавшееся письмо, рассчитанное на передачу Гоголю. «Свербеев, — делится Сергей Тимофеевич своими сомнениями с сыном Иваном, — написал письмо ко мне, в котором очень умно и зло разбирает книгу Гоголя; уже четыре дня я держу его в своих руках и не имею духу послать: боюсь, не оскорбится ли он?» [2] После колебаний письмо все же было переправлено Гоголю, однако последний отреагировал на него с подчеркнутым смирением. «Поблагодарите... доброго Дмитрия Николаевича Свербеева, — просит он Аксакова, ознакомившись с письмом, в котором «есть, точно, некоторая жестокость, — и скажите ему, что я всегда дорожу замечаниями умного человека, высказанными откровенно». Поблагодарив «также и милую супругу его за ее письмецо» (напомню: письмо Свербеевой, выдержанное в несравненно более деликатном тоне, нежели сердитое послание мужа, было все же недвусмысленно критичным), Гоголь продолжает: «Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило меня лишний раз построже взглянуть на самого себя» (XIII, 240—241).

И Аксакова он здесь же благодарит за упреки: «от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие» (XIII, 240); правда, чуть ниже и сам не удерживается: «Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и непогрешительность его выводов?» (XIII, 241). Напряжение во взаимоотношениях с аксаковским семейством (исключая Ивана Сергеевича), и не только с ним, нарастало... Гоголь еще не усомнился в себе и в своей книге, еще верит, что окончательный приговор не вынесен — «дело, покуда, еще темно», у него хватает душевных сил выслушивать с благодарностью каждого, кто «снабжает меня всеми замечаниями, все доводит до ушей моих, упрекает и склоняет других упрекать», но уже проскальзывают едва уловимые нотки затаенной тревоги и неуверенности: пусть упрекающий, просит он, «не смущается обо мне, а, вместо того, тихо молится в душе своей, да спасет меня Бог от всех обольщений и самоослепле-

---

[1] Вестник Европы, 1889, № 11, с. 117.

[2] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, ч. 1, т. 1, с. 409.

ний, погубляющих душу человека» (XIII, 242). Пройдет совсем мало времени, и то бодрое, спокойное расположение духа, которому так порадовался Шевырев, сменится похожими на отчаяние «изнеможением и некоторой скорбью» (XIII, 377), Гоголь с трепетом, «почти со страхом» (XIII, 271) будет распечатывать приходящие письма[1] и сам станет опасаться «выражать мысли свои на бумаге» (XIII, 267)... Но и тогда, подавленный тяжестью жесточайших нападок, потрясенный обвинениями во лжи, гордыне, ханжестве, искательстве перед сильными мира сего, ославленный на всю Россию как Тартюф, отступник, умалишенный и еще Бог весть кто, — и тогда он не отступится от того, о чем писал в «Завещании». «...Я вам скажу еще раз: не имейте ничего противу тех, которые против нее» (книги.—*Ю. Б.*) (XIII, 396), — это из ноябрьского письма 1847 года к Смирновой.

Так думал он и прежде, до всех встрясок с «Перепиской», до «Завещания». Еще в 1843 году в одном из писем, которое вошло позднее в состав книги, Гоголь урезонивает кого-то из друзей, негодующих «на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души», советует видеть в такого рода нападениях «хорошую сторону», считает полезным «иметь противу себя озлобленных». «Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякой оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась». Он даже готов признать, что «много справедливого» есть в ругательных статьях Булгарина, Сенковского и Полевого. Последнее, как известно, вызвало негодование Белинского, который увидел в этой уступке отход от программы «натуральной школы»; в своей рецензии на «Выбранные места...» критик защищает Гоголя как от «врагов таланта Гоголя»[2], так и от... самого Гоголя. Иначе, чисто «по-толстовски», воспринял гоголевские суждения Толстой: весь первый абзац письма отчеркнут его рукой, а в двух местах на полях проставлен знак «нотабене»—

[1] А среди них встречались ведь и такие, по сравнению с которыми отзыв Свербеева мог показаться образцом толерантности. Вот что писала, например, некая М. Извединова, корреспондентка А. Ишимовой, называющая себя «старушкой неученой из-под Донского монастыря» (ее письмо было переслано Ишимовой Гоголю): «Теперь поговорим о Гоголе. Я читала последнее его маранье (имеется в виду «Переписка».—*Ю. Б.*) и нахожу, что он большой руки дурак... все его прежние сочинения были грязны, сальны и наполнены ругательствами... они годны для лакейской, да и то не позволят в благочестивом доме, а последнее его маранье такая путаница, так глупо, что я бросила его как не годное ни к чему. Прочтите в «Московских Ведомостях» две статьи г-на Павлова, он прекрасно отделал его, и если бы я обладала даром письма, то поблагодарила бы Павлова, что так уничтожил дурака Гоголя» (Русская старина, 1893, VI, с. 562).

[2] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 234.

там, в частности, где Гоголь говорит, сколько «всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия» таится «на дне души нашей» (VIII, 286).

Впрочем, сейчас речь не об этих расхождениях в оценках двумя великими читателями одного и того же текста Гоголя, смысл и причины как «хвалы», так и «осужденья» понятны. Для меня важен сам факт «переклички» между разными разделами книги, он заставляет задуматься вот над каким вопросом: не поторопился ли я в предыдущей главе, охарактеризовав гоголевское «Завещание» как «выпадающее» из системы (хорошо еще, что сообразил оговориться: «на первый взгляд»)? Конечно, «Завещание» действительно стоит в книге несколько особняком, однако не потому ли, что его связи с остальными частями книги не всегда лежат на поверхности, чаще носят глубинный, скрытый характер? В приведенном выше примере, касающемся критики, такая связь выявлена текстуально и потому очевидна, заметна, так сказать, невооруженным глазом. Но разве более пристальный, более вдумчивый взгляд не обнаружит здесь зародыши многих идей и мотивов, получивших затем развитие в других главах? Пронизывающие «Завещание» нравственный максимализм, до болезненности острое ощущение собственного несовершенства и необходимости духовного самоочищения; пафос христианского смирения и любви к ближнему; чувство родственного единения с соотечественниками, с «русской природой»; мучительный страх перед неведомым, тревога за то, какие «возрастанья и плоды» дадут посеянные каждым из нас в жизни семена; наконец, неутолимая жажда служения своими сочинениями общественной пользе... Разве это, по системной терминологии, не первые наметки инвариантов складывающейся системы?

Я полагаю, есть основания утвердительно ответить на этот вопрос. Причем, имея в виду не только «Завещание», но в известной мере и «Предисловие». Если они и не *включены* в систему в качестве полноценных ее компонентов, то во всяком случае и не отчуждены от нее; они, так сказать, *подключены* к ней как своего рода «сателлиты» — носители, а отчасти и генераторы идейно-творческой энергии.

* * *

P. S. Тут разговор о «Завещании» — этом странном, причудливом, в чем-то загадочном, подобно личности самого автора, литературном феномене, не имеющем, кажется, прямых аналогов, — можно было бы и закончить. Однако я спохватился: ведь мы не дочитали его до конца. Остался пункт VII —

наиболее, пожалуй, уязвимый, наиболее невыигрышный для Гоголя: признаюсь, я бы не прочь обойти его молчанием, да понимаю, что поддаваться искушению никак нельзя.

Пункт этот — едва ли не самый пространный из всех, к тому же последний по счету, завершающий, и написан в тоне столь же высоком, как и важнейшие, «ударные» места «Завещания». А посвящается он ...чему же? Вопросу о портрете автора, портрете, по которому соотечественники могли бы «знать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью» (VIII, 223).

Суть дела, коротко, в следующем. М. Погодин, издатель «Москвитянина», движимый рекламными соображениями, опубликовал в качестве приложения к № 11 журнала за 1843 год портрет Гоголя работы А. Иванова, литографированный П. Зенковым. Сделал он это, не спросив согласия Гоголя, что само по себе обидело и возмутило последнего. Кроме того, Гоголь считал, что портрет «сделан дурно и без сходства» и отдавал решительное предпочтение работе другого своего знакомца по Риму, Ф. Иордана, тем более что, по его расчетам, «портрет... в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров» и тем принести «значительный доход» (VIII, 223) художнику, весьма и весьма нуждающемуся в материальной поддержке.

Свой гнев на Погодина, свое раздражение Гоголь излил в статье «О том, что такое слово» (о ней мы поговорим отдельно), но этого ему показалось мало, и он через год возвращается к той же теме, и где — в «Завещании»! Трудно вообразить, но это так: в момент крайнего обострения болезни, чувствуя, по его признанию, что «смерть уже... близко», собрав «остаток сил своих», человек обращается с последним, быть может, словом к друзьям, к соотечественникам, — и вот оказывается, что наряду с коренными вопросами жизни, смерти и бессмертия он озабочен еще и тем, какой именно его портрет «заведут» у себя благосклонные читатели. И как озабочен — горячится, нервничает, хлопочет, чтобы все, кто уже приобрел портрет, обязательно уничтожили его «тут же», а покупали только другой, работы Иордана... Истины ради отметим, что Гоголь считает еще более справедливым, если читатели купят не его портрет, а главную работу художника, эстамп «Преображенье Господне»—«венец гравировального дела» (XIII, 223), но это же не меняет общего грустного впечатления.

Белинский считал, что в качестве эпиграфов к гоголевской «Переписке» могли бы подойти известные афоризмы: «Суета

сует и всяческая суета!» и «От великого до смешного — один шаг»[1]. Не думаю, что великий критик был бы прав, если бы речь шла даже об одном только «Завещании», но что касается злосчастного пункта, посвященного портрету, — тут, увы, возразить нечего...

---

[1] См.: Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 222.



ТРИ ПИСЬМА К ЖЕНЩИНАМ

I

Прочитав изданные посмертно письма Гоголя, Тургенев счел возможным пренебречь добрым старым правилом в отношении мертвых — aut bene, aut nihil и высказался с едва ли не беспрецедентной для подцензурной печати (известное письмо Белинского, также, мягко говоря, не весьма дипломатичное, все же не предназначалось для публикации), повторяю, с беспрецедентной резкостью, да что там — грубостью: «...О, какую услугу оказал бы ему издатель, если б выкинул из них целые две трети или, по крайней мере, все те, котóрые писаны к светским дамам... более противной смеси гордости и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона — в литературе не существует...»[1] Сказано о гоголевском эпистолярном наследии в целом, но без малейшей натяжки эта оценка может быть отнесена к «Выбранным местам...», которые столь претили Тургеневу, по его выражению, «затхлым и пресным духом», во всяком случае, к письмам, адресованным «особам высшего полета»[2], а среди них ведь есть и «светские дамы» — хотя бы графиня Л. Вьельгорская, урожденная принцесса Бирон, или супруга калужского губернатора А. Смирнова.

Гоголю об этом отзыве собрата по перу, естественно, не было известно, однако когда читаешь «Выбранные места...», трудно отделаться от впечатления, будто автор нарочно поддразнивает Тургенева, вызывает его на колкости о светских дамах: ведь именно «Женщина в свете» — таково название первой главы; *фактически* первой, ибо ей предшествуют лишь «Предисловие» и «Завещание».

Прежде чем начать разговор об этой главе, спросим себя: а почему, собственно, с этой? По той простой причине, что она

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах, т. 11, с. 59—60.

[2] Там же, с. 59.

оказалась в самом начале и по сути открывает книгу, во всяком случае, ее, так сказать, основной корпус, — и только? Но ведь мы договорились не придерживаться слепо последовательного порядка при прочтении «Переписки», учитывать не столько нумерацию, сколько, и более всего, смысловые доминанты текста. Есть ли основания считать тему «женщины в свете» такой доминантой? Разве с точки зрения тематической иерархии не резоннее было бы признать значительно более существенным и приоритетным тот текстовой уровень, который связан, к примеру, с размышлениями Гоголя о русском обществе, о судьбах России, или о «существе и особенностях» отечественной поэзии, или о русской Церкви?

Попробуем задаться встречным вопросом: что мог думать сам писатель об этой иерархии приоритетов? И думал ли он о ней вообще? Да, думал, причем отнюдь не безразлично относился к ней. Более того, придавал, мы это знаем, принципиальное значение порядку размещения глав, настаивал на его смыслообразующем характере. «В статьях и в размещении их была некоторая связь, а в связи все-таки некоторое объяснение дела», — писал он В. Львову, сетуя на то, что книга выпущена цензурой «в обезображенном виде» (XIII, 264).

Тут позволю себе попросить читателя мысленно вернуться к тому, что выше говорилось о «бисистемной» природе «Выбранных мест...», о «сиамских близнецах» и об «игре в классики». Считая возможным, когда это диктуется закономерностями «объективной» системы, прибегать к «зигзагообразному» чтению, мы не вправе вовсе игнорировать и систему «гоголевскую», если хотим приблизиться к постижению диалектического равновесия между авторской логикой и объективным смыслом книги. Случай с главой «Женщины в свете» как раз такого рода. Писатель счел нужным акцентировать внимание читателя на этой главе, поставив ее в самое начало книги, такова его воля; с ней, конечно, можно было бы не посчитаться, но лучше постараться ее понять.

Из чего, в самом деле, мог исходить Гоголь? Полагаю, есть несколько ответов.

Одна сторона дела — психологическая. Гоголя, как известно, не назовешь женолюбом, тем более донжуаном, но факт остается фактом; женское окружение, общение с женщинами, особенно в поздний период, в 40-е годы, были необычайно важным фактором его духовного развития и душевной жизни. Значительную часть гоголевской «почтовой прозы» той поры составляет, помимо писем к матери и сестрам, переписка со Смирновой, с матерью и дочерьми Виельгорскими, Н. Шереметевой, М. Балабиной. Это обстоятельство, не раз служившее

поводом для насмешек, то добродушных, то вовсе не безобидных, однозначно вряд ли может быть истолковано.

На мой взгляд, тут перед нами «человеческое, слишком человеческое». Иначе говоря, проявляется стремление Гоголя — какое бы слово подобрать — к комфорту, что ли, к комфорту душевному и даже просто бытовому; нет, пожалуй, лучше сказать — к уюту, или эмоциональной разрядке, или семейному теплу... Читатель волен сам выбрать наиболее подходящее, с его точки зрения, определение. Главное не в нем, не в слове, а в сути. Суть же, как я понимаю, сводилась к тому, что уставший от одиночества, бездомности, житейской неустроенности, от постоянных материальных невзгод Гоголь не мог не искать и искал, к кому бы «прислониться», не мог не тянуться к домашнему кругу, под гостеприимный кров, не ценить сердечность, чуткость, участие, искреннее внимание и понимание, не мог не радоваться возможности самому излить душу и выслушать излияния другого человека, доверительно поразмышлять вместе с ним на темы, близкие ему, — о Боге и вере, добре и зле, о Церкви и любви к ближнему: а кроме того, чего греха таить, так хотелось, так важно было почувствовать себя нужным и желанным советчиком, «сердцеведцем», способным утешить, ободрить, наставить смятенную душу (вспомним: «Уча других, также учишься»). В этом отношении дружба с деловыми Плетневым и Шевыревым, с «растрепанным душой» Погодиным, с милейшим, но по-своему деспотичным Аксаковым-старшим не давала Гоголю столь ему необходимого. Показательны, кстати, признания С. Аксакова в его письме к сыновьям, написанном сразу же после кончины писателя. Сергей Тимофеевич говорит, что он «совершенно подавлен», однако, надо заметить, размышляет вполне спокойно, как-то даже чересчур рассудительно. «Я не знаю,— пишет он,— любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, нет; да это и невозможно. У Гоголя было два состояния: творчество и отдохновение. Первое давно уже, вероятно вскоре после выхода «Мертвых душ», перешло в мученичество, может быть, сначала благотворное, но потом перешедшее в бесполезную пытку. Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки?.. Я думаю, женщины любили его больше и особенно те, в которых наименее было художественного чувства, как, например, Смирнова»[1]. Если не вдаваться в спор по поводу якобы бесполезности творческих мук позднего Гоголя, а также художественного чувства Смирновой, если слово «любили» заменить словом «жалели» в его традиционном русском смысле, то надо признать, что Аксаков судит в общем здраво, хотя

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 387.

и со своей колокольни. Именно отдохновения от «мученичества» и «пыток» творчества искал Гоголь в общении с теми, кого Тургенев язвительно именует «светскими дамами»; кстати, старушка-то Шереметева, теща декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина, даром что принадлежала к старинным фамилиям (по рождению она была из Тютчевых), уж менее всего походила на великосветскую даму...

Не забудем и о той немаловажной роли, которую играли «дамы» в решении трудных финансовых проблем писателя. Прежде всего это относится к Смирновой, нередко дававшей Гоголю взаймы и к тому же неустанно хлопотавшей о вспомоществовании ему со стороны царского двора. «Знайте вы, — пишет она ему в ноябре 1844 года из Петербурга, — что вам вперед не должно ни у кого занимать, как только у меня. У меня есть оттуда деньги, перед кем вся Россия в долгу. Меня там знают и не отказывают»[1]. Близка к этому письму как хронологически, так и по смыслу дневниковая запись Смирновой, сделанная в марте 1845 года: «Мое дело просить, и не стыдно просить для других; для себя, слава Богу, ничего не прошу». И далее: «Мое дело пошло в лад. Государь приказал Уварову узнать, что нужно Гоголю. Уваров тут поступил благородно; сказал, что Гоголь заслуживает всякую помощь»[2]. Писателю был назначен пенсион на три года по тысяче рублей серебром в год. Конечно, Гоголю помогали, и ощутимо помогали, и другие — Аксаков, Шевырев, Погодин, Баратынский, даже Павлов; конечно, ходатайствовал за писателя перед Николаем и Жуковский, но характерно, что нередко и он перепоручал это деликатное, далеко не всегда выигрышное дело именно Смирновой, ибо знал — ей «там» и впрямь, как правило, «не отказывают».

До сих пор я говорил о психологических и, если можно так сказать, житейских мотивах, повлиявших на определение Гоголем места в его книге главы «Женщина в свете». Не упустим, однако, из виду еще один момент. Дело в том, что глава эта

---

[1] Русская старина, 1888, № 10, с. 135.

[2] Русский архив, 1882, № 1—2, с. 215, 218—219. Подтекст замечания о «благородстве» Уварова становится понятнее в свете предыдущей записи. Выясняется, что поручение Николая графу А. Орлову «заняться... Гоголем» было встречено репликой шефа жандармов: «Ведь он еще молод и ничего такого не сделал». Смирнова не удерживается от иронического комментария: «Прошу покорно господ министров сказать, что́ такое надобно сделать в литературе, чтобы получить патент на достоинство литератора в их смысле. Им сядь и выведи *Ода*, потом в один присест такого дня и *года*. Право, они смешны. Еще если бы читали по-русски!» (с. 215—216). А чуть выше мы узнаем, что и сам император приписал авторство «Мертвых душ» В. Соллогубу... На этом фоне министр просвещения Уваров действительно выглядит неплохо.

самым непосредственным образом связана с рядом других глав, в первую очередь с такими, как «Что такое губернаторша» и «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России». Взятые вместе, они составляют единый тематический узел, некую целостность, подсистему, что дает основания выделить в «Переписке» — пусть с известной долей условности — так называемую женскую тему, или женский вопрос, будораживший в тогдашней России, не без влияния идей Жорж Санд, многие умы, причем в обеих половинах человечества.

Гоголь в этом отношении не составлял исключения. Но есть в его взгляде на предмет особенность, заставившая меня только что сделать оговорку об условности выделения в книге «женских» глав. Особенность заключается в том, что женский вопрос существует для Гоголя не изолированно, он не замкнут, не самодовлеющ, не сводится к модным разговорам об эмансипации. Нет, «подсистема» органически включена в «систему»; в представлении автора «Выбранных мест...» женский вопрос связан с глубинными общественными процессами, с самыми коренными и злободневными проблемами русской жизни — какими они ему виделись, разумеется, и как он их понимал. «...Все чего-то теперь ждет от женщины», — говорит писатель в начале своего письма, и сам он, несомненно, также ждет, с огромной надежой, с упованием. «Что-то» — это великая, необходимая, едва ли не решающая, по его мнению, роль женщины в «оживотворении» общества, в освобождении его от «беспорядка», от «утомленной образованности», «нравственной усталости», «охлаждения душевного» (VIII, 224).

Таков контекст рассматриваемой Гоголем проблемы, таков ее масштаб — масштаб всеобщий, всемирный, как сказали бы мы сегодня — глобальный, ибо эта «истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира» (VIII, 224).

Далее происходит на первый взгляд нечто не вполне понятное, точнее же, не по́нятое критиками: удар, похоже, не соответствует замаху, «великая» проблема дробится, распадается на частности, не лишенные своего значения, однако вроде бы отнюдь не общечеловеческого, а скорее важного для узкого круга, если вообще не для одной только корреспондентки — женщины сугубо светской.

Как явствует из письма, корреспондентка писателя очень грустит и томится, не находя себе «поприща», ее душевные потребности не удовлетворяют «одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество», которое представляется ей «безлюднее самого безлюдного».

Последнее Гоголь считает глубоким заблуждением. «...Свет, — напоминает он женщине, имея в виду Свет, великосветское общество, — все же населен; в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи...» Почему «без слов»? А потому, что эти люди чаще всего даже и не догадываются о своей болезни и нищете, ибо это болезнь скрытая, прячущаяся под маской здоровья и утонченности, ибо это нищета, не видимая окружающими, нищета бесплотная, духовная, нищета чувств и ума. «Какому же нищему, — заостряет до парадокса свою мысль Гоголь, — следует прежде помогать: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже руки протянуть?» (VIII, 225). Да попросту и не знает, можно было бы добавить, что он — нищий...

В свое время сентименталисты открыли нам глаза на то, что «и крестьянки любить умеют»; их поняли не все и не сразу. Не понят был и Гоголь, когда попытался объяснить, что и сильный мира сего, и светский человек «средь шумного бала», в вихре развлечений может быть несчастлив, а богач — нищ[1]. Многие современники, в том числе и более чем неглупые, не разглядели в гоголевских суждениях метафорического смысла; с точки зрения узкосоциологической суждения эти выглядели совершеннейшим нонсенсом. Выступая от имени «практических людей», которые «черпают свои мысли в разуме, рассудке, опыте и знаниях», Белинский опровергал автора письма «Женщина в свете», объясняя как дважды два, что «если равенство в средствах есть неосуществимая мечта, то никакие переписки в мире не убедят никакого Ира (вероятно, имеется в виду библейский персонаж, который «был неугоден пред очами Господа»; Бытие, 38,7.— *Ю. Б.*) не желать быть Крезом или не завидовать ему, ибо это вне природы человеческой, а немногие и редкие исключения тут ровно ничего не значат»[2]. Все верно, как оспорить эту логику знатоков «природы человеческой»? Как не согласиться с саркастическим замечанием Н. Павлова из его третьего письма к Гоголю, что ни один великосветский нищий не променяет, пожалуй, «свое болезненное состояние... на мужицкое здоровье голодного»?[3]

---

[1] Ср. у Г. Сковороды:

Возлети на небеса, хоть в версальские леса,
Вздень одежду золотую,
Вздень и шапку хоть царскую;
Когда ты невесел, то все ты нищ и гол...
(Сад божественных песен. Песнь 28-я)

[2] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 225.

[3] Русский архив, 1890, № 2, с. 308.

Да, все так, только разговор идет о разных вещах и в разных плоскостях, это — диалог глухих, это драма непонимания или же просто нежелание понять. Критикам хотелось бы, чтобы писатель исследовал проблему социального неравенства, и они негодуют, почему он этого не делает; Гоголь же хочет внушить своему адресату и читателям мысль о равенстве всех и каждого перед лицом неизбежного в жизни страдания и смерти, перед конечной тайной бытия, перед Богом. Оппоненты Гоголя, если и признают гуманизм и нравственность, то лишь при условии жесткого их подчинения сословным, классовым интересам; он же исповедует и проповедует тот гуманизм и ту нравственность, те общечеловеческие ценности, которые у нас долгое время третировались как «абстрактные». Они рвутся в бой, жаждут борьбы, ниспровержения всего и вся; он взыскует прежде всего сострадания, жалости, милосердия...

Примерно такую же реакцию вызвало то место из письма «Женщина в свете», где речь идет о взятках. Гоголь считает, что «бóльшая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов», происходит, в частности, «от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей...» (VIII, 224). На писателя обрушился град насмешек, упреков в наивности, путанице, подмене понятий. Напоминали, что взяточничество существовало еще в допетровские времена, когда жены не модничали, а сидели взаперти в своих теремах. Ёрничали: не заставить ли женщин вообще забыть о нарядах, а прикрывать наготу свою рогожей или самой дешевой парусиной, и не отказаться ли им от дурной привычки обедать, пить чай и кофе?..

Между тем автор «Переписки» не так уж наивен, ему, право же, ведомо кое-что о «страхах и ужасах России», о разгуле злоупотреблений и эпидемии взяточничества. Просто он берет совсем другой аспект проблемы — нравственный долг женщины, ее влияние — хорошее ли, дурное ли — на мужа. «Душа женщины — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки» (VIII, 224). Положа руку на сердце, читатель: разве мы с вами не знаем, не видели множество горьких тому примеров уже в наше время?

Между прочим, к этой теме Гоголь обращается не впервые. Еще в первом томе «Мертвых душ» Чичиков рассуждал так: «Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? Чтобы не ска-

зала какая-нибудь подстёга Сидоровна, что на почтмейстерше лучше было платье, да из-за нее бух тысячу рублей». Любопытно бы знать, почему в свое время критики пропустили мимо ушей этот монолог? Почему не подняли Чичикова, как позднее Гоголя, на смех, не уличили в полнейшем незнании жизни, в идеальничаньи, в чистейшем прожектерстве по части «всесовершенного» исправления нравов? Да просто потому, думается мне, что не им, не этим так называемым практическим людям, тягаться с Павлом Ивановичем в понимании того, что есть взятка, откуда и как она возникает, каковы тайные пружины этого хитрого и вместе с тем до смешного примитивного механизма, сила которого — в его безотказности, в совершенной отлаженности...

Можно ли противостоять этой силе? Тем более, что может противопоставить ей молодая светская женщина, которая не приобрела «ни познанья людей, ни познанья жизни, словом — ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим» (VIII, 225)?

Гоголь ставит перед собой задачу убедить «женщину в свете», что ей даны орудия, и орудия сильные. Прежде всего (у Гоголя, правда, «в прибавленье ко всему», но я беру на себя смелость изменить порядок, ибо убежден, что писатель перечисляет «орудия» не по степени их важности, а если бы и так, то по восходящей, но никак не наоборот),— прежде всего природное, «уже самим Богом водворенное вам в душу» стремление к добру, «жажда добра», которая не дает покоя «ни на минуту». Это великий дар. «Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о людях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных увеселений, тот много, много может для них сделать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди» (VIII, 226—227). И в «свете» со всеми его соблазнами — тоже люди; в конце концов, это «больница, наполненная страждущими», которым нужны не столько врач и горькие лекарства, сколько «простое слово вашей речи», улыбка «да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес сестра его, и ничего больше» (VIII, 227—228).

Что там говорить, мы, сегодняшние читатели гоголевской «Переписки», не привыкли к такому тону, к таким словам. Уж если иным современникам писателя чудилось в них ханжество и слащавость, то чего требовать от наших давно зачерствевших, задубевших душ, чего ждать от нас, с удивлением открывающих для себя, что, оказывается, не окончательно умерло милосердие, что есть еще на земле мать Тереза и тысячи тысяч ее сестер и братьев, делами утоляющих свою «жажду добра»...

И еще «орудие», еще «власть», о которой говорит Гоголь,— красота женщины. Красота как неразрывное гармоничное единство внешнего совершенства и чистоты душевной. «Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота,—даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами!» (VIII, 226).

Это место в гоголевском письме привело С. Аксакова в ужас и негодование, ему померещилось «чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной»;[1] по всей вероятности, он имел в виду характерный для католиков культ Мадонны. Отголосок этого мнения звучит в письме Веры Сергеевны Аксаковой, написанном примерно тогда же и тому же адресату, брату Ивану: «...Неужели не оскорбляет тебя, что слабости человеческие делаются орудием в святом деле, это просто святотатство и совершенно католический взгляд на вещи.. »[2] Даже сдержанный Шевырев упрекнул Гоголя в том, что он действует «скорее как римский католик, а не как православный»[3]. Если бы в преклонении Гоголя перед женской красотой и чувствовалось влияние культа Мадонны, тут нет еще повода для испуга, вдвойне странного потому, что ни семейство Аксаковых, ни Шевырев не слыли педантами, тем более фанатиками в конфессиональных вопросах. Но дело в том, что и повода-то для испуга в данном случае нет ни малейшего. Воззрения Гоголя вернее было бы назвать не католическими, а — коль уж мы пользуемся такого рода терминологией — *кафолическими,* то есть имеющими вселенский, всеобщий, общечеловеческий смысл.

И Аксаков, и Шевырев, по крайней мере, высказываются не публично, делятся своими мыслями в частных письмах, хотя что касается Сергея Тимофеевича, то, как у нас уже был случай заметить, вряд ли он скрывал тщательно эти мысли от окружающих. Не так поступает Н. Павлов: свои обвинения, адресованные Гоголю, он обнародует в «Московских ведомостях», в третьем (по нумерации — четвертом) письме. Слово «обвинение» не случайно сорвалось у меня с языка. Павлов не упрекает, не подозревает Гоголя в уступке католицизму — он писателя имен-

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 341.

[2] Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. I. М.— Л., 1936, с. 177.

[3] Письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю.— Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1893 год. СПб., 1896, прилож., с. 43.

но обвиняет, причем обвиняет в приверженности не просто католическим, а *иезуитским* взглядам и морали. Разразившись по адресу Гоголя менторскими поучениями насчет влияния капризов красавиц на исторические события (словно бы и не было на свете ни Эсфири и Юдифи, ни Елены Прекрасной и Клеопатры) и разъяснив ему, что каприз есть зло, «а из зла извлекать добро люди не умеют», Павлов пишет далее: «Правда, существует историческое учение, которое берется за это дело: признавая все средства позволенными для достижения благой цели, оно учит направлять зло к добру. Но ведь этим занимаются последователи Игнатия Лойолы» [1].

Интересно, между прочим, как отреагировал на это глубокомысленное замечание человек, знавший проблему лучше многих и многих, — Чаадаев. В письме к Вяземскому, откликаясь на выход в свет «Выбранных мест...», Чаадаев замечает, что «в Москве» вообразили, будто Гоголь «новым своим направлением обязан... так называемому Западу, стране, где он теперь пребывает, иезуитам», и в этой связи ссылается на письма Павлова. «Но иезуитство, как его разумеют эти господа, — продолжает Чаадаев, — существует в сердце человеческом с тех пор, как существует род человеческий; за ним нечего ходить в чужбину; его найдём и около себя, и даже в тех самых людях, которые в нем укоряют бедного Гоголя. ...Для этого не только не нужно быть иезуитом, но и не надо верить в Бога...» [2]

Никакого уклона в католичество не обнаруживает в суждениях Гоголя и другой автор, православный священнослужитель, архимандрит Феодор. Вполне сочувственно излагая мысли писателя о благотворном влиянии женщины на общество, он не считает предосудительным подчеркнуть от себя, что это должна быть женщина, обладающая многими нравственными достоинствами, «но только не обделенная красотою» [3].

В самом деле, что имеет в виду Гоголь, когда говорит: «Красота женщины еще тайна» (VIII, 226)? Очевидно, что речь идет не о бездушной привлекательности, а о таящейся в красоте великой умиротворяющей силе, преобразующей человека, несущей ему добро и очищение, силе «выпрямляющей», как позднее скажет о ней Г. Успенский. Не предвестие ли это мысли Достоевского о том, что красоте суждено спасти мир, — одно из знаменательнейших провидений русской литературы? И не здесь ли, в частности, объяснение того факта, что придирчивый Л. Толстой, читая «Выбранные места...», оценил письмо «Женщина в свете» не часто встречающейся в его пометках «пятеркой»?

---

[1] Русский архив, 1890, № 2, с. 309.

[2] Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. 1, с. 282.

[3] Архимандрит Феодор (А. Бухарев). Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году, с. 42.

Нам остается подумать о том, кто мог быть адресатом письма «Женщина в свете». Чье имя кроется за посвящением— криптонимом «...ой»?

Имя Александры Осиповны Смирновой? Кроме совпадения окончаний, есть еще по крайней мере два момента, наталкивающих на такое предположение, — красота и светскость.

О «самовластной красоте» юной фрейлины («придворных витязей гроза») писал Пушкин, хотя и признавался, что «черкесским глазам» Смирновой предпочитает «глаза Олениной моей»; «южные очи северной девы» воспевал Вяземский, он же называл ее «ласточкой», Хомяков — «девой-розой», Жуковский — «прелестью», «дьяволенком», «всегдашней принцессой» своего сердца. Правда, десятилетие спустя Лермонтов уже говорит главным образом об ее уме — настораживающий сигнал для красавицы; а к 1846 году, которым датирована «Женщина в свете», Смирновой было 37, по тогдашним понятиям, возраст весьма почтенный...

Но тургеневский титул «светской дамы» оставался за нею неизменно. В ее переписке с Гоголем тема «света» встречается часто, и в самых разных аспектах. То это не лишенные кокетства признания: «Теперь только я поняла, до какой степени я светская женщина и как меня избаловала моя придворная жизнь...» То сетования на увлечения — «не чем дурным, но пустотою», на «странный» город Петербург, способный «наводить глупое уныние на душу», на «принуждение улыбаться в свете», которое «так тягостно, что это похоже на гримасу, и даже чувствуется боль в щеках от этого...» То раскаяние, резиньяция: «...Так угождала мамоне, что вечером, лежа в постели, мне стало очень гадко...», то вдруг рефлексии придворной дамы: «Двор все еще в Гатчине. Всех туда зовут, а меня нет»[1]. В свою очередь, Гоголь в письмах к Смирновой порою высказывает мысли, едва ли не текстуально перекликающиеся с тем, о чем говорится в главе «Женщина в свете». Таково, например, письмо от 28 июля 1845 года с характеристикой «дамских обществ» как источника «взимания взяток и всяких несправедливостей для их мужей» (XII, 510). Впрочем, подобные параллели найдем и в главе «Что такое губернаторша» (VIII, 310), но о ней — ниже.

И все-таки придется, видимо, признать, что письмо «Женщина в свете» адресовано не Смирновой. Так считает Н. Тихонравов, чьи убедительные, как мне кажется, аргументы я хотел бы рассмотреть чуть позднее, когда речь пойдет специально о калужской губернаторше; прошу у читателей разрешения на это.

---

[1] Русская старина, 1890, № 6, с. 645; 1888, № 7, с. 57; 1890, № 6, с. 603; № 7, с. 60.

Быть может, адресат письма следует искать среди женской части семейства Вьельгорских? И для такой версии есть основания.

С Вьельгорскими, вернее, с графом Михаилом Юрьевичем и его старшим сыном Иосифом Михайловичем Гоголь, вероятно, познакомился еще в начале тридцатых годов на литературных собраниях у Жуковского, а со всем семейством сблизился после того, как в апреле—мае 1839 года самоотверженно ухаживал на римской вилле З. Волконской за смертельно больным чахоткой молодым графом (этому драматическому эпизоду посвящен автобиографический набросок «Ночь на вилле»), до последней минуты не отходил от постели умирающего, затем поехал в Марсель, где в течение нескольких недель пытался утешить мать покойного, Луизу Карловну. С тех пор установились у него короткие отношения с Вьельгорскими.

Кто же из графинь мог быть героиней письма «Женщина в свете»?

Ясно, что не старшая; это была женщина холодная, по крайней мере внешне, и недоступная, если не высокомерная. Луиза Карловна ценила и привечала Гоголя, испытывала к нему теплое чувство благодарности, считая, что он «очень много способствовал к утешению ее горя» [1], но, кажется, никогда не забывала, что писатель все же не принадлежит к ее кругу; во всяком случае, невозможно представить графиню — мать в роли неизвестной корреспондентки из «Женщины в свете». Переписка между Гоголем и Луизой Карловной была совершенно иного рода, иной тональности.

Остаются три сестры Вьельгорские — Аполлинария, Софья и Анна.

С. Аксаков, говоря о главе «Женщина в свете», называет ее письмом «к Веневитинову» [2]. Несомненно, здесь ошибка — речь идет, очевидно, об Аполлинарии Михайловне Веневитиновой, жене чиновника для особых поручений министерства внутренних дел А. Веневитинова, брата поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова. Трудно сказать, на чем основано утверждение Аксакова, с которым соглашается В. Шенрок; [3] никаких свидетельств сколько-нибудь доверительных отношений Гоголя с Аполлинарией Михайловной не сохранилось. В пользу аксаковской догадки говорит разве что криптоним «...ой», но он подходит и другой сестре, Анне Михайловне.

Так, может быть, Анна Михайловна? В данном случае есть, казалось бы, о чем говорить. С Анной Михайловной (близкие

---

[1] Вестник Европы, 1889, № 10, с. 480.

[2] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 341.

[3] См.: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV, с. 260.

называли ее Нози) у Гоголя с самого начала установились дружеское взаимопонимание и симпатия, завязалась активная, порою, можно сказать, интимная переписка, причем писатель выступал в роли старшего друга и советчика, руководил духовным развитием своей подопечной, ее чтением, изучением русского языка, даже заботился об устроении ее личной жизни — одно время он загорелся было мыслью сосватать ее с В. Апраксиным, племянником графа А. Толстого, что закончилось пустыми хлопотами. Впрочем, существует мнение, что Гоголь под конец сам влюбился в А. Вьельгорскую [1] и то ли сделал, то ли собирался сделать ей предложение; это намерение также ни к чему не привело, разве что к некоторому охлаждению со стороны гордой Луизы Карловны...

Все предположения, касающиеся А. Вьельгорской, сводятся на нет, однако, двумя обстоятельствами. Первое: письмо «Женщина в свете» обращено к замужней женщине («Едва вышли вы замуж...» и т. д.; VIII, 226), между тем как Анна Михайловна вышла замуж за князя А. Шаховского уже после смерти Гоголя. Второе: тема женской красоты, важнейшая в письме, в сознании Гоголя не могла быть связана с внешним обликом Нози. «Ведь вы нехороши собой. Знаете ли вы это достоверно?» (XIV, 92) — обращается он к ней в одном из писем со свойственной ему в поздние годы некоторой бесцеремонностью в общении с близкими друзьями.

Наконец, Софья Михайловна Вьельгорская, она же графиня Соллогуб, жена известного писателя, автора «Тарантаса» и нашумевшего в свое время «Большого света». Многое в этой женщине — положение ее в большом свете, облик, нравственные качества, высоко ценимые Гоголем, не раз отмечавшим «небесность» и «ангельство» ее души (слова из лексического ряда, характерного для «Женщины в свете»), — многое в Софье Михайловне придает весомость уверенности Н. Тихонравова в том, что письмо адресовано именно ей. «Какой другой «женщине в свете» можно придать те светлые, почти идеальные черты, какими Гоголь в своих письмах имел право украсить Софью Михайловну Вьельгорскую?» [2].

Есть, правда, и тут некоторые фактические несоответствия, подмеченные В. Шенроком [3]. Прежде всего — злосчастный криптоним «...ой», не увязывающийся с фамилией Софьи Михайловны по мужу. Кроме того, корреспондентка Гоголя сетует, что она «не мать семейства, чтобы исполнять обязанности мате-

---

[1] См.: Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. М., 1988, с. 435.

[2] Тихонравов Николай. Примечания редактора и варианты.— В кн.: Сочинения Н. В. Гоголя. Изд. X, т. IV. М., 1989, с. 478.

[3] Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV, с. 593.

ри» (VIII, 225), у Софьи же Михайловны к 1846 году было двое детей, дочь и сын. Наконец, данная Гоголем характеристика мужа корреспондентки как человека не только «благородного, умного», но и «имеющего все качества, чтобы сделать счастливой жену свою» (VIII, 226), приложима к Владимиру Александровичу Соллогубу лишь отчасти. Ни в уме, ни в блестящих способностях, даже незаурядном таланте ему не откажешь, но это был до кончиков ногтей светский человек, любивший пожуировать, поволочиться и весьма мало привязанный к домашнему очагу. «...Я, каюсь, — признается он сам, — не родился домоседом и часто злоупотреблял слабостью, свойственной всем пишущим людям, шататься всюду и везде»[1]. Это было причиной многих огорчений и трений в супружеской жизни Соллогубов.

При всем том письма С. Сологуб к Гоголю[2] проникнуты теплотой и заботой по отношению к мужу, горячим участием в его литературных делах. С этим чувством соперничать может только ее любовь к детям — о них Софья Михайловна рассказывает Гоголю с материнским трепетом и безграничным упоением. Вообще в ее письмах подкупает неподдельная доброта, человечность, нравственная чистота. Но вот чего не угадываешь за ними, так это мятущейся, неудовлетворенной, ищущей души, того высокого порыва к служению обществу, который, судя по ответу Гоголя, стал импульсом к написанию корреспонденткой письма к писателю. И это несовпадение не менее, если не более, существенно, чем отдельные фактические несообразности.

Каков же вывод? Конкретного адресата письма «Женщина в свете» мы так и не знаем. Что же, продолжать поиски? Вероятно, в этом не будет вреда. Да только будет ли польза? То есть можно ли вообще надеяться найти точные данные об адресате? Рискну высказать сомнение на сей счет, и вот на чем оно основано. Героиня гоголевского письма — не определенный адресат, это обобщенный образ светской женщины, вобравший в себя черты нескольких знакомых Гоголя, быть может, в наибольшей мере — С. Соллогуб, однако не ее одной. И само письмо «Женщина в свете» не есть письмо в обыденном смысле слова, а глава из художественно-публицистической книги, литературное произведение, созданное Гоголем в эпистолярной форме. Цель автора далеко выходит за рамки ответа не ведомой нам «...ой», эта цель в том, чтобы донести до читателя книги свои мысли о важных, на его взгляд, сторонах современной ему жизни и шире — духовной жизни человека вообще. В этом для Гоголя заключается смысл его работы. Вспомним слова из «Завещания», ключевые слова: «Я писатель...»

---

[1] Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания, с. 493.
[2] См.: Вестник Европы, 1889, № 10, 11.

Несколько иначе выглядит эта проблема в случае с главой «Что такое губернаторша». Хотя бы потому иначе, что здесь нет сомнений относительно адресата — это Александра Осиповна Смирнова.

II

— ...С тех пор как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше.

И. Тургенев. Отцы и дети.

Дочь губернаторши, Ольга Николаевна Смирнова, рассказывает о полушутливой — полусерьезной пикировке между матерью и романистом. «Однако ж, Иван Сергеевич, — будто бы сказала Александра Осиповна, — все-таки вы сами вышли, по вашим же словам, из шинели Гоголя, а из-под каланчи (имеется в виду гауптвахта, на которую Тургенев был посажен за некролог о Гоголе. — *Ю. Б.*) по ходатайству губернаторши. Ваш роман chef d'oevre; ваши же друзья Герцены и компания его ругают, а Гоголь и губернаторша одобряют, т. е. Гоголь его бы одобрил, а губернаторша еще жива и вас поздравляет» [1].

Надо заметить, что к свидетельствам О. Смирновой, после того как стала очевидной сфабрикованность изданных ею «Записок» матери, литературоведы привыкли относиться с опаской. В приведенном отрывке также не все ладно: Тургеневу, например, приписано—то ли собеседницей писателя, то ли мемуаристкой — известное суждение Достоевского о гоголевской «Шинели». Сомнительно, чтобы Александра Осиповна отводила себе решающую роль в судьбе репрессированного автора некролога [2].

---

[1] Цит. по: Шенрок В. И. А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь.— Русская старина, 1888, № 4, с. 67.

[2] Существуют весьма противоречивые версии истории ареста и освобождения Тургенева. Так, князь В. Мещерский представляет этот сюжет таким образом, что центральной фигурой в нем действительно оказывается Александра Осиповна: «Пользуясь большой милостью у Николая Павловича и императрицы Александры Феодоровны, у которой была в девушках любимой фрейлиною, она выпросила у государя прощения Тургеневу...» Передаются даже «совершенно достоверные подробности» о том, как Тургенев, приехав на следующий день благодарить спасительницу, едва не столкнулся нос к носу с другим визитером — императором и вынужден был якобы воспользоваться черным ходом и «забиться» в швейцарскую. (Мещерский В. П. Мои воспоминания. Часть третья. СПб., 1912, с. 129.) Нечто совершенно противоположное находим в воспоминаниях К. Леонтьева. По его словам, Тургенев рассказывал ему, что во всей истории с гауптвахтой «Смирнова («черноглазая Россети») и Блудов (граф Д. Н. Блудов был в то время главноуправляющим II отделения императорской канцелярии.— *Ю. Б.*) вредили ему» (Леонтьев К. Н. Собр. соч., т. IX. СПб., 1912, с. 133).

Во всяком случае, в своих записках она вспоминает, что избавления Тургенева добился «Алексей Толстой посредством ныне царствующего государя»[1]. Сам Тургенев также одного лишь А. К. Толстого называет в числе «главных лиц», способствовавших его освобождению из-под ареста, ни словом не упоминая о «черноглазой Россети»[2]. Вполне очевидно, что он не считает себя чем-то обязанным последней, не испытывает к ней никакого чувства благодарности; об этом свидетельствуют его письма к Анненкову, написанные всего через год после эпизода с гауптвахтой, где он с нескрываемой антипатией и язвительностью говорит о Смирновой и так называемой «смирновщине»[3], а также роман «Рудин», в котором современники без труда узнали в образе стареющей львицы Дарьи Михайловны Ласунской знакомые многим черты Смирновой.

Но что представляется действительно правдоподобным в рассказе О. Смирновой, так это одна деталь — ссылка Александры Осиповны на мнение Гоголя. С великолепной уверенностью, без тени сомнения в своем праве душеприказчицы покойного писателя она подчеркивает, что «Гоголь и губернаторша одобряют» роман Тургенева. Оговорка? Ничуть не бывало. Тут же следует уточнение: «т. е. Гоголь его бы одобрил». Да, это — Смирнова, это очень на нее похоже...

Что же, Александра Осиповна имела известные основания для такой уверенности. Ведь она была одним из самых активных и, главное, доверенных корреспондентов писателя. Небольшая, но по-своему красноречивая подробность: сохранившаяся их переписка делится строго поровну — 65 писем написаны Смирновой, столько же принадлежит перу Гоголя. Обычная аккуратность, обязательность переписывающихся? Не думаю. Я склонен видеть в этой «синхронности» проявление взаимной потребности в постоянном общении, своеобразное выражение духовной близости, того, что называлось когда-то родством душ.

В значительной мере так оно и было. В сороковые годы, особенно после того, как Гоголь и Смирнова провели совместно с Вьельгорскими и Соллогубами чудесную зиму 1843—44 года в Ницце, о которой в своих письмах вспоминают как об утраченном рае, между ними возникло стремление понять и действительное понимание внутренней жизни друг друга, необходимость излиться, откровенно поведать о своих сомнениях, метаниях, за-

---

[1] Смирнова-Россет А. О. Автобиография. (Неизданные материалы.) М., 1931, с. 307.

[2] См.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах, т. 11, с. 186.

[3] Там же, т. 2, с. 218, 256.

блуждениях, подчас даже — со стороны Смирновой — о деликатных, интимных делах, зная при этом, что будешь услышан. «Как мне жаль... старый, закадычный друг, — признавалась Александра Осиповна, — что мы с вами мало виделись, мне как-то с вами ловко, ловчее, чем со всеми другими; мне кажется, что и вам то же чувствуется». По-видимому, имело значение и то обстоятельство, что у обоих (разумеется, у каждого по-своему) эти годы совпали с полосой глубоких кризисных переживаний. У Смирновой они связаны с томлением, характерным для женского переходного возраста, с тоской по уходящей молодости, и она ценит то, что Гоголь тонко чувствует это ее состояние, чутко откликается на него. «Молодость, о молодость! — пишет ему Смирнова еще до Калуги, в мае 1845 года, — где то прозрачное покрывало, которое ты накидываешь на пустоту и наготу жизни? Сильный, очень сильный перелом был в жизни моей нынешний год. Вы, милый сердцеведец, угадали мою душу и, как бы предвидя ее будущее *уныние,* приучили обращаться к Тому, Который не оставляет никогда горюющих и погибающих». Гоголь в эту пору все сильнее страдал от болезней, упадка творческих сил, страха перед угрозой не завершить задуманное, не реализовать грандиозный план «Мертвых душ». Поэтому в их переписке так часто сквозят мотивы неудовлетворенности собственной жизнью, нравственного, причем нередко максималистского, суда над собой, чувствуется усиление религиозных настроений. Чаще это звучит в письмах Смирновой, но дает себя знать и у Гоголя, несмотря на то, что он обычно выступает в роли духовного руководителя, наставника, советчика.

Как бы то ни было, можно сказать, что в своих письмах они искали каждый себя и одновременно находили друг друга. «Нас сдружило наше обоюдное одиночество...» — не без оснований замечала Смирнова.

Не раз высказывалось и уже успело стать общим местом мнение, что письма Гоголя к Смирновой отталкивают резонерством и той «противной смесью», которую обнаружил в них Тургенев, а переписка, взятая в целом, оставляет тягостное впечатление общей ипохондрической тональностью, обоюдными жалобами на плохое физическое и душевное здоровье. Последнее если и верно, то лишь отчасти, и относится больше к письмам Смирновой. В целом же, я думаю, мы окажемся ближе к истине, если будем говорить не о тягостном впечатлении, а о присущем письмам Гоголя и Смирновой внутреннем драматизме, об их исповедальности; преодолев въевшуюся в сознание со школьных лет предвзятость, мы не сможем не признать, что эта переписка — человеческий документ большой силы и эмоциональной напряженности, отражающей напряженность и противоречивость духовной жизни обоих корреспондентов.

А резонерство (выражение «противная смесь» я бы списал за счет художнического субъективизма Тургенева) — что ж за беда, резонерство! Я предпочитаю другое определение — морализаторство или, если угодно, учительство. Это давняя и, право же, плодотворная традиция отечественной литературы. Мы от нее отвыкли, от этой традиции, да и приучены-то, правду сказать, не были, все ищем живости, развлекательности, легкости в мыслях и словах необыкновенной. А задумаемся: какой же без этого многажды осмеянного и осужденного «резонерства» серьезный разговор о душе, о Боге, о смысле жизни и о смерти, о мире и человеке! Так, глядишь, всю старую литературу от «Слова о законе и благодати» и «Поучения Владимира Мономаха» до Аввакума и Сковороды, целые страницы и главы из Достоевского, публицистику Толстого, не говоря уже о святоотеческих и житийных книгах, о В. Соловьеве или, допустим, Мережковском, — все это недолго похерить, что мы, впрочем, до недавнего времени с успехом и проделывали. И что же, умнее стали? Прирастили свое духовное богатство?..

Жалобы на здоровье... Но вот как начинается гоголевская глава «Что такое губернаторша»: «Я рад, что здоровье ваше лучше; мое же здоровье... но в сторону наши здоровья: мы должны позабыть о них, так же как и о себе. Итак, вы возвращаетесь в ваш губернский город» (VIII, 308).

Тут нам с вами, читатель, также придется вернуться — во времени! — чтобы сказать несколько слов о предыстории этой главы.

Лето 1845 года Смирнова проводила вместе с Вьельгорскими в имении под Петербургом. Отсюда она 19 июля шлет письмо Гоголю. Посетовав на «страдания и отчуждение», которые она находит «в круге, куда меня забросила жизнь» (впоследствии она признается, что «разлюбила» женщин из семейства Вьельгорских и не удержится от колючих характеристик), Александра Осиповна пишет: «Впрочем, что об этом толковать? Этого не переделаешь, и Божья воля мне назначила теперь новую жизнь: Николай Михайлович получил место в Калуге...»[1] Место было неплохое — Н. Смирнов, о котором сказать пожалуй, нечего, кроме того, что он был добродушен, богат и происходил по материнской линии от Сергея Бухвостова, первого петровского потешного солдата, назначили калужским губернатором.

На это сообщение Гоголь, «слабый и еле движущийся» (XII, 503), сразу же отликается из Карлсбада письмом, где содержатся первые советы будущей губернаторше. Затем на про-

---

[1] Русская старина, 1890, № 12, с. 656; Северный вестник, 1893, № 1, с. 261, 260; Русская старина, 1890, № 7, с. 211; № 6, с. 640.

тяжении года пишет Александре Осиповне еще несколько писем такого же содержания; в одном из них, от 4 июля 1846 года, упоминается прилагаемое «при сем большое письмо», написанное «в искреннем молении к Богу, чтоб хотя на этот раз вы послушались слов моих» (XIII, 83). Похоже, что именно об этом письме-приложении сообщает отцу из Калуги И. Аксаков 3 августа того же года: «Я слышал еще прежде стороною и теперь подтвердил мне Ар ** (Л. Арнольди, сводный брат Смирновой.— *Ю. Б.*), что А. О. получила огромнейшее, листах на четырех, письмо от Гоголя, наполненное советами и разными христианскими наставлениями ей. Говорит, что письмо превосходное...»[1] По всей вероятности, именно это «огромнейшее» письмо составило основу будущей главы в «Выбранных местах...», куда вошли и некоторые мысли из предыдущих гоголевских писем.

Перекликается «Губернаторша» в ряде мест и с письмом «Женщина в свете». Например, суждения о взятках и прочих злоупотреблениях. Ополчаясь на роскошь и советуя Смирновой, используя «наше русское обезьянство», подавать пример простоты и дешевизны в одежде, Гоголь пишет: «Словом, гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть» (VIII, 309—310). Ниже он вновь возвращается к этой теме, рисуя «бесконечную лестницу» взяточничества, протянувшуюся «сверху вниз», когда «чиновник берет с чиновника по команде». Правда, здесь учительский тон автора письма причудливым и несколько комическим образом контрастирует с младенческой наивностью его рекомендаций. «Надобно вам знать (если вы этого еще не знаете)...» — не без важности подчеркивает Гоголь и советует Смирновой «попросить» мужа-губернатора «прежде всего обратить вниманье на то, чтобы советники губернского правления были честные люди. Это главное». Ибо, представляется писателю, как только будут честные советники, тот же час будут честны остальные чиновники, — «словом — все станет честно». Более того, он предостерегает губернаторшу от малейших попыток бороться со злом, «преследовать» кого-либо, во всяком случае, «до времени, пока не вызрело зло». «Старайтесь только, чтобы сверху было все честно, снизу будет все честно само собою» (VIII, 313). Откуда такая наивность? От недостаточного знания российской действительности, особенно глубинки? По мнению Л. Арнольди, например, Гоголь «не обращал внимания на внешнее устройство России, на все малые пружины, которыми двигается машина», что и стало причиной целого ряда несообразностей в его сочинениях: «он серьезно думал, что у нас существуют еще капитан-

[1] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 1, с. 355—356.

исправники, что и теперь еще возможно без свидетельств совершать купчие крепости в гражданских палатах...»[1] и т. п.

Вероятно, сказывалось и это. Заметим, однако, что в том же письме к губернаторше Гоголь весьма точно и со знанием предмета вскрывает самую сердцевину механизма взяточничества: «Капитан-исправник и заседатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что с них берут, и что им нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое место» (VIII, 313). Наивность Гоголя идет не просто (или не только) от незнания, она питается верой в человеческую натуру, в возможность нравственного воздействия на нее. Она, эта наивность, противостоит не знанию, а цинизму, пустоте «всезнайства» и безверия. Это, конечно, слабость, но слабость не только извинительная, а благородная, достойная уважения.

Еще два характерных мотива, связывающих «Губернаторшу» с «Женщиной в свете». Один из них — возможность для женщины быть полезной обществу, окружающим. Легко догадаться, что это реакция на жалобы Смирновой. Жалобы эти сначала носили юмористическую окраску, оттенок самоиронии: Смирнова посмеивается — вместо привычных ее уху великосветских имен Нарышкиных, Воронцовых, Вьельгорских, Карамзиных вокруг звучат такие, как Писарев, Яковлев, Брылевич, Салтанов; вместо приглашения на бал или концерт — визит к архиерею и поездка в богадельню; вместо изысканных интеллектуальных бесед — продажа и покупка ржи... Но уже через полгода появляется совсем иная тональность: «Общество, о котором вы мне писали, которое как бы препоручали мне, до такой степени испорчено в своем корне, что нечего о нем и думать. Остается молить Бога о терпении, смирении и снисхождении к брату»[2].

Гоголь отвечает на это в письме «Что такое губернаторша»: «Вы напрасно начинаете думать вновь, что ваше присутствие относительно деятельности общественной в нем (в городе. — *Ю. Б.*) совершенно бесполезно, что общество испорчено в корне. Вы просто устали — вот и все. Деятельность губернаторше предстоит всюду, на всяком шагу. Она даже и тогда производит влияние, когда ничего не делает» (VIII, 308—309).

С этим перекликается и другой мотив — развернутая метафора о больных и больнице. В главе «Женщина в свете» автор, как мы помним, советовал своей корреспондентке входить в «свет» «как в больницу, наполненную страждущими» (VIII, 227). В «Губернаторше» Гоголь напоминает Смирновой сказанные уже прежде слова о том, что ей надо глядеть «на весь город,

---

[1] Арнольди Лев. Мое знакомство с Гоголем.— Русский вестник, 1862, № 1, с. 69.
[2] Русская старина, 1890, № 7, с. 209.

как лекарь глядит на лазарет». «Глядите же так, но прибавьте к этому еще кое-что, а именно: уверьте самую себя, что все больные, находящиеся в лазарете, суть ваши родные и близкие к сердцу вашему люди, тогда все пред вами изменится: вы с людьми примиритесь и будете враждовать только с их болезнями. Кто вам сказал, что болезни эти неизлечимы?» (VIII, 310).

Но особенно очевидна близость обеих глав книги в том, что касается «женского вопроса». Гоголь сначала хвалит губернаторшу за то, что она сделала визиты всей «женской половине... города», а затем журит ее за импульсивность и непоследовательность: «Относительно женщин вы руководствуетесь первыми впечатлениями: которая вам не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищете все избранных и лучших». А надо бы, говорит автор письма, узнать и полюбить всех, особенно же тех, «в которых побольше дрянца» и которые могут оказывать дурное влияние на мужей (VIII, 312).

Далее следуют знакомые уже нам по предыдущему письму суждения об особой нравственной, облагораживающей роли женщины в обществе, о ее призвании, которое не заменить ничем. «Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на все благородное...» Пусть вы считаете некоторых из них пустыми, пусть и впрямь закружились они в вихре моды, но если только суметь найти ключ к душе женщины, очертить перед ней ее «небесное поприще», отшвырнет она, вспыхнув вдруг, в сторону свои тряпки и найдет в себе силы подвигнуть себя и мужа «на исполнение честное долга». «Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлестнут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича» (VIII, 319).

Ничего не скажешь, прекраснодушной мечтой, какой-то маниловщиной веет от этих рассуждений, особенно когда представишь тех губернских дам, которым губернаторша наносила визиты, когда подумаешь о тогдашнем женском окружении Гоголя — Вьельгорские, Апраксины, Балабины, сама Смирнова... Трудно, очень трудно вообразить, что они вот-вот вырвутся из «вихря моды», из объятий «света» и станут главной преобразующей силой в обществе... Но если перечитать гоголевский монолог сегодняшними глазами, воспринять его пророчество не в конкретной привязке, а в общечеловеческом контексте, в историческом движении, — не иначе ли прозвучит оно? Не раскроет ли подлинную свою актуальность в свете обострившейся заботы о нравственном здоровье общества, о защите материнства как основы основ жизни на земле? Слышу, слышу: историзм... Никто его не отрицает, да и нелепо было бы отрицать, но застаре-

лая беда наша в отношении к классике, вообще к литературе в том, что мы нередко превращаем историзм в прокрустово ложе, в пугало для самих себя и для искусства, которое под тяжелым, как у Вия, гипнотизирующим взглядом историзма часто застывает, вянет, усыхает... Помня об историзме, не упустим из виду и то, что писательское слово живет во времени, обретая новые обертоны, новое звучание, выявляя скрытый до какого-то момента смысл.

А вместе с тем—какой сильный заряд общественно-нравственной самокритики и критики заложен в монологе Гоголя, как беспощадны и возвышенны его слова о «глупом стаде баранов» и о биче стыда и совести»! Этого, пожалуй, не было в главе «Женщина в свете», тут именно проявляется одно из важных отличий от нее письма «Что такое губернаторша». Я имею в виду, что в последнем «женская» тема поднимается на новую ступень, и не просто потому, что героиня занимает более значительное поприще, а потому, главным образом, что тема женщины смыкается с более масштабными общественными, социально-нравственными вопросами. Поэтому в дальнейшем нашем разговоре о гоголевской книге мы еще будем иметь случай вернуться к главе «Что такое губернаторша».

Есть и еще одно различие между главами.

Попробуем условно отвлечься от реальных и вероятных прототипов обеих героинь и сопоставить их, сравнить одну с другой. Если в первом случае доминантой образа выступает красота, и не только внешняя, а «высшая красота», «чистая прелесть», «невинность» (VIII, 226), то в письме, адресованном губернаторше, несколько иные акценты. Правда, Гоголь замечает однажды: «Вас полюбят, и полюбят сильно, да нельзя им не полюбить вас, если узнают вашу душу...» (VIII, 319), но — лишь однажды, и то, признаемся, определение это довольно туманно. Главные, определяющие черты образа губернаторши — ум, незаурядный характер, жизненный опыт, помогающий узнавать людей и сходиться с ними. О «чистоте» и «невинности», о «голубиной душе» нет и речи. Я полагаю, и не могло быть.

Гоголь не идеализировал Смирнову, он слишком хорошо знал и понимал эту очень земную, очень светскую, далеко не безгрешную женщину, мечущуюся между соблазнами плоти и порывами духа, между грехом и покаянием, что не мешало ему ценить ее, дорожить дружбой с нею. Быть может, и прав С. Аксаков, когда говорит, что в Смирновой Гоголь «видел... кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души» [1]. О многих своих увлечениях, «тайных душевных происшествиях» она сама искренне рассказывала Гоголю, не стеснялась признавать-

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 282.

ся в «гордости и тщеславии», в «скверных помыслах», не скрывала уязвленного самолюбия: «Когда свет меня искал и завлекал к себе, я его бегала; теперь начинаю чувствовать одиночество, потому что меня свет оставляет»[1].

Все это и дает основания Н. Тихонравову (об этом я уже упоминал, пообещав вернуться к его аргументам, что и делаю) с убежденностью утверждать, что письмо «Женщина в свете» не могло быть адресовано Смирновой. Исследователь весьма кстати ссылается на одно из высказываний Гоголя, обращенных к Александре Осиповне в письме от 26 августа 1844 года. Сославшись на «всякие слухи о вас самих», которые «изрядно черны», Гоголь дает своей корреспондентке, среди прочих, такой характерный совет: «Старайтесь, чтобы во всяком случае ваш разговор походил на тот ваш разговор, который вы ведете тогда, когда бываете окружены одними добрыми душами. ...Этот разговор ваш ничуть не похож на то приторное любезничанье, которое иногда у вас является тогда, когда вы беседуете с каким-нибудь истаскавшимся селадоном, рассказывающим вам свои конфиденции...» Примечательно, что тут же Гоголь добавляет: «Словом, случится ли вам вести разговор с молодым ветрогоном или изношенным старичишкой, воображайте всякий раз, что с вами тут же сидит Софья Михайловна, и все будет хорошо» (XII, 336, 339). Софья Михайловна Соллогуб — это, как считает Н. Тихонравов, и есть адресат письма «Женщина в свете», по моему же мнению, один из наиболее вероятных прототипов его героини.

Я не ставлю перед собою задачу дать сколько-нибудь завершенный портрет Смирновой, это должно быть предметом особого исследования. Хочу лишь в связи с письмом Гоголя «Что такое губернаторша» привести свидетельства двух авторов, живших в Калуге в бытность там Смирновой и имевших возможность наблюдать ее, так сказать, вблизи.

Губернаторство Николая Михайловича Смирнова оказалось неудачным, было много претензий разного рода, жалоб, доносов, и Петербург направил в губернию ревизию во главе с сенатором князем С. Давыдовым. При сенаторе в качестве старшего чиновника состоял некто Н. Колмаков, опубликовавший через много лет свои «Очерки и воспоминания». Под впечатлением прочитанных в «Русской старине» писем Смирновой к Гоголю и полемизируя с этими письмами, автор воспоминаний пишет, что, на его взгляд, Смирнова лишь в угоду Гоголю прикидывалась богомолкою, «черкала... письма в душеспасительном тоне», на самом же деле святошей отнюдь не казалась. «Нет, нет, Алек-

[1] Русская старина, 1890, № 6, с. 651; Северный вестник, 1893, № 1, с. 257; Русская старина, 1890, № 6, с. 645.

сандра Иосифовна! — восклицает мемуарист.— Питая к вам глубокое уважение, я должен сказать, что при жизни своей вы не такие были, как хотите казаться в ваших письмах к Гоголю!» Далее автор пересказывает якобы слышанные им от Смирновой недоброжелательные отзывы о Гоголе, вспоминает проходившие в губернаторском доме веселые собрания и балы, на которых «молодежь, под наитием вашим, вела самый оживленный разговор, а о религии ни полслова». И добавляет не без ехидства: «Да, в 1850 году вы жили весело!» [1]

Не берусь судить о достоверности свидетельств Н. Колмакова, однако трудно не заметить, что его характеристики отмечены печатью какого-то — да простится мне это слово — плебейского недоброжелательства. Неизмеримо больший интерес представляют наблюдения и оценки И. Аксакова и эволюция этих оценок. Томящийся в провинции двадцатитрехлетний молодой человек, склонный к идеализму и пишущий стихи, с восторгом встретил появление в Калуге женщины, прославленной поэтами, перед которыми он благоговел. Первые впечатления от встреч и бесед с Александрой Осиповной разочаровывают его, но очень скоро его мнение меняется. «...Я повторяю об ней то же, что Самарин и Гоголь, — пишет отцу Аксаков-младший, покоренный умом, образованностью, тактом Смирновой.— ...Я так высоко уважаю эту женщину, так удивляюсь силе ее души, вынесшей ее доброю и *чистою* сквозь тьму тем мерзостей, ее окружавших, что невольно перестаешь замечать мелочи ее недостатков» [2]. «В воскресенье вечером, — сообщает он в другом письме, — я просидел у А. О. до 12-ти часов, и мне было очень приятно...» [3] Через некоторое время, однако, «мелочи» перестали казаться таковыми. Аксаков признается, что светские «мерзости» все же оставили след в душе и сознании его кумира; он потрясен, его «внутренняя гармония... расстроилась», он пишет «гремучие стихи против А. О.». Вот строфа из них:

А Вы!.. Вам в душу недостойно
Начало порчи залегло,
И чувство женское покойно
Развратом тешиться могло!

Стихи, разумеется, дошли до адресата, у Смирновой хватило ума и выдержки — она похвалила молодого поэта, даже посоветовала опубликовать стихи, но отношения, как нетрудно догадаться, стали более чем прохладными. В сентябре 1846 года Иван Сергеевич сообщает в очередном письме к отцу: «К А. О. я не езжу, потому что не люблю оставаться в таком фальшивом

---

[1] Русская старина, 1891, № 7, с. 144—145.
[2] Иван Сергеевич Аксаков в письмах, т. 1, с. 310.
[3] Там же, с. 335.

положении, и я гораздо покойнее духом с тех пор, как не бываю у ней. ...Гоголя и Самарина довольно с нее; следовательно, мое пренебрежение ничего не значит...»[1] Разъясняя свою позицию, Аксаков-младший пишет: «Она окружила себя всем тем, что есть самого дрянного в Калуге, но что раболепствует перед ней... Я вчера слышал такие вещи, делавшиеся недавно здесь, что если это правда, то она просто вредная женщина, не только развращенная в образе мыслей и понятий, но развращающая... В провинции если и дурные нравы, но люди эти в простоте сердечной и думают, что это дурно по общепринятым истинам христианским, но Смирнова, передавая им свое воззрение, успокаивает их щекотливость, для того, чтоб самой успокоиться. Если б все вокруг ее были мерзавцы и свиньи — это было бы, конечно, ей величайшим утешением»[2]. Сергей Тимофеевич, отвечая сыну, с грустью, но и не без нотки злорадства, замечает: «...Ты сообщаешь такие черты об Александре Осиповне, которые, если они справедливы, дают решительное выражение ее физиономии. Итак, мы все попались было в дураки!»[3] Сквозь досаду проглядывает скрытое удовлетворение по поводу того, что его, Аксакова, неприязненное чувство к Смирновой находит подтверждение, тем более — со стороны сына, еще недавно отзывавшегося о ней с восхищением.

А началось с большого интереса к личности Смирновой. В июне 1845 года Аксаков пишет Гоголю: «Уже давно сильно занимает меня Смирнова. Все, что свет говорит о ней с злобным наслаждением, мне хорошо известно. Живя давно на свете, я мало верю его слепым приговорам. Я дорого бы дал, чтоб узнать лично эту женщину»[4]. Состоялось заочное знакомство, завязалась переписка, а вскоре, уже в ноябре, когда Александра Осиповна проездом в Калугу побывала в Москве, представилась возможность встретиться ей с Аксаковым. Последний в сдержанных выражениях, с оговорками сообщает Гоголю об этой встрече, о «самых дружеских и откровенных разговорах», но смысл его слов однозначен: «Первое мое впечатление не во всем согласно с теми понятиями, которые я составил себе об этой необыкновенной женщине: многие черты не похожи на те, которые я придал заочно ее образу»[5]. Первое впечатление не развеялось, напротив, укрепилось, получило развитие. Не разногласия — пропасть лежала между Смирновой и Аксаковыми: в привычках, в образе жизни, во вкусах, во взглядах на славянофильство, на стилизованное русское платье Константина Сергеевича,

[1] Иван Сергеевич Аксаков в письмах, т. 1, с. 335.
[2] Литературное наследство, т. 58, с. 686—687.
[3] Там же, с. 686.
[4] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 320.
[5] Там же, с. 325.

главное же, в отношении к Гоголю, особенно к последней его книге. Когда С. Аксаков написал Гоголю резкое письмо с оценкой «Выбранных мест...», он сам попросил сына Ивана «показать ей (Смирновой.— *Ю. Б.*) или прочесть в моем письме все, касающееся до книги Гоголя. Я даже желал бы сообщить ей письмо мое к нему, читанное тобою»[1]. Просьбу отца Иван Сергеевич выполнил — и разразилась буря! «Смирнова сделала горячую схватку с моим сыном, — жалуется Сергей Тимофеевич Гоголю, — наговорила ему, мне и всему моему семейству много грубостей, сама получила их столько же...»[2]

Вот как описывает эту «горячую схватку» в письме к отцу И. Аксаков: «Подняв случайно глаза, я ужаснулся. А. О. вся вспыхнула, потом побледнела, потом затряслась, потом подняла руки кверху, и пошла потеха. Я вовсе этого не хотел, стал извиняться, успокаивать ее, сказал, что не буду ей возражать... Не тут-то было. Она оскорбилась Вашими выражениями о Гоголе. Это бы еще ничего, но по свойственной женщинам манере, заехала Бог знает куда, так что я под конец рассердился. Начала с того, что Гоголь ошибался в «*вашей*» семье: он думал найти друзей и нашел вместо того людей, которые дорожат только его талантом, что «*вы*» его надули и надуваете, но ее не надуете, и что она откроет глаза Гоголю и т. п. Потом стала ругать всю Москву, Вас вообще и меня в особенности»[3].

Я упоминал уже однажды о дочери Александры Осиповны, О. Смирновой, отмечал и опасливое отношение специалистов к ее свидетельствам, имеющее свою причину, однако не думаю, что это должно стать не терпящим никаких исключений правилом. Во всяком случае, мне, например, представляется корректным, делая мысленную поправку на субъективность автора, привести не лишенное тонкости наблюдение О. Смирновой об отношениях между ее матерью и Аксаковыми. «Скромность, чувствительность, умиление, нечто неизъяснимо сладкое — вот чего искали Аксаковы в женщине... Это пахнет полевыми цветами, ландышами и поэзией 20-х годов. Тут много романтизма, тут идеал чисто средневековый: замкнутость женской жизни в варварской атмосфере вечной войны, и терем, и фата, как необходимый щит женского целомудрия — вот идеал женщины у славянофилов. Новый, совершенно невиданный до того тип женщины, какой представляла из себя А. О. Смирнова, поразил, «огорошил» (это выражение К. С. Аксакова об А. О.) Аксаковых, и они путаются, восхищаются, сердятся, увлекаются ею и бранят ее, и готовы даже произнести анафему на этот тип...»[4]

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 343.
[2] Там же, с. 352.
[3] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 1, с. 423.
[4] Северный вестник, 1893, № 1, с. 235.

Если верить свидетельству мемуаристки, А. Смирнова яростно защищала автора «Выбранных мест...» не только перед Аксаковыми, но и перед Белинским, на которого, кстати, выгодное впечатление произвело то, что Александра Осиповна «умеет защищать друзей и что она честная личность»[1].

На Гоголя отрицательные отзывы Аксакова если и оказывали воздействие, то совершенно противоположного свойства. На жалобы Сергея Тимофеевича он ответил холодным и раздраженным письмом. «Не сердитесь на Смирнову; не называйте ее безрассудною женщиною. Женщина эта почтена была короткою дружбой Пушкина и Жуковского, которые любили ее именно за здравый рассудок и добрую душу. Она меня знала еще прежде, чем вы меня знали, — знала как человека, а не как писателя, видела меня в те душевные состояния мои, в которые вы меня не видели. С ней мы были издавна, как брат и сестра, и без нее Бог весть, был ли бы я в силах перенести многое трудное в моей жизни; а потому и не мудрено, что несмотря на пристрастие ее ко мне, многое в моей книге она почувствовала полней и не перетолковала в такую превратную сторону, как перетолковали вы» (XIII, 373).

Тут мы подходим к вопросу, который при жизни Гоголя не раз возникал у его друзей: ограничивались отношения между ним и Смирновой исключительно духовной близостью, «любовью во Христе», или к этим отношениям примешивалось какое-то иное, более земное чувство?

Слухов и толков на этот счет хватало. Языков, удивленный неумеренными похвалами Гоголя по адресу Смирновой, замечал, что эти похвалы и «всех здешних удивляют». «По всем слухам, до меня доходящим, — писал он брату, — она просто сирена, плавающая в волнах соблазна»[2]. Часто высказывался в подобном духе и С. Аксаков, а это означало, что шушукалась половина Москвы... Что-то, как видно, докатилось и до живущего в провинции Данилевского, потому что в одном из писем к нему Гоголя находим такую фразу: «Ты спрашиваешь: зачем я в Ницце и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей» (XII, 290). Впоследствии была предпринята попытка построить целую концепцию о влюбленности Гоголя, которому якобы лишь «гордая застенчивость не позволяла... сознаться в своем чувстве»;[3] более чем зыбкая эта концепция была опровергнута тогда же, подробнее останавливаться на ней нет смысла.

---

[1] Цит. по: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV, с. 456, примеч.

[2] Там же, с. 194.

[3] Черницкая А. К биографии Гоголя. О дружбе его с А. О. Смирновой.— Северный вестник, 1890, № 1, с. 205.

Очень встревожили сплетни по поводу отношений Гоголя и Смирновой его добрую знакомую Надежду Николаевну Шереметеву. Замечательная женщина, чудесным образом сочетавшая силу воли, мужество в преодолении жизненных невзгод с безграничной добротой, нравственной щедростью и искренней богомольностью, она в своих письмах согревала неприкаянного друга теплым словом сочувствия, непритязательной заботой. С некоторых пор Надежда Николаевна стала намекать на распространяющиеся слухи об увлечении Гоголя и деликатно вразумляла его: «...Умоляю вас Богом, берегите себя ради Христа, берегите, ограждайте себя молитвою. Чтó здешние все радости, чтó горести в сравнении спасения нашего!..»[1] «Вы говорите мне, — отвечает ей Гоголь опять же из Ниццы, — что хотели бы иногда поговорить со мною совершенно просто, но чем-то останавливаетесь. ...Еще вы упоминаете, что вас огорчают неприятные слухи, рассеиваемые про меня. Многие из этих слухов доходили и до меня, И, признаюсь, вначале мне хотелось сильно во многом оправдаться. Теперь я увидел, что даже и оправдываться не имею никакого права. Если бы я, положим, и оправдался во многом, то разве это послужило бы доказательством, что во мне нет других, не менее дурных качеств? Итак, оставим эти слухи, как они есть» (XII, 242). Примерно то же говорит он в письме к Шереметевой в марте 1844 года, только здесь акцентирует мысль, что никогда не переменяет мнение о своих близких друзьях. «Меня не смутят не только какие-нибудь слухи и толки, но даже, если бы сам человек, уже известный мне по душе своей, стал бы клеветать на себя, я бы и этому не поверил, ибо *я умею верить душе человека»* (XII, 270).

Как же нам все-таки отнестись к этим слухам? Выскажу свое мнение: так, как вообще следует относиться ко всякого рода слухам и сплетням.

Что касается Смирновой, то, признаюсь, мне трудно заподозрить в пылкой страсти к писателю эту светскую львицу, женщину огненного темперамента, с юных лет окруженную поклонением самых блестящих и опытных ухаживателей, с которыми Гоголь вряд ли мог бы тягаться; впрочем, ее-то и подозревали только в том, что она играла роль обольстительницы. А Гоголь? Я думаю, на этот вопрос дает исчерпывающий ответ его письмо к Александре Осиповне от 3 ноября 1844 года. Оно как раз посвящено... любви. Да, любви, но какой? «Любовь... — говорит Гоголь, — связавшая нас с вами, высока и свята, она основалась на взаимной душевной помощи, которая в несколько раз существенней всяких внешних помощей, которые обыкновенно

---

[1] Цит. по: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV, с. 196.

оказываются на свете иногда весьма шумным и блестящим образом. Поверьте, что такие вещи не позабудутся никогда. Ваши слова, что я вас видел в такую минуту и с такой точки, когда любить вас невозможно, не только не имеют значения, но даже имеют противоположное значение: потому что именно с этой-то минуты и началась моя истинная любовь к вам. ...Любовь должна возрасти тогда еще сильнее, если бы случилось из нас кому-либо сделать низкое или почему-либо недостойное и подлое дело. Тут она и должна действовать во всей силе, потому что в такие минуты нужней и необходимей, чем когда-либо. Такую любовь мы должны иметь» (XII, 366—367).

Не очевидно ли, что Гоголь говорит о любви в евангельском смысле, о любви брата к сестре, человека к человеку, о близости духовной — и ни о чем ином?

В этой связи нам придется коснуться такой щекотливой темы, как вообще место женщины в жизни Гоголя, как сексуальная сторона этой жизни. Признаться, я, быть может, и предпочел бы ее обойти молчанием, но слишком много разного тут сказано и написано, а если уж и нам попытаться вставить слово, то всего удобнее теперь.

Что же именно уже сказано, что написано?

Прежде всего в биографии писателя, достаточно досконально изученной, не удалось пока обнаружить каких-либо следов романических отношений с женщинами. Почти до тридцати лет среди его друзей не было женщин, он вел переписку, по сути исключительно с однокашниками по Нежину, с петербургскими литературными коллегами, некоторыми родственниками. Известный эпизод 1829 года, когда Гоголь, чтобы объяснить матери свой неожиданный отъезд за границу, на что ушли полторы тысячи, данные ему для внесения в опекунский совет, подробно описывает в письме пламенную роковую страсть, якобы внезапно его охватившую и погнавшую куда глаза глядят, — этот эпизод относится скорее всего к области фантастики, мистификации. Выдвинутая в свое время в статье упоминавшейся А. Черницкой версия о том, будто в письме речь шла об уже в ту пору зародившейся влюбленности Гоголя в юную А. Россет (впоследствии Смирнову) [1], не имеет под собой реальной почвы. Эту версию, кстати, косвенно опровергает сам Гоголь, когда в письме к Данилевскому от 20 декабря 1832 года признается: «Ты счастливец, тебе удел вкусить первое благо в свете — любовь. А я...» (X, 252). Удавалось ли Гоголю на протяжении всей жизни необычайно тщательно и умело скрывать свои любовные связи или же таковых вообще не было — не берусь судить с определенностью;

---

[1] См.: Северный вестник, 1890, № 1, с. 204.

констатирую в данном случае лишь факт: прямых свидетельств таких связей биографы не обнаруживают.

Многие авторы, писавшие о Гоголе (интересно, что это преимущественно художники, а не профессиональные литературоведы), отмечают слабость его женских образов, их психологическую невыразительность. К. Леонтьев вспоминает, например, что его едва ли не более всего удивляло, «отчего это у него (у Гоголя. — *Ю. Б.*) *ни одна женщина* в повестях на живую женщину не похожа», ни одна не внушает «человеку чувство сильной любви» [1]. Для Андрея Белого женщины у Гоголя — «то ли виденье... или холодная статуя... или похотливая баба, семенящая ночью к бурсаку»; «...мы не знаем, — делает вывод Андрей Белый, — кого из женщин любил Гоголь, да и любил ли?» [2] И. Анненский усматривает гоголевский символ женской красоты в обреченной, исстрадавшейся Катерине, либо в избитой бурсаком панночке-ведьме, либо в измученной голодом полячке, либо, наконец, в Уленьке — такой призрачной, такой чистой и далекой, «что она даже не дразнит» [3]. Приблизительно так же оценивает женские образы у Гоголя и С. Залыгин, считающий, что «Гоголь миновал женский характер во всей его глубине» [4].

С некоторыми конкретными оценками можно было бы и поспорить (например, с характеристикой, которую дает К. Леонтьев образу Аннунциаты из «Рима», или с тем, что С. Залыгин ставит в один ряд Солоху, женские персонажи из «Ревизора» и «вишневоглазых девчат»), но в целом не признать справедливость общего наблюдения, пожалуй, трудно. Более того, к приведенному выше ряду я бы добавил пример статьи «Женщина»; казалось бы, это восторженный гимн женской красоте, однако вчитавшись внимательно, замечаешь, что смысловая и эмоциональная доминанта смещена в сферу «духовных наслаждений», «бесплотной идеи», «невыразимого духовного поцелуя». А ведь это написано двадцатидвухлетним юношей!

Правда, Л. Арнольди со ссылкой на Смирнову и на Шевырева, которым Гоголь читал главы из второго тома «Мертвых душ», говорит, что в одной из глав изображен был замечательный образ женщины, ее трудный, полный драматизма роман с Платоновым (персонаж, знакомый и нам по сохранившимся главам) и что «особенно жаль, что именно эта глава не дошла до нас», «потому что, — добавляет Л. Арнольди, — мы все остаемся теперь в том убеждении, что Гоголь не умел изображать женские характеры...» [5].

---

[1] Леонтьев К. Собр. соч., т. IX, с. 111.
[2] Белый Андрей. Луг зеленый. Книга статей. М., 1910, с. 101.
[3] Анненский Иннокентий. Книги отражений. М., 1979, с. 133.
[4] Залыгин С. Литературные заботы. М., 1979, с. 220.
[5] Русский вестник, 1862, № 1, с. 80.

Обращались к этому аспекту жизни и творчества Гоголя и психиатры. Если Н. Баженов ограничивается деликатным прикосновением к теме, поскольку считает, что мы не располагаем достаточным материалом [1], то В. Чиж прямо связывает сатирическое отношение Гоголя к действительности с недоразвитостью у писателя половых желез, сравнивая его в этом смысле с «увядающей девушкой», «старой девой» [2]. И. Галант видит загадку личности Гоголя в том, что он, в противоположность Пушкину, «страдал крайним гипогонадизмом, или по-русски — сильной недостаточностью эндокринной функции половых желез» [3].

Сугубо патологическую картину рисует американский литературовед Саймон Карлинский в книге «Сексуальный лабиринт Николая Гоголя». Основной тезис С. Карлинского — подсознательная склонность Гоголя к гомосексуализму. В качестве аргумента приводится, например, факт замены в лирическом наброске «1834» традиционной Музы существом мужского пола — Гением; дружбу Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем исследователь оценивает как «бесполый гомосексуальный брак». Называя «Коляску» шедевром стилистического искусства, С. Карлинский при этом видит в ней прежде всего «историю унижения находящегося в счастливом браке гетеросексуалиста перед лицом взаимно преданных друг другу и притершихся друг к другу холостяков-офицеров» [4].

Гоголеведению, впрочем, уже давно знакомы такие и более жуткие гипотезы. Можно вспомнить, к примеру, вышедшую в начале 20-х годов книгу И. Ермакова, где так называемое «прегенитальное отношение» Гоголя к женщине увязывается с его «аутоэротическими стремлениями», с «анальной и уретральной эротикой», которые замещают «зрелое половое стремление» [5]. Еще раньше В. Розанов, чье неприятие Гоголя перерастало в болезненное отвращение и злобу, предложил свое объяснение «половой загадки Гоголя». «Он, бесспорно, «не знал женщин»,— читаем в коробе втором «Опавших листьев».— Что же было?» Высказывавшиеся ранее (в частности, Ч. Ломброзо) предположения об аутоэротизме (о гомосексуализме в ту пору еще речи

[1] См.: Русская мысль, 1902, № 1, с. 143—144.

[2] Вопросы философии и психологии, 1903, кн. 69, с. 662—663.

[3] Галант И. Б. Эвроэндокринология великих русских писателей и поэтов.— Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии), т. III, вып. 1, 1927, с. 59.

[4] Karlinsky S. The Sexual labirinth of Nikolai Gogol. Cambridre (Massachusetts) and London (England). Harvard University Press, 1976, p. 77, 133. Позволю себе обратить внимание читателя на мое открытое письмо к С. Карлинскому (Иностранная литература, 1990, с. 250—253).

[5] Ермаков И. Д. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя. М.— Петроград (1922), с. 178, 181.

не было) Розанову кажутся слишком пресными. Он обращает внимание на то, что у Гоголя «поразительная яркость кисти везде, где он говорит о покойниках», собственно, даже не о покойниках, а о покойницах, да все о «молоденьких и хорошеньких»:[1] панночка в «Майской ночи», дочь сотника в «Вие». Короче говоря, Гоголю инкриминируется ни больше ни меньше как сексуальная некрофилия, во всяком случае, предрасположенность к этому страшному извращению...

Приведя объективности ради примеры подобных трактовок, я оставляю их в стороне, полемика на такой основе не представляется мне плодотворной. Однако вопрос о сексуальной жизни писателя (или отсутствии таковой) не снимается, он существует, и надо попытаться ответить на него.

Нередко говорят о решающем значении страха, который Гоголь испытывал по отношению к женщинам. Ссылаются в таких случаях обычно на повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», герой которой испытывает панический ужас при одной мысли о двойной супружеской кровати. М. Зощенко в книге «Перед восходом солнца» пытается обосновать мнение, согласно которому страх Гоголя перед женщиной есть проявление психоневроза и коренится он в младенческом страхе перед матерью. «Ведь по закону условных рефлексов ребенка страшит и мать, и объекты устрашения, связанные с ней», а в дальнейшем эти «условные нервные связи соединили образ женщины с несчастьем, ужасом и даже гибелью...»[2]

На мой взгляд, ближе других к ответу подошел В. Брюсов, считавший, что у Гоголя не было «обычных романов» вовсе «не от недостатка страстности — скорее от избытка ее», ибо в страсти, как и во всех своих переживаниях, он «мог бы идти только до предела»[3]. Действительно, вспомним цитированное уже письмо к Данилевскому; впрочем, нет, сначала другое, более раннее письмо к нему же. В последнем, от 30 марта 1832 года, молодой Гоголь «с ученым видом знатока» вдохновенно толкует о любви до и после брака: «Любовь до брака — стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь — это поэзия Пушкина: она не вдруг обхватит вас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частию, небольшою рекою, впадающею в этот океан». Правда, тут же Гоголь с легко улавливаемой са-

---

[1] Розанов Василий. Избранное. Мюнхен, 1970, с. 292—293.

[2] Зощенко Мих. Собр. соч. в 3-х томах, т. 3. Л., 1987, с. 650.

[3] Брюсов Валерий. Испепеленный. К характеристике Гоголя. М., 1909, с. 30.

моиронией добавляет: «Видишь, как я прекрасно рассказываю!» (X, 227).

Но через несколько месяцев, в декабрьском письме, он уже говорит о том же вполне серьезно: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей (Данилевский делился с другом своими любовными переживаниями.— *Ю. Б.*), хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновенье. ...И потому-то к спасению моему у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желания заглянуть в пропасть» (X, 252). Именно это признание имеет в виду В. Брюсов, когда пишет: «Вся жизнь Гоголя — это путь между пропастями, которые его влекли к себе; это — борьба «твердой воли» и сознания высшего долга, выпавшего ему на долю, с пламенем, таившимся в душе и грозившим в одно мгновение обратить его в прах» [1].

Мне представляется в данном случае допустимой и уместной параллель с земляком Гоголя и во многом его предшественником Григорием Саввичем Сковородой. Странствующий философ также не был женат, среди его друзей, знакомых, корреспондентов нет вообще ни одной женщины, в сочинениях — и намека на традиционную тему любви. Существует лишь ничем не подтверждаемая легенда о его сватовстве и побеге из-под венца (вариант Подколесина из гоголевской «Женитьбы»?).

По-видимому, объяснение подобному феномену следует искать в характерных чертах особого типа гениальной творческой личности, чья жизненная, и в том числе сексуальная, энергия целиком, без остатка сублимируется в научной или художественной деятельности. Этот тип находится на противоположном психофизиологическом полюсе по сравнению с такими универсальными личностями, как, скажем, Пушкин или Гете, для которых перманентные, к тому же бурные сексуальные переживания были не только не помехой, а, напротив, одним из важнейших импульсов творческой активности. Мы сделали бы ошибку, если бы, сопоставляя оба типа, отдали какому-либо из них предпочтение перед другим: достаточно вспомнить, что первый, «сублимирующийся», тип мог бы быть представлен такими, например, личностями, как Леонардо да Винчи, а в поэзии — с известными оговорками — Шевченко, у которого, за исключением отдельных стихотворений, по сути нет любовной лирики в собственном значении этого понятия. Черты этого типа в той или иной мере видятся мне в творческом облике Шостаковича, Тычины, Твардовского, хотя, разумеется, каждый из этих художников имел сугубо индивидуальную личную судьбу. О Гоголе не приходится

---

[1] Брюсов Валерий. Испепеленный, с. 33.

и говорить — он в этом отношении являет собой один из самых типичных примеров.

...«Чувствую, что начинаю говорить вещи, может быть, не совсем приходящиеся кстати...» — как бы одергивает себя Гоголь в главе «Что такое губернаторша» (VIII, 319). Нечто похожее вдруг почувствовал и я: эка, куда меня занесло от «Выбранных мест...», от калужской губернаторши! Однако подумалось: а так ли уж далеко занесло?..

III

«Не стыдно ли вам, Николай Васильевич, что вы меня совсем оставили...»—мягко упрекает писателя Смирнова в одном из писем декабря 1844 года. А чуть раньше, в ноябре, она писала: «Отчего вы, мой сладкий соловей, замолкли? Мне ваши слова нужны, очень нужны» [1].

Ответом послужило письмо Гоголя от 24 декабря, в котором он объясняет свое продолжительное молчание тем, что много работы и «время до того занято, что и схандрить даже некогда (XII, 411). Письмо пространно; о чем только не говорит здесь автор: о своей готовности быть полезным советами тому, кто в течение целого года будет подробно писать ему о себе, не ожидая ответа; об умении любить не только того, кто нравится, но и того, кто не вызывает симпатии; о воспитании близкого человека в соответствии с христианскими нравственными законами; о том, чего и как именно надо просить у Бога; о петербургском обществе, от которого Смирновой не следует отгораживаться; о своей двойственной национальной природе... Словом, это одно из тех гоголевских писем, которые Белинский иронически и, надо признать, не без оснований относил к «истинным перлам по советодательной части» [2].

Я бы хотел привлечь здесь внимание читателя лишь к тем советам Гоголя, которые касаются отношений Смирновой с мужем, которые далеки были от идеальных. Гоголь, причем уже не впервые (об этом он писал и в письме от 24 октября того же года), напоминает Александре Осиповне о необходимости уделять мужу больше внимания, не смотреть на него «свысока», всячески избегать «изъяснений» и «взаимных недоразумений». Главное же, что советует он своей корреспондентке, заключается в том, чтобы она поглубже вникала в дела мужа, «напутствовала» его и тем самым помогала ему «совершить даже с до-

---

[1] Русская старина, 1890, № 12, с. 656; 1888, № 10, с. 135, 140.

[2] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 230.

стоинством, как говорят в свете, свою карьеру» (XII, 413—414). Гоголь пытается регламентировать даже супружеские отношения: «Старайтесь, чтобы у вас свидания были в одно и то же время и никак не более вами же назначенного времени, чтобы беседа и разговор в это время всегда были бы у вас о деле, а не о чем другом, чтобы и рот не раскрывался без дела» (XII, 413).

Почти дословное повторение этого совета находим в «Выбранных местах...», в главе «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России». «Не оставайтесь поутру с вашим мужем... — пишет автор «Переписки». — Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказать друг другу и не попотчевал бы один другого зевотой» (VIII, 340).

Заметим, однако, что речь идет о муже, которого следует «гнать» на должность, в департамент (VIII, 340). К. Н. Смирнову такая характеристика никак не могла относиться, ибо к 1846-му году он давно уже был губернатором. Скорее в образе слабохарактерного, нерадивого мужа можно узнать некоторые черты В. Соллогуба, о которых с горечью пишет Гоголь в письме к Смирновой от 24 сентября 1844 года. У этого письма, помимо Александры Осиповны, есть и второй, так сказать, косвенный адресат — Софья Михайловна Соллогуб, о здоровье и душевном состоянии которой Гоголь проявляет трогательную заботу. Он просит Смирнову помочь Софье Михайловне в ее житейских делах, прежде всего касающихся денег и мужа, который, как известно, не отличался примерным поведением. «Между прочим, не очень полагайтесь, что Соллогуб теперь не кутит и ведет себя хорошо... Нужно, чтобы все знакомые и приятели его нападали на него теперь же с этой стороны, чтобы он хоть сколько-нибудь вошел бы в колею свою и не был бы похож на осла, который, хотя и идет в своей колее, но однако ж не пропустит, чтобы не засунуть свою морду во всякую телегу с сеном, переезжающую через дорогу» (XII, 346—347). Впрочем, в книге мы подобных характеристик не обнаружим, так что о полном совпадении двух образов говорить нет оснований.

Вероятно, правильным будет вывод, что оба упомянутых письма к Смирновой, особенно сентябрьское, в той или иной степени дали импульсы для написания главы «Чем может быть жена...» и вместе с тем ни одно из них (ни взятые вместе) не адекватны этой главе. И дело не только в фактических несоответствиях. Важнее то, что содержание и смысл главы шире, значительнее, нежели письма. Мы сталкиваемся с явлением аналогичным тому, о котором говорили, рассматривали письмо «Жен-

щина в свете». Писатель исходит из конкретного житейского материала, но он его свободно трансформирует, сглаживает или вовсе обходит сугубо личные моменты. Отталкиваясь от этого материала, он создает литературное произведение, в котором обращается не к определенному адресату, а к широкому читателю, претендует на советы и наставления, имеющие, по его мнению, общественное значение.

Если, как мы договорились ранее, рассматривать «женские» главы как относительно автономную подсистему в общей системе (или «бисистеме») книги, то безадресное письмо «Чем может быть жена...» выступает в качестве необходимого компонента этого триединства. Вырисовывается некая достаточно стройная и логичная иерархия смысловых уровней: сначала — женщина в «свете», в обществе, трактуемом широко, как своего рода синоним жизни вообще; затем — женщина в конкретных условиях губернии, города и в четко определенной функции «первой дамы»; наконец — женщина в «домашнем быту».

Нет нужды подробно пересказывать все советы, содержащиеся в главе «Чем может быть жена...», их много, и они весьма подробны. Как женщине следует взять на себя «всю хозяйственную часть дома», весь «приход и расход». Как разделить все деньги «на семь почти равных куч» со строгим назначением каждой «кучи» и жесточайшим запретом самой себе занимать деньги «из одной кучи в другую». Как просить Бога «об упрямстве», чтобы удержаться от лишних трат не только на званые обеды или покупки в модном магазине мадам Сихлер, но даже на помощь бедным сверх того, что специально отложено в «седьмую кучу». Как суметь держаться этого порядка «строго в продолжение целого года», после чего «невольно установится порядок и во всем прочем» — и в деле вещественном, и в душевном. Наконец, как наладить и отрегулировать отношения с мужем, чтобы стать действительной его помощницей, «истинным возбудителем на все прекрасное» (VIII, 338—341)...

Критики, даже доброжелательные, комментируя письмо «Чем может быть жена...», не могли удержаться от издевки по поводу денежных «куч». Белинский едко заметил, что содержание письма, автор которого «учит мужа и жену жить по-супружески», — «это чудо, прелесть, еще ничего не являлось подобного на русском языке» [1]. Что тут скажешь... Отвести эту критическую стрелу я, признаться, не берусь.

Трагикомизм ситуации, горький парадокс заключаются в том, что премудростям супружеской жизни учит закоренелый и безнадежный холостяк, бобыль, «байбак», как сказал бы о нем его же персонаж, Кочкарев. Тот, кто сам никогда не имел ни

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 230.

кола, ни двора — ничего, кроме тощего дорожного чемодана, у кого вся сознательная жизнь прошла в мучительных заботах о деньгах, которых всегда не хватало, а то и вовсе не было, преподает правила рачительного хозяйствования, рационального распределения семейного бюджета.

Последнее обстоятельство, надо сказать, имеет глубокие психологические корни. С юных лет и до зрелого возраста Гоголь в душе был убежден, что в нем скрыты большие способности к хозяйствованию и лишь неблагоприятные внешние обстоятельства мешают им раскрыться в полную силу. «...Я родился быть хозяином, — писал он Плетневу в декабре 1846 года, — и даже всегда чувствовал любовь к хозяйству, и даже, невидимо от всех, приобретал весьма многие качества хозяйственные...» Долгое время, объясняет он, было ему не до житейских забот, следовало «поработать внутренно над тем хозяйством, которое прежде всего должен устроить человек», но теперь (это пишется вскоре после завершения работы над «Выбранными местами...».—*Ю. Б.*) могу приняться и за житейские заботы и, может быть, с таким успехом займусь ими, что даже изумишься...» (XIII, 159).

Правда, иногда рождались сомнения. «...Мы с тобой, как сам знаешь, тоже небольшие экономы», — замечает Гоголь в письме к Данилевскому, посетовав на «неутешительные» новости из Васильевки (XI, 225). Да и в одном из писем к матери (от 12 марта 1839 года) он честно признается, что «тоже не рожден был хозяином» (XI, 207).

Но это сомнения минутные. Именно в письмах к матери, и еще к сестрам, Гоголь дает волю своим «качествам хозяйственным», вникая во все мелочи — от глины, годной для черепицы, до цен на ярмарке, от посадки молодых деревьев до технологии намачивания семян и выбора места для огорода, не скупясь на критические замечания и советы «дражайшей маменьке» и поучения сестрам.

Гимназистом, из Нежина, он уже просит мать, Марию Ивановну, написать ему «что-нибудь об хозяйственных делах». «Я теперь сделался большим хозяином, умею различать хлеба и на каникулах покажу вам, где сено, овес, жито и прочее, и могу даже целый час спорить с житными панами о посеве озимой гречихи». И тут же вопросы: «...Продолжается ли у нас теперь постройка дома? работают ли в саду? курится ли винокурня? Эти известия для меня весьма любопытны» (X, 66). Строительными делами Гоголь озабочен и в Петербурге: получив из Васильевки «снятый плотником» план, он в длинном письме доказывает его негодность и прилагает свой план с подробнейшим описанием фасада, крыльца с колоннами «дорического ордена», рисунки окон и стеклянных дверей, которые «будут иметь готический вид:

это нынче всеобщий вкус»; предусматривается также переделка буфетной в комнату для приезжих гостей: «Если же в девичьей будет тесно рабочим, то могут переходить туда во время свободное от постою. Там постоянно может производиться тканье ковра или тому подобное» (X, 163—165) [1].

С годами «хозяйственные» письма в Васильевку становятся все более основательными, автор их реже останавливается на мелочах, но сосредоточивается на более масштабных вопросах, причем чем дальше, тем заметнее становятся менторские интонации. После очередной неудачи Марии Ивановны (которой, прямо скажем, далековато было до Костанжогло) с кожевенной фабрикой Гоголь довольно строго просит прислать ему «подробный счет издержкам, расходам и доходам по этому делу: когда именно и что куплено, какие именно вещи и когда были сделаны, что из них продано, кем и по каким ценам» (X, 329—330). Похожее и в другом письме: «В хозяйстве и желание и ревность не значат столько, сколько аккуратность и порядок: они одни только могут помочь свести концы с концами, и потому прежде всего пришлите мне небольшой счет, из которого бы я мог видеть, сколько кому назначено и уплачено вами, сколько осталось и на что намерены вы употребить их» (XI, 36). «Я намерен не шутя приняться за хозяйство...» (X, 360), — обещает он накануне своего приезда на лето 1835 года в Васильевку, чтобы вскоре на долгие годы отправиться за границу... [2]

Особый простор учительским устремлениям старшего брата предоставляют письма к сестрам. То он советует им в конце каждого месяца составить «из себя комитет», чтобы взвесить «всякую издержку... сравнительно одну к другой...» (XIII, 56). То пытается всячески поощрить хозяйственные наклонности сестры Ольги, намекая, что ей предстоит стать «полной правительницей и распорядительницей» имения (XII, 57). То корит всех сестер за то, что они заняты каждая собой и не желают выезжать в поле, смотреть на посевы и полевые работы.

Я счел полезным столь подробно остановиться на житейских и хозяйственных наставлениях Гоголя матери и сестрам по той причине, что вижу в них один из истоков, исподволь питавших главу «Чем может быть жена...»; на это до сих пор, насколь-

[1] Забавно, что иной доверчивый газетный репортер, движимый, разумеется, искренним пиететом, но еще и слабым знанием предмета, готов вполне серьезно расценить подобные советы как свидетельство того, что Гоголь «был не только великим писателем, но и рачительным хозяином» (см.: Правда, 1 апреля, 1989 г.).

[2] Подробнее взаимоотношения Гоголя с матерью рассматриваются в статьях Н. А. Белозерской «Мария Ивановна Гоголь» (Русская старина, 1887, № 11) и Н. А. Трахимовского «Мария Ивановна Гоголь. По поводу статьи Н. А. Белозерской» (Русская старина, 1888, № 7), к которым может обратиться интересующийся читатель.

ко я припоминаю, не обращалось внимание. Между тем переписка с родными, в первую очередь с матерью, это тоже составная часть «женской» темы у Гоголя, она открывает нам важную и своеобразную грань внутреннего мира писателя, его духовного облика.

Есть еще один фактор, имеющий несомненное отношение к главе «Чем может быть жена...». Это — «Домострой», сочинение середины XVI века, авторство которого (точнее, второй его редакции) связывают с именем протопопа Сильвестра, входившего в близкий к царю Ивану Грозному круг.

Принято оценивать этот памятник древнерусской литературы как выражение консервативных, патриархальных тенденций в тогдашней интеллектуальной и нравственной жизни. Не пытаясь оспаривать эту конкретную характеристику, я хотел бы лишь предупредить, что в принципе считаю необходимым уточнить сложившуюся у нас трактовку таких понятий, как «консервативный» и, в особенности, «патриархальный»; свою точку зрения на сей счет я изложу в дальнейшем.

Что касается «Домостроя» в связи с нашей теперешней темой, то Гоголь, разумеется, не случайно посылал его Смирновой в Калугу, причем «свой экземпляр» (XIV, 140); вне всякого сомнения, он сам прежде знакомился с этим сочинением и высоко оценивал его. Еще раньше в письме к А. Вьельгорской он относит «Домострой» к числу тех книг из русской истории, которые «больше всего знакомят с тем, что есть лучшего в русском человеке». Здесь, по его словам, «как по развалинам Помпеи древний мир, обнаруживается с подробнейшею подробностью вся древняя жизнь России. Является... частный семейный быт, и в нем жизнь, освещенная тем светом, которым она должна освещаться». Вспоминая евангельскую притчу о житейски практичной Марфе и восторженно-созерцательной Марии, с которыми Иисус встретился в Вифании (см.: Лука, 10; Иоанн, 11, 12), Гоголь склонен видеть в сочинении Сильвестра «соединенье Марфы и Марии вместе», более того, подчинение Марфы сестре, «хозяйства земного» — «хозяйству небесному» (XIV, 110).

Между прочим, в гоголевской апологии древнерусской жизни обнаруживаются точки соприкосновения с некоторыми идеями публициста екатерининской эпохи князя М. Щербатова. В памфлете «О повреждении нравов в России» Щербатов доказывает, что «пороки начали вкрадываться в души наши» после того, как произошла «нужная, но, может быть, излишняя перемена Петром Великим» и рисует петровскую и послепетровскую историю как «историю правлений и пороков» [1]. Герцен, издавая за границей в 1858 году «О повреждении нравов в России» и

---

[1] Князь Щербатов и А. Радищев. Лондон, 1858, с. 16.

отмечая ее явственно выраженную консервативную направленность (Щербатова и Радищева он называет «печальными часовыми у двух разных дверей»), подчеркивает вместе с тем искренность и честность автора. «...Всякому честному человеку должна была древняя Русь показаться чистой и доблестной в сравнении с... бесстыдным развратом, с... переходом Руси допетровской в новую Русь — через публичный дом»[1]. Впрочем, это сочинение Щербатова, как и другие, например, интереснейшее «Путешествие в землю Офирскую», и в его-то пору известное лишь узкому кругу ближайших друзей, вряд ли было знакомо Гоголю; это, правда, отнюдь не исключает возможности типологических сопоставлений, однако такой анализ выходит за рамки нашей темы.

Нет сомнений, что впечатления от знакомства Гоголя с «Домостроем», с содержащимися в нем религиозными наставлениями и наставлениями о «мирском строении», то есть касающимися семейных отношений[2], сказались на главе «Чем может быть жена...», предопределив и ее нравоучительную, строго регламентирующую направленность, и черты воссоздаваемого в ней идеального уклада семейной жизни.

Поиск и утверждение этого идеала в «Домострое» носит по внешности наступательный, уверенный, едва ли не агрессивный характер. Но за этой воинственностью угадываются нотки некоторой растерянности перед происходящим вокруг «шатанием обычаев», «нестроением», чувствуется неумение понять причины этих явлений и, главное, найти действенные способы противостояния им. Отсюда — налет утопичности, фатализма, свойственный наставлениям и правилам «Домостроя», как, впрочем, любому регламентирующему живую жизнь документу. Эту особенность объективно перенимает и автор письма «Чем может быть жена...». Он предупреждает свою корреспондентку: «...Положенье ваше не только не блаженно, но даже опасно» и тут же требует: «...Действуйте в продолженье целого года так, как я вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это» (VIII, 338). Далее: «Крепитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно». И вновь: «Крепитесь, молитесь и просите Бога беспрерывно...» (VIII, 340—341).

Тревога перед непостижимой, неведомой, коварной разрушительной силой, надвигающейся на жизнь и на человека, пронизывает финальную часть главы. Тревога, в которой почти апокалиптический страх причудливым образом сливается с трезвым и жестким анализом чреватых серьезной опасностью тенденций

---

[1] Князь Щербатов и А. Радищев. Лондон, 1858, с. V, XI—XII.

[2] См.: «Домострой» по Коншинскому списку и подобным. К изданию приготовил А. Орлов. М., 1908.

современности. «Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле». Не станем приписывать Гоголю понимание свободы, которое утверждали те его современники, которые верили исключительно в революционный путь к ней. Свобода, о которой говорит Гоголь, — другого рода, и «истинный смысл» ее раскрывается не через обстоятельства, лежащие вне человека, а через него самого. «Эту свободу один мой приятель, который вами лично не знаем, но которого, однако же, знает вся Россия, определяет так: «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: *да,* но в том, чтобы уметь сказать им: *нет.* Он прав, как сама правда» (VIII, 341). Конечно, это не полная, не вся правда, это часть ее, и многим, очень многим радикальным читателям казалось тогда, что часть не существенная, даже не второстепенная, и они яростно корили писателя за то, что он уклоняется от непримиримого отрицания внешних сил, а учит человека говорить «нет» прежде всего «самому себе». Но дальнейший ход исторического развития в России показал и продолжает свидетельствовать со все большей ясностью, что без этой «частички» правды, без нравственного ее аспекта и сама правда не только оказывается неполной, ущербной, иллюзорной, но способна перерождаться в свою противоположность.

Где же, в чем же ищет свою правду Гоголь? И здесь, как в предыдущих двух письмах, он возлагает надежду на женщину, резко расходясь, кстати, в этом вопросе с «Домостроем», признававшим лишь полное главенство мужа всегда и во всем. Но что делать — «Нигде я не вижу мужа». Как быть теперь, когда все стало «так... чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель» (VII, 341). Как ни велик разброд и разлад жизни «при нынешнем порядке вещей в России», как ни страшно оцепенение души, «женщина скорей способна очнуться и двинуться» (VIII, 337). Это предсказание Гоголя пока не сбылось, но и сегодня (а быть может, сегодня особенно) нам нужна его благородная, пусть и чуть наивная надежда.



СТРАХИ, УЖАСЫ И НАДЕЖДЫ РОССИИ

Скажи кто-нибудь Белинскому, что некоторые мысли, высказанные им в известном зальцбруннском письме, будут перекликаться с тем, о чем — не менее резко! — вскоре напишет Гоголю Константин Аксаков, да и вообще давно уже поговаривали славянофилы, критик был бы неприятно удивлен, пожалуй, даже шокирован. Между тем это именно так.

Еще в 1840 году, провожая Гоголя за границу, его московские друзья недоумевали, почему писателю «надобно удалиться в Рим, чтоб писать об России»; как признается С. Аксаков, им «казалось, что Гоголь не довольно любит Россию...» [1]. Перед самым выходом «Выбранных мест...» Шевырев, как бы предчувствуя недоброе, с тревогой и едва скрытым упреком спрашивает Гоголя в письме: «...Можно ли узнавать Россию, живучи все так далеко от нее?» [2]

Не столь деликатен К. Аксаков. В энергичных выражениях критикуя книгу и в целом оценивая ее как «ложь», он пишет автору: «Не вы ли, в ложном мудровании, бросили свою землю, бежали из России и шесть лет были вне ее, не дышали ее святым, нравственным воздухом? Не вы ли, беглец родной земли, жили на Западе и вдыхали в себя его тлетворные испарения? ...Книгу вашу считаю я полным выражением всего зла, охватившего вас на Западе. Вы имели дело с Западом, с этим воплощенным лгуном, и ложь его проникла в вас» [3].

Понятно, у Белинского в помине нет «тлетворного» Запада и «святого» русского воздуха, но смысл одного из главных упреков писателю очень близок аксаковскому: «...Вы столько уже привыкли смотреть на Россию из Вашего *прекрасного да-*

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 187.

[2] Письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю.— Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1893 год, прилож., с. 27.

[3] Русский архив, 1890, № 1, с. 154—155.

лека...»[1]. Этот смысл слишком ясен: Гоголь не знает и не любит России, он давно оторвался от нее, не видит реальной русской жизни, не понимает, что́ России нужно, каким путем ей идти, не там ищет этот путь.

Крайности сошлись, сошлись на Гоголе — так уж, видно, было ему на роду написано...

Возникает желание, даже необходимость вспомнить, при каких обстоятельствах писатель покидал Россию.

В мае 1836 года в письме к Погодину он рассказывает о своем потрясении тем, как принят «Ревизор», в том числе людьми, «которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере русский свет, называет образованными». Отворачиваются и сердятся плуты, узнающие в персонажах самих себя, — ладно; бранятся «неприятели литературные, продажные таланты» — пусть; но негодуют и «люди государственные... опытные люди», «люди просвещенные». «Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы?» Автора «Ревизора» объявляли «зажигателем», «бунтовщиком», обвиняли в том, что он занимается «подрывом государственной машины». «Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель». Гоголь объясняет, что ему надо «разгулять свою тоску», главное же, «обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения...» Уже здесь звучит мотив, который с годами будет встречаться у писателя все чаще, — мотив высшей предопределенности его решения: «...Я чувствую, что не земная воля направляет путь мой» (XI, 45—46).

Это прощальное письмо. 6 июня Гоголь уехал за границу. Хотя он и обещал матери, что «путешествие... займет год или полтора года» (XI, 42), вряд ли уже тогда сам верил, что вернется ранее, чем через несколько лет. Всего месяц спустя Гоголь пишет Жуковскому из Гамбурга: «...Ни за что на свете не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле» (XI, 49).

Что это значит? Не подтверждается ли справедливость жестких упреков в «бегстве» из России?

Вновь перечитаем письмо из Гамбурга. Вот что следует за словами о «чужой земле»: «И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее» (XI, 49). Мысли, труды... Значит, все-таки не просто разгулять тоску едет Гоголь. Вспомним, еще в октябре 1835 года он сообщал Пушкину, что пишет «Мертвые души», остановился на третьей главе и что это будет «предлин-

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 282.

ный роман», в котором ему хочется «показать хотя с одного боку всю Русь» (X, 375). Но — увлекся «Ревизором». Теперь же все, связанное с комедией, было позади, по крайней мере так казалось тогда, и Гоголь возвращается к «Мертвым душам», отчетливо осознавая, что это главное его дело, главный долг перед Россией. «Для меня нет жизни вне моей жизни, — говорит он все в том же письме к Жуковскому.— И нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем же Великим Провидением, ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни» (XI, 49).

Целая «коллекция гадких рож» все еще жила в памяти и долго будет жить до тех пор, пока не перекочует на страницы «Мертвых душ». «...Но в сердце моем Русь, не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь...» (XI, 60). Через несколько лет он напишет Шевыреву из Рима, благословенного, любимого Рима, что глаза его «смотрят только в Россию и нет меры любви моей к ней...» (XII, 148).

Друзья, которым, как мы помним, казалось, что Гоголь «не довольно любит Россию», уговаривали вернуться. В марте 1837 года Гоголь пишет письмо Погодину, которое воспринимается как ответ не только последнему и другим московским друзьям, но как бы и будущим критикам «Выбранных мест...». Потому стоит на нем задержаться.

Судя по ответу Гоголя, Погодин в своем письме (оно нам не известно), говорил о том, какое впечатление произвела на общество гибель Пушкина, и, вполне возможно, именно этой тяжелой утратой мотивировал настоятельную просьбу о возвращении Гоголя в Россию. Для чего? — спрашивает Гоголь. «...Не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине!.. Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд?» Некто иной, как они, все эти судьи, меценаты, умники, «благородное наше аристократство», заставили его решиться на то, к чему не лежала душа, — уехать. «Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли! Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему... Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный!» (XI, 91—92).

Кроме всего этого, учтем еще некоторые обстоятельства. Прежде всего — физическое состояние Гоголя, с годами участившиеся и усилившиеся приступы чудовищной слабости, нервического расстройства, хандры, потребность в теплом климате и лечении водами. На это ссылаются, кстати, прося о «вспоможе-

нии» писателю, Смирнова в своем обращении к великой княгине Марии Николаевне и Плетнев в письме к министру просвещения С. Уварову в 1845 году[1]. Даже в первой половине 30-х годов, когда Гоголь был еще совсем молод, в письмах к матери он не раз жалуется на петербургский климат, позднее же существование в северной столице стало для него просто непереносимым. «...При мысли о Петербурге, — пишет он из Рима М. Балабиной в ноябре 1838 года, — мороз проходит по моей коже, и кожа моя проникается насквозь страшною сыростью и туманною атмосферою...» (XI, 181). Это тем более надо иметь в виду, говоря о двух других его отъездах за границу — в 1840 и затем 1842 годах. В последнем случае к болезни прибавилась цензурная встряска с «Мертвыми душами», издевательства «цензоров-азиатцев» и «цензоров-европейцев», в драматических тонах описанные Гоголем в письме к Плетневу от 7 января 1842 года; на сей раз отлучка продлилась целых шесть лет.

Был, наконец, и момент, связанный с индивидуальными особенностями художнической психики, которые обыденному сознанию представляются подчас капризом, нелепой прихотью. Московские друзья Гоголя не могли взять в толк: ехать в Рим, чтобы писать о России? Они искали и не находили логического, однозначного объяснения этому парадоксу. Да только существовало ли оно, такое объяснение? Позднее, уже в конце жизни, сам писатель в «Авторской исповеди» попытается дать ответ. Вспоминая о первом своем кратковременном заграничном путешествии, «проект и цель» которого «были очень неясны», он пишет: «Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее». С тех пор он не помышлял об отъезде, «покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорченья и наконец потребность большего уединения не заставили меня оставить Россию» (VIII, 450—451). Эти признания опубликованы после смерти писателя, но, боюсь, будь «Авторская исповедь» известна скептикам и раньше, она бы вряд ли рассеяла их сомнения.

Не понимал Гоголя в этом вопросе и Белинский, о чем свидетельствует его язвительная реплика насчет «прекрасного далека», из которого, дескать, писатель привык смотреть на Россию. Критиком использованы два гоголевских слова из XI главы «Мертвых душ», но ка́к использованы! Изъяты из контекста, дабы проиллюстрировать отчужденность писателя от русской жиз-

---

[1] См.: Литературный музеум. (Цензурные материалы 1-го отд. IV секции Государственного Архивного Фонда). Петербург, 1919, с. 60—70, 73.

ни, от ее болей и бед. А каков же контекст? Читателю придется смириться с длинной цитатой, она необходима.

Гоголь прерывает повествование об отъезде Чичикова из губернского города NN лирическим обращением: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?»

Попыткой постичь эту связь, ответить на вопросы, на которые «не дает ответа» Бог весть куда несущаяся Русь-тройка, и стали «Выбранные места из переписки с друзьями». В полной ли мере удавшейся попыткой — дело другое, но лишь предвзятостью или опрометчивостью можно объяснить мнение, согласно которому Гоголь будто бы не замечал, не понимал, не принимал близко к сердцу «страхов и ужасов России». Случайно ли, что именно последние слова дали название одному из писем, помещенных в книге, стали своего рода камертоном, определившим звучание критической ноты, пронизывающей «Переписку»?

Предвзятость и опрометчивость, так сказал я, но следовало бы добавить и еще одну черту — ученый педантизм, дающий себя знать, между прочим, порою у вполне почтенных авторов.

В книге В. Гиппиуса «Гоголь» (есть в ней страницы, которые и сегодня, несколько десятилетий спустя, читаешь с интересом и пользой) глава, посвященная разбору «Выбранных мест...», называется «Третья идиллия». Что кроется за этой формулой?

Дело в том, что одним из, так сказать, несущих элементов концептуального «сюжета» исследования выступает схема, согласно которой в творческой эволюции Гоголя вычленяется три «идиллии». Первая из них, что, кстати, соответствует замыслу самого писателя, — «Ганц Кюхельгартен». Второй идиллией

В. Гиппиус считает повесть «Старосветские помещики». Эта версия менее убедительна, однако я не стану подробно ее рассматривать, в данном случае хочу обратить внимание на исходные теоретические критерии исследователя. В качестве причины «двойственности» ранних гоголевских произведений, в том числе «Ганца Кюхельгартена», В. Гиппиус называет *«отталкивание* индивидуалиста от традиционной социально-бытовой почвы с *притяжением* к той же почве». С таких же узкосоциологических позиций судит критик и о «Старосветских помещиках»: изображение «благоденствия помещиков» ...«радужные краски» в обрисовке «мелкопоместного быта» ...«сочувствие... ко всему старосветскому укладу жизни»...[1].

Третий элемент в конструкции В. Гиппиуса, «третья идиллия» — это гоголевская «Переписка». Приведу цитату: «Гоголь в первых двух своих идиллиях обнаруживал бессознательное тяготение к тому миру существователей, который сам осмеивал, и в этом сказалась его крепкая социальная связь с воспитавшей его средой... Теперь Гоголь создает свою третью идиллию, рисует идиллическую домашнюю, социальную и политическую жизнь морально-преображенных людей»[2].

Так ли это? Действительно ли идиллической, радужной, или, как сказали бы в более поздние времена, бесконфликтной, предстает русская жизнь в «Выбранных местах...»?

22 октября 1846 года Гоголь наскоро, перед самым отъездом из Германии в Италию, пишет графине Л. Вьельгорской и ее дочерям небольшое письмецо, почти записку, где упоминает о получении им от старшей графини какого-то «длинного письма, исполненного гнева на современный порядок вещей», за которое в скобках обещает ее «побранить» (XII, 115). Свое полушутливое обещание писатель выполняет в письме, под названием «Страхи и ужасы России», включенном им затем в «Выбранные места...».

Словно продолжая свою мысль, Гоголь объясняет здесь, почему на «длинное письмо» графини, которое она просила «сей же час истребить после прочтения», отвечать же на него «не иначе, как через верные руки, а отнюдь не по почте», — почему на это письмо он решает ответить «не только не по секрету, но, как вы видите, в печатной книге, которую, может быть, прочтет половина грамотной России». «То, что вы мне объявляете по секрету, — говорит Гоголь, — есть еще не более как одна часть всего дела; а вот если бы я вам рассказал то, что я знаю (а знаю я, без всякого сомнения, далеко еще не всё), тогда бы,

---

[1] Гиппиус Василий. Гоголь. Л., 1924, с. 83—85.
[2] Там же, с. 176.

точно, помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, как бы убежать из России» (VIII, 343).

Таково начало гоголевского письма; процитировав его, я пока останавливаюсь, чтобы вернуться к нему позднее. Сейчас мне важно подчеркнуть другое — сам факт того, что Гоголь признает наличие в России «страхов и ужасов», что ему ведомо о русской жизни нечто такое, хотя и «далеко еще не всё», от чего у его корреспондента могли бы «помутиться мысли». Согласитесь, в любом случае, что бы ни имел в виду писатель, какие именно факты и процессы, какой современный порядок или беспорядок, сказанное им менее всего похоже на идиллию.

Может, правда, возникнуть сомнение вот такого рода. Откуда бы Гоголю знать эти «страхи и ужасы», эту изнанку — тем более с подробностями — российской действительности? Ведь столько лет проведено вдали от дома! А дома — что успел он повидать дома? Васильевка да Кибинцы, Полтава, Нежин да Миргород, затем Петербург, проездом Москва, да еще почтовые станции, иногда с задержками — в Подольске, например, десять часов ожидал лошадей, в Курске из-за неисправности экипажа просидел неделю... С. Венгеров скрупулезно подсчитывает: «Окончательный итог непосредственного изучения «России» (кавычки принадлежат критику. — *Ю. Б.*)... такой: 27 дней езды и 7 дней в Курске до появления «Ревизора» и 20 дней безостановочной езды в промежутке между «Ревизором» и «Мертвыми душами», всего 47...» [1].

Допустим. О чем это должно бы заставить задуматься? Разве не о том, что для разгадки поразительного феномена гоголевского творчества менее всего годятся сугубо количественные критерии, что постижение гениальным художником правды жизни находится отнюдь не в прямой зависимости от арифметической суммы показателей времени, затраченного на «изучение» действительности? Жаль, но С. Венгеров выносит приговор скорый и прямолинейный: «Гоголь совершенно не знал реальной русской жизни». Спрашивается, что же это за «незнание» такое, если его результатом были «Шинель» и «Записки сумасшедшего», «Ревизор» и «Мертвые души»?..

Другое дело, что сам Гоголь далеко не был удовлетворен своим знанием России, его размышления на эту тему часто весьма невеселые. В первые же годы пребывания за границей, когда еще свежа была обида на «дорогих» невежд-соотечественников и голова шла кругом от римских красот, он с горечью, почти с отчаянием жалуется Данилевскому: «С каждым годом, с каждым месяцем разрываются более и более узы, связывающие ме-

---

[1] Венгеров С. А. Собр. соч., т. II. СПб., 1913, с. 135.

ня с нашим холодным отечеством» (XI, 154). Позднее он подкупающе откровенно признается в письме к Плетневу, что «во всей России толкался немного с людьми» и потому «всегда почти не верен в том, где касался точных описаний местностей или нравов» (XII, 385). Со временем это преимущественно эмоциональное «самоедство» переходит в зрелое, осознанное намерение «много набрать знаний», «хорошо знать Россию», ибо «не будут живы мои образы, если я не состроюю их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его же тела взято» (XIII, 224). Собираясь в Россию, Гоголь благодарит С. Аксакова за приглашение погостить, но предупреждает: «...Я в Москве не думаю пробыть долго. Мне хочется заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная покуда загадка, и никто не может мне дать таких сведений, как бы я желал» (XIII, 375). Он намерен по возвращении на родину «непременно заглянуть в некоторые, хотя главные, углы России» (XIII, 393).

Словом, «нужно проездиться по России»...

Глава под таким названием, включенная в «Выбранные места...», имеет подзаголовок «Из письма к гр. А. П. Т...му», то есть к графу Александру Петровичу Толстому, однако временами, и именно там, где речь идет о поездках по России, кажется, будто перед нами не советы другому человеку, а раздумья о самом себе. Поучения незаметно трансформируются в признания. Сквозь оболочку проповеди пробивается исповедальная нота. «Вы знали ее (Россию.— *Ю. Б.*), — обращается Гоголь к своему адресату, но за «вы» проглядывает «я», — назад тому десять лет: это теперь недостаточно... Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя,* нужно непременно по ней проездиться самому... Это особенно хорошо для того, кто побыл некоторое время от нее вдали и приехал с неотуманенной и свежей головою. Он увидит много того, чего не видит человек, находящийся в самом омуте, раздражительный и чувствительный к животрепещущим интересам минуты» (VIII, 303).

Задержим свое внимание на последней фразе. Нет, не затем писатель едет в дальние края, что «прекрасное далеко» прекрасно, а затем, что в этом «далеке» он как бы вырывается из «омута», в сознании его теряют остроту, тускнеют, отступают на десятый план «интересы минуты», и люди, события, процессы жизни предстают в своей подлинной, глубинной сути. Такова, мы уже отмечали, особенность художнического зрения и мышления Гоголя и, пожалуй, не его одного. Но еще и затем он должен ехать, что знание чужого, высвечивая общее и неповторимое, подобия и контрасты, тем самым помогает лучше узнать и понять свое, родное. Это и имел в виду Гоголь, когда писал Шевыреву: «...Из каждого угла Европы взор мой видит новые сто-

роны России и... в полный обхват ее обнять я могу только, может быть, тогда, когда огляну всю Европу» (XII, 146).

Разумеется, при этом Гоголь нуждается и в чисто эмпирическом знании, ему нужны источники фактов и сведений, живых наблюдений, подробностей быта, зарисовок повседневности — пусть беглых, непритязательных, но достоверных. Такие источники он ищет жадно, настойчиво, ищет и находит.

У нас издавна принято, говоря о позднем Гоголе, особенно Гоголе — авторе «Переписки», акцентировать его повышенный интерес к духовной литературе — житиям, святоотеческим книгам, богословским трудам, сочинениям по истории русской церкви. Вообще-то так и было, и об этом мы еще поговорим. Однако забывается другое: письма Гоголя к друзьям из-за границы полны просьб о присылке литературы, посвященной отечественной истории, статистике, этнографии, географии. Вот некоторые примеры. С. Аксакова он просит прислать с оказией книгу выдающегося русского статистика В. П. Андросова «Земледельческая статистика России» и к этому еще, «если есть какое-нибудь замечательное сочинение статистическое о России вообще или относительно частей ее, вышедшее в последних годах» (XII, 83), а также впервые изданное незадолго перед тем сочинение одаренного литератора и не менее талантливого авантюриста XVII века Г. К. Котошихина (Кошихина) «О России в царствование Алексея Михайловича». Н. Прокоповичу поручается раздобыть, как Гоголь ее называет, «Статистику России» Булгарина, в 4 частях, а «если вышла и География его, то и Географию его» (без сомнения, имеется в виду фундаментальный труд в шести частях Н. А. Иванова «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях», вышедший в 1837 году именем Ф. Булгарина, который попросту воспользовался тяжелейшим материальным положением молодого ученого, впоследствии профессора Казанского и Дерптского университетов); одновременно Гоголь просит купить для него карты — «Европейскую Россию особенно, а Азиатскую тоже особенно, разумеется, новейшие, какие и есть, с подробностями...» (XII, 166). Он интересуется записками известного путешественника Н. П. Рычкова, минералога, химика и путешественника В. М. Севергина, географа, картографа и статистика Н. И. Зуева, знакомится с сочинениями немецких ученых С. Г. Гмелина-младшего и П.-С. Палласа, путешествовавших по России. Ему необходимы «толстый том» материалов министерства внутренних дел и реестр дел, рассмотренных в сенате, а с другой стороны, чтобы «окунуться покрепче в коренной русский дух», он просит Языкова прислать в Неаполь, «во-первых, летописи Нестора, изданные Археографическою комиссиею... и, в pendant к ним, «Царские выходы»; во-вторых, «Народные праздники» Сне-

гирева и, в pendant к ним, «Русские в своих пословицах», его же»[1] (XIII, 191); с этой просьбой Гоголь обращается, после смерти Языкова, и к Шевыреву.

Другим важнейшим источником знаний о происходящем на родине была для Гоголя современная ему русская литература. Сказывались и элементы ностальгии; он так и писал из Остенде Жуковскому: «Никогда так не возрастала во мне охота к чтенью, и особенно русских книг, по причинам, которые все заключались в душе моей и которые вряд ли кто поймет» (XII, 334). Однако сводить все только к эмоциям не следует, была тут и сугубо деловая, практическая, даже, если угодно, прагматическая подоплека, о которой писатель говорит в письме к Языкову от 22 апреля 1846 года: «Мне бы теперь (заметим: это пишется в период интенсивной подготовки к работе над «Выбранными местами...».—*Ю. Б.*) сильно хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей. Они производят на меня всегда действие возбуждающее, несмотря на самую тягость болезненного состояния моего. В них же теперь проглядывает вещественная и духовная статистика Руси, а это мне очень нужно. Поэтому для меня имеют много цены даже и те повествования, которые кажутся другим слабыми и ничтожными относительно достоинства художественного» (XIII, 52).

Крупицы «вещественной и духовной статистики» России Гоголь стремится извлечь откуда только возможно, но особое значение придает письмам друзей и знакомых, не устает напоминать своим корреспондентам, чтобы те не ленились, не скупились на рассказы об окружающей их обстановке, людях, происходящих событиях, провинциальных нравах. От Данилевского он ждет пересказа уездных толков и пересудов, «беглых зарисовок» различных типов, представителей того или иного «сорта людей» («киевский лев», «чиновник-европеец», «чиновник-старовер» и т. п.), характеристики «ран и болезней» общества (XIII, 262); от свойственника Данилевского, черниговского помещика А. Марковича, историка и этнографа[2] — присылки сельского календаря «годовых работ, как они производятся у вас в Черниговской губернии» (XIV, 136); от Ю. Самарина — подробного описания его служебных занятий, структуры и функционирования бюрократического механизма; от А. Россета — живых примет характера «русского или полурусского человека», его *«гадости и достоинства»*. «Не могу вам даже и объяснить, — пишет

[1] Полное название книг И. М. Снегирева: «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837—1839) и «Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках» (М., 1831—1834).

[2] См. о нем: Лазаревский А. Один из приятелей Гоголя (А. М. Маркович).—В кн.: Памяти Гоголя. Киев, 1902, отд. V.

Гоголь Россету, — как все это меня возбуждает, как светит и подымает на деятельность дух. Жизнь ведь перед вами все-таки движется, и люди проходят какие бы то ни было. Покуда не вглядишься в них пристально, они, кажется, не стоят наблюдения, а как вглядишься — станет открываться с каждым днем больше и больше вещей, поражающих наблюдателя души человеческой» (XIII, 395).

Этот жадный интерес к душе человеческой, к русскому человеку продиктовал Гоголю кисло-сладко-вежливый отклик на письма Анненкова о Париже. Куда интереснее было бы, об этом он откровенно пишет автору, если бы тот, вместо того чтобы «дагорротипировать Париж, который русскому известен более всего прочего», взялся за записки о русских городах, начав хотя бы с Симбирска, и при этом всматривался бы во «всякого встречного человека» с не меньшим вниманием и пристальностью, чем всматривается в разные забавные вещицы «на мануфактурных и всяких выставках»; такой взгляд помог бы «разрешить самому себе, что такое нынешний русский человек во всех сословиях, на всех местах, начиная от высших и до низших...» (XIII, 363—364).

Смирнова едет губернаторшей в Калугу — и Гоголь буквально донимает ее просьбами, почти требованиями уведомлять его о всех «важнейших делах» мужа, «о всяком происшествии, как бы оно вам ничтожно ни показалось» (XIII, 32, 42), так что Александра Осиповна даже бунтует: «...Вы... требуете от меня род журнала»; «Вы меня приводите в затруднение вашими запросами; чтобы отвечать отчетливо, надобно писать целые томы...» [1]. Тем не менее Гоголь настаивает на своем. При этом он явно лукавит, ссылаясь на то, что максимально полная информация необходима якобы прежде всего «ради вас самих», ибо иначе он будет лишен возможности помочь советами.

Интересно, что подобные просьбы обнаруживаем не только в частных письмах к Смирновой, они занимают значительную часть главы «Что такое губернаторша». Зачем это нужно в книге?

«Вы сами говорите, — пишет здесь Гоголь, — что в небольшое время пребывания вашего в К*** узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь. Зачем же вы не поделились со мной вашими знаниями? Говорите, что не знаете даже, с которого конца начать, что куча сведений вами набрана в голову еще в беспорядке (N3 причина неудач). Я вам помогу их привести в порядок, но только выполните следующую за сим просьбу добросовестно, как только можно... Вы должны *ради меня* (подчеркнуто мною.— *Ю. Б.*) начать вновь рассмотрение ваше-

[1] Русская старина, 1890, № 7, с. 195, 202.

го губернского города» (VIII, 311). Писателя беспокоит, что со времени его отъезда за границу многое изменилось в России и он уже не знает ее, «как пять моих пальцев». Значительные перемены произошли, в частности, в системе управления на уровне губернии; некоторые современники и в первом томе «Мертвых душ» находили погрешности по этой части, теперь же — это Гоголь отчетливо осознает — «губерния и губернский город являются относительно многих сторон в другом виде». Он убедительно просит Смирнову ввести его в реальное положение дел, «не какое-нибудь *идеальное,* но *существенное,* чтобы я видел от мала до велика все, что вас окружает» (VIII, 311).

Далее следует длинный перечень того, что́ именно должна губернаторша «рассмотреть» в городе, дабы затем подробнейшим образом сообщить своему советчику. Тут и характеристика должностных обязанностей каждого («каждого»!) чиновника, и особенно внимательное изучение «всей женской половины» города, и описание какого-либо происшествия, характеризующего «людей или вообще дух губернии», и знакомство с архиереем, а также с простыми городскими священниками, и попытка очертить *«примерный образ»* («взять... *живьем»*) местного купца и мещанина... Почти каждое конкретное поручение Гоголь сопровождает напоминанием, что все увиденное, узнанное, подмеченное — «тот же час... на бумагу для меня», чем, дескать, «дадите мне средство впоследствии вам пригодиться» (VIII, 311—317).

Оговорки, подобные последней, критики, как, видимо, и Смирнова, привыкли воспринимать всерьез, видя в них исключительно проявление обуревавшего писателя советодательского зуда. Такой взгляд, кажется мне, упрощает проблему. Какая-то, хотя очень небольшая, доля правды в нем есть: Гоголь довольно высокого мнения о своем понимании людей и жизни, о накопленном им житейском опыте и потому считает, что «как ученик, кое в чем успевший больше другого», имеет моральное право помогать ближним «полегче выучивать уроки» (VIII, 465). И все же он слишком поглощен собственным творчеством, слишком подчинил ему все помыслы, чтобы безраздельно, не помышляя о своем писательском призвании и главной цели — завершении «Мертвых душ», отдаться «чистому» морализированию. Бог знает — обдуманно ли, подсознательно ли (я лично склоняюсь больше к первому объяснению и не вижу в нем ни малейшего повода для упрека по адресу Гоголя), но он настойчиво и последовательно «выуживает» из Смирновой то, что нужно ему для работы, необходимо как художнику. В «Губернаторше» и в частных письмах, составивших основу этой главы (прежде всего в письмах от 27 января и 6 июня 1846 года), в завуалированной форме, в жанре нравоучения, дружеского наставления проводится та же мысль, что и в предисловии ко второму изданию «Мерт-

вых душ». Там Гоголь обращается к читателю с просьбой «помочь мне» — замечаниями, поправками, а главное, «опытом и познанием жизни», бесхитростным рассказом обо всем, «что видел сам или что слышал от других подобного тому, что изображено в моей книге, или же противоположного тому...». Не потому ли он и оставляет в книге, в главе «Что такое губернаторша», подробные просьбы и рекомендации, что, адресуя их Смирновой, мысленно обращается ко всем читателям? И тем самым выходит за пределы узко личных взаимоотношений с адресатом, в область общественно значимую, каковой и было для него писательское дело.

Есть в этом вопросе еще одна сторона. Вчитываясь внимательно в советы Гоголя губернаторше, начинаешь замечать, что это не только и даже не столько советы, сколько раздумья самого писателя, его собственные наблюдения и оценки, сомнения и надежды, выношенные, выстраданные им мысли. По сути перед нами зеркально отраженная в советах и вопросах авторская публицистика, наброски к своего рода «губернским очеркам», причем, что важно подчеркнуть, критический заряд этой публицистики, степень ее аналитической направленности весьма высоки.

Конечно, можно посетовать: мол, все это лишь наброски, метко схваченные черточки, калейдоскоп деталей: ворох «бумажной переписки», сонм бесполезных «экономов, секретарей», «кража, бестолковщина», «обезьянство моды», погоня за «гадкой, скверной роскошью», по Гоголю, «источницей взяток, несправедливостей и мерзостей»; предание суду безымянного чиновника «по причине совершенных гадостей»; грубость нравов, «фанфаронство, щелкоперность поступков и всякие чересчур ловкие развязности», бытующие даже среди «избранных и лучших в городе» людей; наконец, наши собственные уши, которые мы «загромоздили... всяким хламом и даже просто заплевали их сами»... Какая-то плюшкинская «куча», цельной картины нет. Жаль, что автор ограничивается коротким, не очень понятным читателю упоминанием об уездном судье М***, восторженной похвалой по его адресу «за прямоту, благородство и честность», между тем как в письмах Смирновой содержится интересный рассказ о судье Мещовского уезда Клементьеве и тех гонениях, которым он подвергался за свою борьбу против злоупотреблений, чинимых местным чиновничеством.

Все так. Но, во-первых, нельзя не принимать во внимание жанр и замысел письма «Что такое губернаторша», особенности структуры его словесной ткани, в которой сложно, противоречиво сочетаются текст и подтекст, передний план и фон, внешняя оболочка и скрытый смысл. А во-вторых, само письмо следует рассматривать с учетом его внутренних связей с другими глава-

ми «Переписки», также содержащими резкие критические суждения о положении дел в «России нынешней». Это, к примеру, письма «Нужно любить Россию» и «Нужно проездиться по России», где речь идет о накопившихся во множестве «болезнях и страданиях»; о «криках на бесчинства, неправды и взятки», криках, выливающихся уже в «вопль всей земли» (VIII, 300), об углубляющихся противоречиях и разладе в русском обществе. «Всё перессорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силой на дружную работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать» (VIII, 304—305).

Отдадим должное проницательности цензуры, которая объединила эти три письма, подчеркнув тем самым их общую направленность и глубинную связь. В опубликованных Ю. Оксманом[1] выписках из журнала заседаний С.-Петербургского цензурного комитета, относящихся к 29 октября 1846 года, говорится, что рассмотрены «представленные на разрешение Комитета г. ценсором ст. сов. Никитенкой отрывки из писем к друзьям Гоголя: 1) Нужно любить Россию, 2) Нужно проездиться по России, 3) Что такое Губернаторша». Было отмечено, что автор отрывков «как будто считает себя уполномоченным» обращать внимание «на разные официальные и общественные беспорядки» и что «сочинение его (очевидно, что все три письма воспринимаются цензурой во взаимосвязанности, как некая целостность, единое сочинение.— *Ю. Б.*) уже не есть общая картина вещей, дозволенная нравоописателю и сатирику, а какое-то почти официальное изображение разных определенных сторон и случаев в нашем гражданском быту и по службе». Комитет определил все три отрывка «не дозволить к напечатанию».

Такая же судьба постигла главу «Занимающему важное место» — цензуру испугали критические обобщения Гоголя относительно злоупотреблений и неистребимых лихоимств. «...Россия, точно, несчастна... несчастна от грабительства и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой...» (VIII, 361).

Если мы вдобавок вспомним «Завещание», снедающую писателя тревогу по поводу «неразумной нашей торопливости во всех делах», гнетущее предчувствие неизбежных потрясений, тех «исполинских», ужасающих плодов нашей деятельности, «которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся» (VIII, 219, 221), и если мыслен-

---

[1] См.: Литературный музеум, с. 353.

но соберем воедино всю эту мозаику — апокалипсические прозрения, критические наброски, «горестные заметы», перед нами предстанет по-своему стройная система признаков глубокого кризиса, надвигающейся катастрофы, картина разорванности мира и общества, расколотости души человеческой. Это ли идиллия, это ли утопия? Не правомернее ли, напротив, говорить об *анти*идиллических, *анти*утопических мотивах и настроениях, пронизывающих книгу Гоголя? К этому вопросу мы вернемся чуть ниже, сейчас скажу только, что, на мой взгляд, «Переписка» — одна из первых русских антиутопий, в равной степени противостоящая как фальшивой радужности благонамеренно-рептильной беллетристики, так и экспансии позитивистских, утилитаристских тенденций, всякого рода учениям—заемным и отечественным — о «разумном эгоизме», диктате «среды», «царстве пользы» и проч. Антиутопические страницы гоголевской книги, как и вышедшие чуть раньше «Последнее самоубийство» и «Город без имени» В. Одоевского [1], предвосхищают будущие горькие (и, увы, далеко не во всем не сбывшиеся) пророчества Е. Замятина и А. Платонова [2].

Понять мироощущение Гоголя — автора «Выбранных мест...», точнее, одну, но крайне существенную грань этого мироощущения, помогает его отношение к поздней поэзии Пушкина, прежде всего к стихотворению «Странник», и само пушкинское произведение, разумеется. Последнее, заметим, будучи опубликовано лишь после смерти автора (а написано в июне или июле 1835 года), получило в критике неоднозначную оценку. Н. Огарева, например, оттолкнуло то, что он назвал поворотом Пушкина «перед концом... к глухому, мистическому полуотчаянию, полупророчеству» [3]. Белинский говорит о стихотворении в сдержанном тоне, отмечая, что «Странник» «есть целая поэма глубоко религиозного содержания, написанная библейским языком» [4]. Высоко отозвался о «грустной и восторженной музыке» этих «странных стихов» с их «религиозным мистицизмом» Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи [5].

[1] Достойное читательского внимания совпадение: как и «Выбранные места...», обе повести В. Одоевского вызвали недовольство Белинского. В статье «Сочинения князя В. Ф. Одоевского», в целом доброжелательной, критик сетует, что автор «Города без имени» чересчур «нападает на исключительно индустриальное и утилитарное направление», а что касается «Последнего самоубийства», то здесь, пишет он, «мысль о возможности смерти для обществ вследствие ложного направления слишком пугает автора» (Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7, с. 115). Время рассудило...

[2] См. об этом: Палиевский П. Непрошеный мир.—В кн.: Евгений Замятин. Мы. Олдос Хаксли. О дивный новый мир. М., 1989, с. 5.

[3] Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы. М., 1937, с. 330.

[4] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4, с. 434.

[5] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 26. М., 1984, с. 146.

Гоголь в главе «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», одной из центральных в «Переписке», рассматривает стихотворение «Странник» в контексте предсмертных духовных исканий Пушкина, когда нечто «замечательное» и новое «строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь». Отголоски «душевного состояния» поэта Гоголю «слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели...» (VIII, 385). Образцом высшего «строгого лиризма» называет Гоголь стихотворение «Странник», наряду с «Пророком», и в главе «О лиризме наших поэтов» (VIII, 249).

Несомненно, в известной, и немалой, мере пушкинское повествование о человеке, охваченном пророческим, провиденциальным экстазом, томимом бессильным отчаянием в предчувствии неотвратимых ужасов и катаклизмов, корреспондировало с собственным душевным состоянием Гоголя.

Однажды, странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»
. . . .
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я,—ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!»

Нельзя, конечно же, считать случайным и то, что Гоголя «восхитило», по его признанию, стихотворение Языкова «Землетрясение», размышлениям по поводу которого посвящены два письма к поэту, объединенные в главу «Предметы для лирического поэта в нынешнее время». У Гоголя возникают ассоциации с Ветхим Заветом (уместной, мне кажется, была бы и параллель с Откровением Иоанна Богослова), но едва ли не более важны для писателя, да и для нас подсказанные ему стихотворением мысли современные.

Когда-то, еще в 1834 году, анализируя «Последний день Помпеи» К. Брюллова, он расценил как главную заслугу художника присущее картине синтезирующее начало, противополагаемое «страшному раздроблению» века (VIII, 109). В том же духе, только еще определеннее, высказывается Гоголь теперь в связи

с языковским стихотворением. Образ грандиозной катастрофы, когда сотрясаются и «геллеспонтская пучина», и горы, «и царей палаты», дóлжно, говорит писатель, применить ко «всякому из нас, каково бы ни было его поприще... к самому себе в эту тяжелую годину всемирного землетрясенья, когда всё помутилось от страха за будущее» (VIII, 278).

Зачем, однако, это нужно «всякому из нас»? Что дают душе человека картины стихийных бедствий? Опустошают ли ее, угнетают или, напротив, делают мудрее, зорче, учат мужеству?

Над подобными вопросами задумывался, между прочим, и Герцен. В дневниковой записи от 22 сентября 1842 года он высочайшим образом, как и Гоголь, оценивает брюлловскую работу, но с некоторой растерянностью замечает при этом: «Странно, предмет ее переходит черту трагического, самая борьба невозможна. Дикая, необузданная Naturgewalt, с одной стороны, и безвыходно трагическая гибель всем предстоящим» [1].

Некоторые комментаторы полагают, что эта «характеристика близка восприятию Гоголя» [2]. Думаю, дело обстоит не совсем так, вернее — совсем не так. Восприятие и понимание Гоголем полотна Брюллова как раз противоположны герценовским. Герцен признается, что его воображение «мало дополняет» изображенное художником и он не видит «ту же гибель за рамами картины» [3]. Для Гоголя произведение Брюллова (как позднее и Языкова) — мощный импульс для воображения, для выходящих «за рамы» раздумий над «всемирным землетрясением», тотальной угрозой земле и человечеству. Герцен считает, что перед губительной силой беспомощны как «черноволосый Плиний», так и христианин, его вывод, вывод атеиста, один — безысходность. Иной ответ Гоголя: очищение, вера, надежда.

В том и заключается для него значение изображенного Языковым Страшного суда, что «встрепенется настоящее». «...В стихе твоем есть сила, и упрекающая и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Одних нужно поднять, других попрекнуть: поднять тех, которые смутились от страхов и бесчинств, их окружающих; попрекнуть тех, которые в святые минуты небесного гнева и страданий повсюдных дерзают предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликованья» (VIII, 278—279). Надо попрекнуть «сильным лирическим упреком умных, но унывших людей». Надо воззвать лирическим воззванием «к прекрасному, но дремлющему человеку». Надо опозорить (советуя Языкову набраться «духа библейского», Гоголь и

---

[1] Герцен А. И. Соч. в 9-ти томах, т. 9. М., 1958, с. 36.

[2] Манн Ю. В. Примечания.— В кн.: Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6. М., 1978, с. 506.

[3] Герцен А. И., там же.

сам переходит на стиль ветхозаветных пророков-обличителей) — надо опозорить «новейшего лихоимца нынешних времен и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя, и мужа, и презренный порог их богатого дома, и гнусный воздух, которым там дышат, чтобы, как от чумы, от них побежало все бегом и без оглядки» (VIII, 280). Надо возвеличить «в торжественном гимне незаметного труженика», его жену, его семью. Надо воспеть бескорыстного «ратника добра», показать богатырскую русскую душу, русскую природу.

«Стряхни же сон с очей своих и порази сон других. На колени перед Богом, и проси у него Гнева и Любви!» (VIII, 281).

Думаю, что и пушкинский «Странник» близок Гоголю не только апокалиптическим пафосом своим, но и светлой нотой надежды на спасение, звучащей в финале. Некий таинственный юноша, вероятно, посланец высших сил, открывает страннику путь к спасению, «даль указуя перстом».

«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.
«Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

Невероятный переполох и тревогу вызывает это решение: мольбы близких, брань, насмешки, поношение, угрозы «прибегнуть к строгости», оправданной в обращении с «безумным»... Но пророка ничто уже не может остановить, он покидает обреченный, отвергающий предостережения, упорствующий в своих грехах город — покидает,

Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Мог ли думать, мог ли догадываться автор «Выбранных мест...», вспоминая пушкинского «духовного труженика», влачащего «свою веригу», что и ему суждено будет познать столь же тяжкие испытания — позором, клеветой, непониманием — в своем поиске «верного пути», «тесных врат», ведущих к нравственному спасению, к будущему!..

Произнеся слово «будущее», я хотел бы, как и обещал, пригласить читателя к совместному размышлению над проблемой, имеющей важнейшее, если не ключевое значение для верного понимания гоголевской книги. Речь идет о попытках моделирования автором будущего, иначе говоря, об утопических элементах в его «Переписке».

В. Гиппиус, назвавший книгу Гоголя его «третьей идиллией», уточняет, что писатель при этом «очевидно придает своей идиллии характер утопии». Правда, мысль критика довольно

путаная, сбивает, в частности, с толку сделанная тут же оговорка, что «мечта о «преобразовании человечества» была совершенно заслонена идеализацией самодержавия и рабства» и потому утопизма Гоголя «никто не разглядел» [1]. Все это не очень ясно. Однако слово сказано: утопия.

У Абрама Терца этого термина нет, но имеет он в виду, без сомнения, именно утопию, когда говорит, что «Странник» Пушкина и «Землетрясение» Языкова привлекают Гоголя «эскизом грядущего», как оно «мыслилось им в перспективе близкой кончины и космических катаклизмов» [2]. Что такое «эскиз грядущего», как не утопия?

Версия об утопизме «Выбранных мест...» уже как бы канонизирована в гоголеведении, однако она, на мой взгляд, нуждается не в безоговорочном приятии, а в осмотрительном, взвешенном анализе, ибо таит в себе внутреннее противоречие.

Внимательный читатель «Переписки» Гоголя не может не почувствовать пронизывающее книгу ощущение зыбкости, непрочности настоящего, глубокой неудовлетворенности этим настоящим, неизбежности каких-то перемен и, более того, устремленности к переменам. В чем автор видит их суть — вопрос другой, об этом ниже, пока я обращаю внимание лишь на самое тенденцию — тенденцию к совершенствованию того, что Гоголь называет «нынешним порядком вещей в России».

Вспоминается в этой связи характерная и чрезвычайно важная метафора из «Светлого Воскресенья», заключительной главы книги: «Бог весть, может быть... уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней» (VIII, 416). И через несколько лет, в предсмертном бреду, в угасающем воображении Гоголя, истощенного, обессиленного, вконец измученного манипуляциями неумех-врачей, вдруг вновь возникнет этот образ, и он громко вскричит: «Лестницу, поскорее давай лестницу!..» [3]. Эта мольба о Небесной Лестнице—выражение последней земной надежды на спасение. Подобно пушкинскому страннику, Гоголь всей душой, всем существом стремится к «тесным вратам», однако, в отличие от странника, не бежит один из обреченного града, своей прощальной книгой он хочет увлечь за собою к свету людей, близких и чужих, друзей и проклинающих его врагов. То, что поверхностному взору представляется как гордыня, диктующая «приказ о всеобщей мобилизации», «залп воззваний», «властный окрик», «патриотический гимн» [4], на самом деле есть опирающийся на камень веры ис-

---

[1] Гиппиус Василий. Гоголь, с. 184.

[2] Терц Абрам. В тени Гоголя, с. 86, примеч.

[3] См.: Тарасенков А. Т. Последние дни Н. В. Гоголя. СПб., 1857, с. 18.

[4] См.: Терц Абрам. В тени Гоголя, с. 92.

кренний душевный порыв, горячее желание «прислужиться» ближнему.

Исследователь, склонный к вдумчивому анализу, не без оснований считает «лестницу» («лествицу»), наряду с «городом», одним из архетипических образов, ключевых для Гоголя. Корни этого «действенного, работающего символа, диалектически соединяющего горнее с дольним» [1], уходят в тысячелетние глубины человеческого сознания—к древнейшим ступенчато-пирамидальным постройкам, к библейскому преданию об Иакове, который «увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней...» (Бытие, 28, 12—13). Библейское предание не раз упоминается в сочинении Иоанна Лествичника «Лествица», содержащем тридцать бесед, или «слов», о различных ступенях духовного восхождения к Любви, к совершенству, к просветлению ума и сердца человека. «Христос... крестившись в тридесятое лето видимого возраста, — читаем в заключающем книгу «Кратком увещании», — получил тридесятую степень в духовной сей лествице; ибо любовь есть Бог» [2]. Иоанн Лествичник, живший в VI веке (он умер в 606 году восьмидесятилетним) игумен Синайской обители, был издавна популярен на Руси. Пристальный интерес Гоголя к книге Иоанна Лествичника засвидетельствован доктором А. Тарасенковым. Возможна и еще одна параллель — жизнеописание епископа Воронежского и Елецкого Тихона Задонского, согласно которому перед кончиной преосвященный видел во сне крутую лестницу, восходящую в небо, и поднимался по ней. Эту книгу, привезенную по его просьбе в Рим Смирновой, Гоголь читал и делал из нее выписки.

Быть может, однако, образ небесной «лествицы» как раз и свидетельствует об утопичности, абстрактности мечтаний Гоголя о будущем, его отрешенности от забот земных, реальных? Нет, у автора «Выбранных мест...» есть по-своему четкие представления по крайней мере о некоторых существенных чертах этого будущего, есть планы их воплощения. На многих страницах книги, в таких, например, главах, как «Нужно проездиться по России» и «Русской помещик», «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» и «О том же», «Просвещение» и «Занимающему важное место», «Что такое губернаторша», «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России», «Сельский суд и расправа», даже в ряде глав сугубо литературного содержания он излагает эти планы, излагает более или менее подробно, подчас с конкретными

---

[1] Носов В. Д. «Ключ» к Гоголю, с. 83.

[2] Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы Лествица, в русском переводе. Сергиев Посад, 1909, с. 251.

деталями, вроде осмеянных критиками семи денежных «куч». Похоже, мы действительно имеем дело с признаками литературно-социальной утопии, ведь «эскиз грядущего» — важнейший компонент этого жанра.

Концепция выглядит довольно стройной. Она представляется тем более привлекательной, что неплохо увязывается с высказанными нами ранее соображениями об *анти*утопической линии в «Выбранных местах...». Ведь в этом случае выстраивается бинарная оппозиция «антиутопия—утопия», которую можно было бы рассматривать как опорный структурирующий принцип художественно-публицистической подсистемы «Россия», входящей в общую систему книги. Соблазн велик...

Тем не менее воздержимся пока от окончательного вывода, проблема не столь однозначна, как это поначалу кажется.

Главное противоречие обнаруживаем... у самого Гоголя. Да, есть глубочайшая неудовлетворенность «нынешним порядком вещей», есть образ Небесной Лестницы, символизирующий порыв, движение вперед и ввысь.

Но вот мысли писателя о будущем из главы «Что такое губернаторша».

«Я вас, между прочим, еще побраню за следующие ваши строки...» — пишет он Смирновой и приводит выдержку из ее письма, где говорится, что нам следует «с надеждой и светлым взором смотреть в будущее», как бы «грустно и даже горестно» ни было «видеть вблизи состояние России». Из-за чего, казалось бы, тут «браниться»? А Гоголь резок: «Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего». Грубость, впрочем, вроде как не к Смирновой относится, а к какому-то абстрактному, анонимному оппоненту, но все же... Далее следует пространный монолог, который стоит того, чтобы его привести, не скупясь на место. «Оттого и вся беда наша, — явно горячится, хоть и сдерживается, Гоголь, — что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и беда вся, что как только, всмотревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко или же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай пялить глаза в будущее. Оттого Бог и ума нам не дает; оттого и будущее висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, которые тоже услышали его чутьем и еще не проверили законным арифметическим выводом; [1] но как

[1] Знакомое уже нам неприятие утилитаристских трактовок будущего. Подобный же мотив почти через два десятилетия прозвучит в «Записках из подполья» Достоевского: «Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда... математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000... все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений».

достигнуть до этого будущего, никто не знает. Оно точно кислый виноград. Безделицу позабыли! Позабыли все, что пути и дороги к этому *светлому* будущему сокрыты именно в этом *темном* и *запутанном* настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его низким и недостойным своего внимания и даже сердится, если выставляют его на вид всем. Введите же хотя меня в познание настоящего» (VIII, 320).

Кажется, от «стройной» концепции мало что остается...

Не станем, однако, и в этом случае торопиться, попробуем все же разобраться спокойно. Обратим внимание на два момента.

Во-первых, столь настойчиво нами искомая структурная оппозиция, собственно говоря, как таковая не опровергается. Гоголь вовсе не отрицает взаимосвязь между «светлым будущим» и «темным и запутанным настоящим», он — вчитайтесь — даже настаивает на такой взаимосвязи, акцентирует ее диалектическую природу, которая исключает возможность рассмотрения какой-либо из частей изолированно, в отрыве от другой. Это вполне отвечает тезису о бинарной оппозиции, только входящие в нее элементы у Гоголя иные и терминология, естественно, отлична от современной. Но вот сохраняет ли такая оппозиция, как нам думалось, свой всепроникающий для структуры книги характер? Появляются сомнения на этот счет.

Во-вторых, наблюдательные люди давно заметили, что любая утопия, как бы фантастична она ни была, как бы далеко ни залетала мысль автора, так или иначе имеет своей отправной точкой реальные отношения [1]. Настоящее не устраивает утописта, он устремляет свой взор в будущее, пытается построить его модель, однако где ему взять «строительный материал», как не в настоящем; если этого не происходит, модель будущего, по выражению Гоголя, «висит в воздухе», превращается в тот самый «кислый виноград», которого так и не суждено было отведать крыловской лисице...

Термин «утопия» обычно переводится с греческого как «место, которого нет», или «несуществующее место». Если позволить себе некоторую поэтическую вольность — что-то вроде «Земли Нигдении»... Вряд ли надо доказывать, что к размышлениям автора «Переписки» такое понятие никак не может быть применено. Гоголь ищет «пути и дороги» к светлому будущему, но ищет их не в какой-то выдуманной «Нигдении», а в реальной, современной ему России, не смущаясь ни запутанностью и неблаго-

---

[1] См.: Дживилегов А. Утопия.— В кн.: Энциклопедический словарь. Издатели Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. XXXV (69). СПб., 1902, с. 76. Нынешние наши литературные энциклопедии, словари и исследования варьируют ту же мысль.

устроенностью этих дорог, ни окружающими его со всех сторон, в том числе и собственными, «мерзостями». Он говорит: «Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала; я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию; с тех же пор, как стал я побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом; передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблагоговел еще более перед Провидением» (VIII, 320—321).

Я прошу читателя обратить внимание на эти три слова — «исходы, средства и пути». Не правда ли, тут отнюдь не мечта, не фантастическая модель будущего, не утопия. Тут инструменты преобразования, совершенствования реальной действительности — так, разумеется, как автор понимает это преобразование и совершенствование. И тут же ключ к постижению философско-эстетической природы гоголевской книги.

Нет, «Выбранные места из переписки с друзьями» — не утопия. Под это понятие могут быть подверстаны разве что отдельные элементы сочинения, да и то я бы затруднился назвать что-либо, кроме «России» — условной страны, которая якобы «вся... приняла... Гомера, как родного» (VIII, 237). Это из письма «Об Одиссее, переводимой Жуковским».

Закономерен вопрос: если книга Гоголя, по моему мнению, не утопия, то что же она собою все-таки представляет? Я рискнул бы предложить такое прозаическое определение, как *программа реформ.* Реформ, предусматривающих совершенствование различных сторон современной писателю русской жизни — от государственных установлений до человеческой души, от церкви до литературы, от сельского хозяйства до театра. Не мечтания о несуществующем, а переделка сущего. Не «эскиз грядущего», а наброски и планы сегодняшних работ. Можно говорить об утопизме каких-то из предлагаемых Гоголем реформ, причем подчас утопизме консервативного толка, но это совсем иной вопрос: утопизм и утопия — понятия разные, хотя и одного семантического корня.

При таком подходе появляется возможность уточнить наши представления о структурной организации текста «Переписки», в частности, прояснить вопрос о роли бинарной оппозиции «настоящее — будущее». Сама по себе эта оппозиция, как уже отмечалось, остается, однако остается на низшем, первоначальном уровне. На следующей ступени, на главном уровне в бинарную оппозицию вторгается еще один элемент «реформы». Оппозиция трансформируется в качественно новую структурную единицу — триединство «настоящее — реформы — будущее». Оно, это триединство, и берет на себя функцию действительно опорного структурирующего принципа, на котором строится гоголевская подсистема «Россия».

Однако теория, как известно, суха, и пора перейти к рассмотрению конкретного содержания выдвигаемой Гоголем «программы реформ», по крайней мере, некоторых наиболее важных ее сторон. Это я и намерен сделать, но прежде — пусть уж читатель меня простит — необходимо все же хотя бы еще одно короткое отступление общего характера, без него никак не обойтись. И вот почему. Предстоит затронуть вопросы, мало сказать, сложные, трудные, а, не побоюсь этого слова, болезненные, те, по которым автор «Выбранных мест...» и при жизни его, и после смерти, вплоть до последнего времени, подвергался наиболее острой, нередко попросту уничтожающей критике. В этой связи перед исследователем хочешь не хочешь встает дилемма: либо бездумное повторение пройденного, освященных временем, традицией, авторитетами стереотипов и ярлыков, либо попытка (в меру сил и способностей, разумеется) непредвзятого прочтения, своего толкования. Одно из двух. Возможен, вероятно, и какой-нибудь третий вариант, скажем, уклончивое маневрирование, дипломатичный обход острых углов, но, признаюсь, он меня не привлекает; да и не знаю, право же, возможен ли он вообще?.. Предпочитаю вариант второй.

Если попробовать извлечь общий корень из всего многообразия вопросов, о которых только что говорилось, неизбежно придем к такому понятию, как *революция.* Я говорю в данном случае о революции в самом широком смысле: революция как глубокое качественное изменение, коренной поворот в развитии природы, общества, познания; революция промышленная, научно-техническая, культурная; наконец, революция как резкий социальный и политический катаклизм, как потрясение и разрушение основ общества.

Так вот, с полной определенностью следует сказать, что в любом из этих аспектов революция принципиально, органически чужда Гоголю, он не приемлет ее как таковую, не приемлет изначально. Хорошо ли это, плохо ли — не о том сейчас речь; скажу только, что, на мой взгляд, любой однозначный ответ чреват опасным упрощением проблемы. Но что отношение писателя ко всякой, и прежде всего социальной, революции именно таково — на сей счет иллюзий или недомолвок быть не должно.

Тут представляется уместным вернуться к письму Гоголя, адресованному Л. Вьельгорской и вошедшему в «Выбранные места...» как глава «Страхи и ужасы России». Напомню, что мы уже касались этого письма, однако разговор был мною намеренно прерван. Теперь объясню почему. Не хотелось, чтобы в контексте тогдашних суждений о критическом восприятии Гоголем многих сторон русской действительности читатель паче чаяния не истолковал превратно и взгляды Л. Вьельгорской, и вообще содержание главы.

Письма графини к Гоголю мы не знаем. Писатель приводит из него две фразы, о которых можно сказать лишь то, что они проникнуты чувством тревоги, растерянности, ожидания «чего-то неизбежного». По всей вероятности, таким было и все письмо.

Ничего удивительного нет в том, что оно встретило у Гоголя живой отклик, — он и сам испытывал те же чувства. В пору, когда складывался замысел «Переписки» и шла работа над ней, и в последующие годы у писателя зарождается и крепнет ощущение сначала смутного, затем все более обостряющегося беспокойства перед неустройством жизни, трагизма переживаемой эпохи, предчувствие надвигающегося катастрофического перелома, тяжких испытаний. «Время броженья и смешенья всего», «потрясающая бестолковщина времени», «повсюдная бестолковщина», «неспокойствие в нашем времени», «нынешнее время, когда все так неверно», «теперешнее время, когда отовсюду грозят беды человеку», «нынешнее время шатаний», «время настало сумасшедшее», «время беспутное и сумасшедшее», «мутное время», «время... содомное», «теперь время лжей и слухов»... Таковы лишь некоторые характеристики из гоголевских писем тех лет. И как бы итоговая, обобщающая метафора: «Какое убийственно-нездоровое время и какой удушливо-томительный воздух!» (XIV, 778).

Последние слова — из письма к С. Аксакову, написанного в Васильевке 12 июля 1848 года, в состоянии чрезвычайного физического и душевного расстройства, чем в известной мере они и могут быть объяснены. Отчасти то же относится и к другим сетованиям Гоголя на неблагоприятное время. Но только отчасти. Свое «нездоровье» Гоголь ощущает как духовное нездоровье времени и мира, собственные страдания воспринимает через призму страданий современного человека вообще, видя в них свидетельство царящего вокруг общего неблагополучия, распада связей между людьми. «Страданья твои, — пишет он Погодину, жалующемуся на душевные тяготы и тревоги, — слишком мне понятны, потому что я сам исстрадался весь, а страждущему понятен страждущий. Но весь мир страждет. Все люди, с которыми я ни сходился и с кем ни знакомился коротко, все страждут... Мне кажется, что тягостнее всех других страданий страдания, происходящие от *взаимных недоразумений,* а эти страдания теперь стали решительно повсеместны. Только и слышишь со всех сторон, как расходятся друзья, как люди, созданные затем, чтобы любить друг друга, невозвратно отторгнулись друг от друга. Только и слышишь теперь, как скорбно кричит человек: «Меня не понимают!» (XIII, 317).

Боль за человека, скорбь и жалость, страдание и сострадание («...К кому ни приглядишься ближе, всяк порождает к себе состраданье»; XIII, 321—322), апокалипсические предчувст-

вия — все это стало слагаемыми того умонастроения, которое предопределило как замысел, так и главную тональность «Выбранных мест...».

Отсюда же и столь характерное для писателя ощущение переживаемого исторического момента как *переходного* времени, знаменующего собою некие концы и начала, гибель и рождение, завершение одной эпохи и наступление новой. «Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным, — читаем в «Авторской исповеди».— Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани...» (VIII, 455).

Дорога — куда? Переход — к чему?

Письмо Гоголя к Л. Вьельгорской если и не содержит исчерпывающего ответа на эти вопросы, то во всяком случае дает представление о том, какой смысл вкладывают Гоголь и его корреспондентка в понятие «переходного времени». Становится ясно, что «гнев» графини на современный ей порядок вещей в России, охватившие ее испуг, тревожное ожидание «чего-то неизбежного» есть не что иное, как неосознанное предчувствие надвигающегося конца этого самого порядка вещей, приближения грозных революционных перемен. И Гоголь не только не пытается успокоить графиню, развеять ее тревогу, а, напротив, хочет помочь ей в полной мере осознать происходящее, готов (хотя и не делает этого) раскрыть перед ней такую картину грядущих «страхов и ужасов», от которой впору «убежать из России». Другое дело, что такое бегство не спасет: «Но куды бежать?» Ведь главный источник опасности, считает Гоголь, не в России, он в Европе, в «заколдованном круге» буржуазной демократии с такими ее атрибутами, как «скороспелые выводы», «опрометчивые показания», «лживые призмы всяких партий». «Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются...» (VIII, 343—344).

Датировано 1846 годом. Вскоре Гоголю доведется стать свидетелем одной из подобных «сумятиц» — в Неаполе, где в январе високосного 1848 года разразится восстание против испанских Бурбонов. Освободительный порыв ни в малейшей степени не захватил его, происходящее ему чуждо, он его не понимает, явно сторонится. «...Оставаться в Неаполе, — пишет он А. Иванову, не скрывая тревоги, — не совсем весело. В городе неспокойно: что будет, Бог весть» (XIV, 46). Через несколько

дней, в письме к А. Вьельгорской, посланном с Мальты, Гоголь признается, что «разные политические смуты и бестолковщина» выгнали его из Неаполя в Палестину раньше, чем он предполагал (XIV, 47—48).

Но все только еще начиналось: «вскрывались» одна за другой предсказанные Гоголем «сумятицы», по европейским просторам прокатилась мощная, многое сметающая на своем пути революционная волна. Вслед за Неаполем, в феврале, восстал Париж, рухнула Июльская монархия, волнения охватили Вену, Берлин, Прагу...

Гоголь в ту пору был уже в России. Вести из Европы он воспринимает и оценивает однозначно — враждебно, со страхом. «В Петербурге я успел видеть... Анненкова, приехавшего на днях из-за границы, — читаем в письме к Данилевскому.— Все, что рассказывает он, как очевидец, о парижских происшествиях,— просто страх: совершенное разложенье общества». Сбываются самые мрачные его ожидания, метафора — «переходное время» — вдруг оборачивается кровавой реальностью: «...Никто не видит никакого исхода и выхода и отчаянно рвется в драку, затем, чтобы быть только убиту. Никто не в силах вынесть страшной тоски этого рокового переходного времени. И почти у всякого ночь и тьма вокруг» (XIV, 87).

Не на живописном брюлловском полотне, не в поэтическом воображении Языкова — в самой жизни совершается катастрофа, и буйствуют не слепые природные силы, наружу вырвалась стихия социальная, подчас, впрочем, столь же слепая и не менее, если не еще более, разрушительная. Именно в разрушении видится Гоголю пафос и суть всякой революции, и именно этим она для него неприемлема. Он ищет альтернативу революционным «страхам и ужасам», ищет «пути и дороги к спасению» — пока есть надежда, пока «в России еще брезжит свет» (VIII, 344). Не тотальная ломка («...до основанья, а затем...», как было позднее провозглашено) государственных структур, а их совершенствование; не отбрасывание веками складывавшихся и веками же служивших людям, если угодно—патриархальных общественных форм и обычаев, а, напротив, бережное их возрождение и обновление, освобождение от чуждых напластований и искажений; не разрушение, не насильственная переделка общества, пусть далеко не идеального, а разумное его реформирование, «устройство», по выражению Гоголя. Такова программа автора «Выбранных мест...», стержнем которой, главным цементирующим началом стала идея *прочности*, «твердых основ», «простоты» как отличительного признака естественной, органичной жизни, текущей по испытанному руслу, не подверженной сомнительным новациям и переворотам. В конце концов, «Бог не даром сберегает простоту некоторых народов и хранит в ущельях

и горах остатки патриархального быта» (XIII, 358), — пишет Гоголь, комментируя попытки правительства завоевать и «цивилизовать» черкесов.

Понятие «простоты» выступает в качестве ключевого и при определении того могучего нравственного влияния, которое, по мнению Гоголя, должна была произвести на современное русское общество «Одиссея», переведенная на русский язык Жуковским. На фоне охватившего общество «болезненного ропота неудовлетворения», «неудовольствия человеческого» решительно на все — «на порядок вещей, на время, на самого себя», на подозрительную «новейшую гражданственность», на «нелепые крики и опрометчивые проповедывания новых, еще темно-услышанных идей» — «Одиссея» не может не поразить «величавою патриархальностью древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, не притупленной, младенческою ясностью человека». Каждый «страждущий и болеющий от своего европейского совершенства» наглядно убедится, сколь многого может достичь общество «одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну...» (VIII, 243—244). Гоголь здесь не только «тяжелым вздохом» вздохнул по ушедшему античному миру, как заметил В. Розанов [1], он взглянул с этой вершины на мир современный, взглянул с печалью и укором.

Наивно думать, что гоголевская программа «устройства» России появилась на свет, как Афина Паллада из головы Зевса, — сразу и, так сказать, в полной боевой готовности. Складывалась она постепенно, годами, вырастая из присущей Гоголю еще смолоду тяге к изначальным, «бытийным» вопросам и крепким устоям жизни, из его веры в вечные истины и богодухновенные заповеди, в непреходящие ценности духа и в бессмертие души. Это — родовая особенность мироощущения Гоголя как человека, как художника и как мыслителя. Она многое объясняет в его творчестве и прежде всего помогает найти точку соприкосновения между «Перепиской» и другими сочинениями. После «Выбранных мест...» мы несколько по-иному взглянем, к примеру, на изображенные в диканьских бывальщинах черты народного характера, быта, фантазии; на гоголевскую концепцию отечественной истории с ее героикой, эпическим размахом и шекспировскими страстями, со смутами, раздорами, «темными порождениями невежества» и проявлениями «сокровенной внутренней жизни», «чистейших законов христианских» (XIV, 109—110); на религиозно-нравственное истолкование Гоголем трагического мотива братоубийства и «страшной мести»;

[1] Розанов В. Гоголь и Петрарка.— Книжный угол, 1918, № 3, с. 10.

на щемящую ностальгию по невозвратному и неотразимо притягательному старосветскому былому... Потому Гоголь и вправе был ответить в «Авторской исповеди» своим хулителям, бросавшим ему обвинения в отступничестве, чуть ли не в измене, ответить с достоинством: «Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою» (VIII, 445).

Многолетние скитания по Европе, где вся атмосфера была насыщена предгрозовым электричеством, где нельзя было не заметить, что плод созрел и готов вот-вот упасть, не изменили умонастроения Гоголя; напротив, оно укрепилось. Для него теперь стала еще нагляднее «целая бездна» между словами о «положительном законе, принципе равенства и справедливости» и «применениями их на деле» (XIII, 383) (кстати, это пишется в сентябре 1847 года тому самому Анненкову, который очень скоро станет потрясенным очевидцем «парижских происшествий»), обостренное неприятие «размена и ярмарки» буржуазной цивилизации, которая нагло навязывается, ловит человека на ночной парижской улице, «как непотребная девка». Еще выше его пиетет по отношению к земле «Байронов и Диккенсов», демонстрирующей «разумное слитие того, что доставила человеку высшая *гражданственность,* с тем, что составляет первообразную *патриархальность»* (XIII, 389, 384). Еще ближе душе заповедные уголки Европы, кажется, забытые Богом и революцией, где живы пока патриархальные нравы, истинные чувства, подлинная суть человеческой природы.

Чуткий Белинский, прочитав «Рим», сразу же заметил не только «удивительно яркие и верные картины действительности», но и то, что Гоголь бросает «косые взгляды» на Париж и «близорукие», весьма сочувственные на Рим [1]. Гоголь был уязвлен. «Белинский смешон», — раздраженно пишет он Шевыреву, объясняя — не без лукавства, — что критик просто-напросто хотел бы навязать римскому князю свой взгляд на Париж, что он не улавливает разницы во мнениях между автором и его героем. Не так прост, однако, Белинский. Дистанцию между взглядами героя и автора в «Риме» он действительно как бы игнорирует, но лишь по той причине, что она минимальна, практически несущественна, эта дистанция. Для того и для другого Париж, по определению Гоголя, — «строящийся вихорь нового общества», однако ни одной привлекательной черточки, ни одного живого ростка этого нарождающегося нового ни князь, ни автор не замечают; их более всего страшит сам «вихорь», сулящий непредсказуемые, явно недобрые перемены и смуты. В милой сердцу обоих Италии в поле их зрения не попадают ни вопиющие уродства правления папы Григория XVI, стяжавшего

[1] См.: Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5, с. 155.

скандальную славу своим крайним мракобесием, ни деспотизм и беспримерная жестокость так называемого короля Обеих Сицилий Фердинанда II, «короля-бомбы»; зато очевидны симпатии, душевное расположение к «нации отжившей, и отжившей прекрасно» (XII, 210—211), к этому своеобразному итальянскому аналогу исчезающей в пучине небытия старосветской полтавской Атлантиды...

Вот куда уходят корни гоголевской программы «устройства», программы в основе своей — решусь все-таки вымолвить это сакраментальное слово — консервативной и потому отвергнутой всеми течениями русского радикализма.

Тут необходимо объясниться.

Я не считаю правильным с давних пор ставшее у нас традицией, непререкаемой догмой однозначное толкование таких понятий, как «консервативный» и «патриархальный», не вкладываю в них, в духе общепринятых норм литературоведческого этикета, заведомо отрицательный, а то и просто бранный смысл. Конечно, в подобных случаях этимологические аргументы не могут считаться исчерпывающими, однако и вовсе не принимать их во внимание, думаю, было бы ошибкой. Поэтому позволю себе напомнить читателю, что в семантическое гнездо латинского термина cōnservatio, кроме таких слов, как сохранение, сбережение (которые, кстати, не заключают в себе ничего крамольного, никакого сомнительного оттенка, последний обычно «навязывается» им в условиях определенного исторического контекста или конъюнктуры), так вот, кроме них, мы находим здесь и иные значения, скажем, спасение, соблюдение. Что же касается слова «патриархальный», то оно связано, как известно, с понятиями отцовства, Отечества, родины. Все это позволяет поставить под сомнение правомерность и научную корректность упомянутой выше традиции. Тем, кому покажется недостаточно убедительной этимология, посоветую обратиться к логике — логике истории, к ее урокам. Ныне человечество именно под воздействием этих тяжелых уроков вынуждено все чаще (с трагическим, если не безнадежным опозданием) вспоминать о трагедии Франкенштейна. В новом свете видятся вопросы, которые еще вчера представлялись ясными, как Божий день. Оказывается, то, что мы издавна именуем прогрессом, то есть безудержное движение во что бы то ни стало «дальше... дальше... дальше...»; то, на что привыкли безоглядно уповать как на якорь спасения, то есть неконтролируемая научно-техническая экспансия против мертвой, живой, а теперь уже полуживой природы, — явления отнюдь не абсолютные, не безусловные, напротив, они таят в себе какие-то далеко еще нами не распознанные и тем более не осознанные опасности, вплоть до аннигиляции окружающего мира и саморазрушения человека. Оказывается, многажды преданная

нами анафеме добрая старая conservatio, включая сюда и то, что поэт назвал любовью «к отеческим гробам», вовсе не обязательно, не неизбежно должна оцениваться как синоним губительного застоя, гниения или окостенения, что есть еще и такие понятия, как благотворная прочность, гармония, преемственность, как здоровье общественного организма.

Будем помнить обо всем этом, рассматривая гоголевскую программу «устройства» России.

Не следует представлять себе дело таким образом, будто эта программа выстроена автором «Выбранных мест...» строго и последовательно, по пунктам. Однако основные ее компоненты вычленяются при внимательном чтении книги. И первым таким компонентом и в то же время необходимой предпосылкой, условием ее осуществления выступает идея «поприща» — деятельности человека на отведенном ему месте в жизни, его служба и служение, должность и долг.

Честолюбивые мечты о будущем поприще, о своем «высоком назначении» пробудились у Гоголя в раннем возрасте, уже тогда ему казалось, что нет ничего страшнее, как «быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в безмолвие мертвое» (X, 98). Причем свои жизненные планы он связывает не с литературной деятельностью, а с государственной службой. «...Страсть служить,—признается он впоследствии в «Авторской исповеди», — была у меня в юности очень сильна» (VIII, 438). Незадолго до окончания Нежинской гимназии он пишет дяде, П. Косяровскому, о том, что пламенеет «неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства» и что, мысленно перебрав «все состояния, все должности в государстве», он остановился на одном — на юстиции (X, 111). Не исключено, что в этом выборе определенную роль сыграл и пример живущего на покое в Кибинцах родственника по материнской линии Д. Трощинского, крупного сановника, бывшего в александровскую эпоху министром юстиции.

Обратим внимание: стремление к служебному поприщу диктуется не карьеристскими мотивами, а душевным порывом. Гоголю «просторный круг действий» нужен для того, чтобы иметь возможность сделать «даже что-то для общего добра» (VIII, 438), и юстицию он выбирает потому, что «неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце» (X, 112). Это — во-первых.

Во-вторых, вопреки ходячему мнению о его якобы всепоглощающей страсти к поучению других, Гоголь прежде всего к собственному поприщу (уже связанному с писательством, а не с юриспруденцией) относится как к служению; «устройство» окружающего мира он начинает с «самостроения», к себе самому прилагая свои этические максимы. Бесконечно утомленный, фи-

зически и духовно, недавней поездкой к Святым местам, мучимый слабостью, «нестерпимыми жарами» и дурными предчувствиями, чем озабочен он, о чем думает летом трудного, мятежного 1848 года? О долге писателя. О том, как, сцепив зубы, работать, чтобы выполнить несмотря ни на что этот долг. «Как ни возмутительны совершающиеся вокруг нас события, — пишет он в эти дни Жуковскому из Полтавы, — как ни способны они отнять мир и тишину, необходимые для дела, но тем не менее нужно быть верну главному поприщу; о прочем позаботится Бог». Ни болезни, ни трудности жизни, в которой «все неверно и непрочно», ни равнодушие, пусть и хула современников не могут служить писателю помехой для исполнения того, на что «нам даны Богом силы и способности». «Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному до конца дней наших, умели ли возлюбить его так, чтобы не смутиться ничем, вокруг нас происходящим, и чтобы петь ему безустанно песнь и в ту минуту, когда бы валился мир и все земное рушилось» (XIV, 74).

Тот трагически гротесковый оттенок, который когда-то был придан понятию поприща фамилией главного персонажа «Записок сумасшедшего», теперь исчезает, на смену ему приходит совершенно иная интонация, иное толкование. Знаменательные слова о творческой деятельности как «службе» произносит в финале «Развязки «Ревизора», написанной, кстати, в 1846 году, тогда же, когда и «Выбранные места...», выражающий авторскую позицию Первый комический актер: «Дайте мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и всякого из вас, что я так же служу земле своей, как и все вы служите, что не пустой я какой-нибудь скоморох, созданный для потехи пустых людей, но честный чиновник великого Божьего государства... Дружно докажем всему свету, что в русской земле всё, что ни есть, от мала до велика, стремится служить Тому же, Кому всё должно служить что ни есть на всей земле, несется туда же... кверху, к Верховной вечной красоте!»

Для Гоголя такое служение — важнейший императив времени. В главе «Страхи и ужасы России» он не случайно отвергает даже мысль о бегстве «из земли своей» от революционной угрозы: не «свое презренное земное имущество» надо спасать, но «свою душу», «себя самого», пытаясь сделать все возможное для предотвращения катастрофы здесь, «в самом сердце государства», «на корабле своей должности и службы... выноситься из омута...» (VIII, 344).

Осознание собственного призвания и долга дает Гоголю моральное право ожидать, даже требовать того же от других. Не удивительно, что тема «поприща» становится одним из лейтмотивов «Переписки», как естественно и то, что особое значение она приобретает в письмах к тем друзьям, которые занимают

видное место в обществе, в служебной иерархии. Советы и предостережения Смирновой («Что такое губернаторша») продиктованы не чем иным, как настойчивым, подчас почти навязчивым стремлением внушить своей корреспондентке мысль о важности ее нового поприща, о сопряженной с этим поприщем ответственности, помочь придворной даме осознать, что Петербург — еще не Россия, а «большой свет» — далеко не народ...

В том же ключе выдержаны и главы «Нужно проездиться по России» и «Занимающему важное место».

Первая — отрывок из письма, адресованного графу Александру Петровичу Толстому. С Толстым Гоголь познакомился в начале 40-х годов, переписывался с ним, часто встречался за границей и в России и сохранил близкие отношения до самой смерти; последнее время писатель и жил в Москве у Толстого, в доме на Никитском бульваре, в одной из комнат этого дома была сожжена рукопись второго тома «Мертвых душ», там же несколько дней спустя он и скончался. Их, людей совершенно разных судеб и положения в обществе, отнюдь не во всем схожих взглядов, тем более характеров, сближали некоторые общие черты умонастроения, отмеченного напряженным драматизмом, кризисными душевными переживаниями, повышенной религиозностью. Не случайно, что в 1845 году, в момент сильнейшего обострения своего «нервического расстройства», в ожидании неминуемой близкой смерти, Гоголь именно вместе с Толстым вторично в этом году говеет в Веймаре. Незадолго до этого, во время кратковременной разлуки (до конца февраля оба они были в Париже), он пишет Толстому письмо, отрывок из которого стал затем главой «Нужно проездиться по России».

Об отношении Гоголя к Толстому, о характере и содержании их бесед дают представление письма к Языкову и о. Матвею Константиновскому. Рассказывая в ноябре 1844 года Языкову о Толстом, Гоголь называет его «замечательным» человеком, который способен был бы «сделать много у нас добра при нынешних именно обстоятельствах России, который не с европейской заносчивой высоты, а прямо с русской здравой середины видит вещь. Он много видел, был два раза губернатором, в Одессе и в Твери, умел видеть ошибки другого и даже свои собственные, и теперь стал на такую точку, что может, не распекая и не разгоняя людей, сделать существенное добро...» (XII, 372) [1].

[1] Можно было бы заметить в этой связи, что существовали и другие мнения о губернаторстве Толстого. В. Шенрок, со ссылкой на Смирнову, пересказывает такой эпизод: будучи губернатором, Толстой нагрянул однажды в уездный город, насмерть перепугал местных чиновников суровыми упреками в «страшном беспорядке», но ограничился тем, что собственно-

Позднее, уже после выхода «Выбранных мест...», Гоголь пишет Матвею Константиновскому о своих встречах с Толстым за границей: «Видя его тоскующую душу и безотрадные жалобы на жизнь... я старался подвигнуть его на деятельность и на взятие должности внутри России, мысля, что должность, взятая в смысле поприща для подвигов христианских, может дать пищу душе его. К этому побуждала меня и любовь к родине, которая страждет много оттого, что слишком мало в ней таких должностных людей, которые заключали бы... все качества и способности Александра Петровича» (XIII, 304) [1].

По всей вероятности, в «безотрадных» жалобах Толстого на жизнь проскальзывали или угадывались намеки на желание уйти в монастырь, это прочитывается в подтексте гоголевского письма к нему. Не случайно Гоголь начинает с размышлений о монашестве; я бы назвал это его парадоксом о монашестве. Парадокс заключается в том, что монашеское звание, которого, по словам Гоголя, «нет выше», говоря строго, столь же недостижимо, сколь и желанно. Удалиться от мира, надеть «простую ризу чернеца» лишь для того, чтобы выбраться из жизненного тупика, — не более чем жест отчаяния. Истинное же монашество — «зов Божий», высокое право, которое надо заслужить, «приобресть», и сделать это нельзя иначе, как самоотверженным служением людям в миру. Завещано раздать все имущество свое нищим, прежде чем идти в монастырь, только в чем смысл этого завета? Если человек охладел к своему богатству, то в отказе от него нет «подвига пожертвования». «Добро», выброшенное за окошко как «ненужная вещь», и «добро в высоком смысле христианском» — понятия разные. Имущество не в одних только деньгах, иному «Бог... помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим», это и есть его имущество, которое также следует раздать «не имущим его». Иначе «заперты двери желанной обители» (VIII, 301).

Парадоксальны в письме к Толстому не слова, не формулировки, парадоксальна в своей противоречивости и, если угодно, неожиданности позиция автора. Тот, кто провозгласил, что «Церковь наша есть жизнь» (VIII, 245), и призвал к полному оцерковлению мира и государства, кто признается, что ему «уже и помышленье» о ризе чернеца «в радость», вдруг обрушивает гнев на задумавшего надеть эту ризу: «Очнитесь! Куриная сле-

---

ручно вычистил висевшую в помещении суда икону и посоветовал всем побольше молиться (см.: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV, с. 409). Я, однако, характеризую сейчас не личность и деятельность Толстого, а отношение к нему Гоголя.

[1] Высокую должность обер-прокурора Святейшего Синода А. Толстой получил уже после смерти Гоголя, в 1856 году, и занимал ее шесть лет.

пота на глазах ваших!» (VIII, 308). Тот, кто выступал проповедником смирения, «потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желания мира» (VIII, 246), теперь призывает вспомнить отечественную традицию, когда монахи в годину беды выходили из-за монастырских стен и становились в ряды мирян спасать Русь: «Чернецы Ослябя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на кровавом поле битвы...» (VIII, 301—302). Здесь Гоголь, объявленный не в меру ретивыми критиками и бойкими публицистами индивидуалистом, религиозным фанатиком, мрачным ипохондриком и замкнутым мистиком, предстает в непривычном освещении — как предтеча гражданственной, «браннолюбивой», по выражению К. Мочульского, линии в русской литературе, продолженной затем Некрасовым и Тургеневым, Щедриным и Достоевским, Л. Толстым и народниками. «Гоголь, — читаем в книге этого автора,— не хочет индивидуального спасения души; тоскуя по созерцательной монашеской жизни, он ни на минуту не соблазняется мыслью о бегстве из мира. Спасаться можно только всем миром, со всеми братьями» [1].

Эту мысль Гоголь считает своим долгом внушить и графу. Нет и не может быть любви к людям без служения людям, без помощи им и сострадания. Молитве в тишине монастырской кельи должны предшествовать подвиги на «поприще мирного гражданина», деяния в «самом сердце России», которая «зовет теперь сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде». Так возникает метафора: «Монастырь ваш — Россия!» Гоголь взывает к Толстому: «Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться к ней» (VIII, 301).

Дальнейшее развитие тема поприща получает в главе «Занимающему важное место». У нее нет точного адреса, однако основные мысли письма очевидно корреспондируют с тем, о чем говорилось в заграничных беседах Гоголя и Толстого. Правда, В. Шенрок [2] считает, что адресатом письма был не Толстой, а князь М. Воронцов; он ссылается на письмо Смирновой от 30 января 1845 года, где она рассказывает Гоголю о попытке Воронцова уклониться от назначения наместником Кавказа. В пользу этой версии говорит, казалось бы, упоминание в письме поездки «к черкесам на Кавказ» и предположение о занятии адресатом «по-прежнему... места генерал-губернатора» (VIII, 349) — ни то ни другое к Толстому отношения не имело.

---

[1] Мочульский К. Духовный путь Гоголя. Париж, 1934, с. 91—92.

[2] См.: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV, с 326.

Сомнения же связаны с тем, что с Воронцовым Гоголь не был не только дружен, но даже знаком, а письмо явно написано человеку душевно близкому, к тому же давнему собеседнику, каковым и был именно Толстой. Иное дело, что в этой главе Гоголь не стремится к скрупулезной фактической точности, напротив, заметно, что он хочет придать образу своего адресата обобщенные черты (не случайно, в отличие от некоторых других писем, здесь нет конкретной ссылки); с этой точки зрения рассказ Смирновой о Воронцове, оставивший, возможно, след в воображении писателя, мог оказаться для него весьма кстати.

Начало главы звучит, как продолжение только что прерванного разговора: «Во имя Бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем» (VIII, 349). Этот тезис выполняет роль своего рода связующей нити между письмами, Гоголь, собственно, не считает нужным его обосновывать здесь — все уже обосновано, все доказано («Монастырь ваш — Россия!»). Теперь писатель идет в глубь проблемы, пытается как бы изнутри, словно с высоты «важного места» присмотреться и к самому этому месту, и к тем «подвигам», которые предстоят занимающему его.

А в том, что понадобятся именно подвиги, что необходим адский труд по искоренению беззаконий, преодолению пороков в обществе и в человеке, у Гоголя нет сомнений. Напутствие «занимающему важное место» он начинает с острой характеристики разъедающих Россию социальных язв, что живо напоминает монолог генерал-губернатора из заключительной главы второго тома «Мертвых душ». «Много злоупотреблений; завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и уже обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально в то самое, на что другие глядят поверхностно, не подозревая ничего, то закружится голова у наиумнейшего человека» (VIII, 350).

Чтобы у предполагаемого генерал-губернатора (заметим, речь далее идет прямо о генерал-губернаторстве, мотив кавказского наместничества как-то незаметно отпадает, что подтверждает случайность его появления) — итак, чтобы у генерал-губернатора не закружилась голова, Гоголь пытается если не очертить круг его обязанностей, то во всяком случае обозначить некоторые важнейшие из предстоящих ему «подвигов».

Но прежде писатель останавливается на вопросе о нравственной стороне генерал-губернаторского поприща. Впрочем, это имеет значение более широкое, относится к любой должности, любой «службе» и представляет собой одну из главных (едва

ли не вообще главную) составляющих гоголевской программы «устройства». Первейшей задачей облеченного властью лица Гоголь считает проникновение «в душу человека», ибо «в ней ключ всего». «Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей, как начали это делать теперь вы» (VIII, 351). Предостерегая своего корреспондента от увлечения на новой должности «хлопотливыми обязанностями управителя», «мелочными расходами», он ставит во главу угла заботу о нравственном здоровье общества, об отношении человека к Богу, к закону, к ближнему своему, к самому себе, наконец. «Устроить дороги, мосты и всякие сообщения... есть дело истинно нужное; но угладить многие внутренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремленьи к полному развитию сил его и которые мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями образования, о которых мы так усердно хлопочем, есть дело еще нужнейшее» (VIII, 352).

То, что мы на нынешнем нашем суконном языке называем «моральным кодексом», «человеческим фактором», а Гоголь — «делом внутренним», выступает у него как непременная предпосылка осуществления программы реформ общества и человека. Правда, приходится признать, что в азарте морального проповедничества писатель трактует зависимость между «делом внутренним», то есть нравственным воспитанием, и торжеством порядка, законности и благосостояния весьма упрощенно. «В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою,— с неприязнью и некоторым пренебрежением говорит он о достижениях европейской цивилизации («эти железные дороги и всякие дороги»), — с такими удобствами, каких и в Европе нет, если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует» (VIII, 352—353). Прямолинейно воинствующий морализм Гоголя подталкивает его к крайним, мягко говоря, наивным выводам и рекомендациям. Своих высокопоставленных друзей, занимающих «важные места», он уверяет, что достаточно хорошо узнать душевные силы плута, «данные ему на добро», и «попрекнуть его им же самим», как раскаявшийся плут буквально «не найдет себе места», ибо «благородна наша русская порода, даже в плуте» (VIII, 351). Подобное же, по убеждению Гоголя, произойдет с «близоруким» богачом, если «поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов», в которых косвенно повинно его богатство, и если этот богач «смекнет», что нехорошо разорять «полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу» (VIII, 306—307). Спохватится и устыдится модница, вынуждающая недалекого своего мужа ради новой шляпки или платья попи-

рать закон, брать взятки. «Нет, человек не бесчувствен,—страстно убеждает Гоголь других и себя, — человек подвигнется, если только ему покажешь дело, как есть. ...Половина грехов его — от неведенья, а не от разврата. Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя» (VIII, 307).

Вернемся между тем к «подвигам», которые, по мнению Гоголя, предстоят его адресату, если тот займет должность генерал-губернатора. Суть названных в главе подвигов коротко можно изложить так: строгое соблюдение «пределов и границ, указанных законом»; повышение роли и авторитета дворянства, осознание им своей ответственности перед государством и властью; четкое разграничение гражданского закона, обычаев и церковных установлений. Из размышлений Гоголя на эти темы вырисовывается еще (дополнительно к названным выше) несколько важных идей, существенных для понимания его программы «устройства» России. Обозначу их — пока, по возможности, без комментариев.

Первая — это то, что исследователь называет «мистикой государственности»[1] или, иначе, романтизация государственной системы — законов и учреждений, иерархии власти и принципов управления. Всюду Гоголю видится «законодательная мудрость как в установлении самих властей, так и в соприкосновеньях их между собою» (VIII, 356). Все в организме управления губерний кажется ему «полно, достаточно, все устроено так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу, и останавливать только на пути к злоупотреблениям» (VIII, 357). Это не значит, что Гоголь вообще игнорирует негативные стороны в практике государственного управления, однако причины, как он считает, кроются не в следовании закону, а в несоблюдении его, не в самой системе, а в ее нарушении. Простор для злоупотреблений открывается там, где появляются «ненужные вставки»; где к строгой управленческой иерархии пристегивают «множество разных чиновников по особым поручениям, множество всяких временных и следственных комитетов». Такая система ограничений есть «самая мелочная система», «пустая и жалкая система», порождающая «двух воров наместо одного» (VIII, 357). По Гоголю — и это ключевая для него мысль — принципы государственности сами по себе безусловно хороши, дурны те, кто их искажает, превратно трактует и на свой лад применяет на деле, те «тонкие плуты и взяточники (это уже из другой главы — второго письма о «Мертвых душах».— *Ю. Б.*), которые умеют обойти всякой указ, для которых новый указ есть только новая пожива, но-

---

[1] Зеньковский В. Н. В. Гоголь. Париж (1961), с. 174—175.

вое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку». «Словом,— уточняет писатель,— везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть, наш же брат...» (VIII, 290).

Напомню: я обещал воздержаться от поспешных комментариев, хочется сначала просто суммировать гоголевские идеи «устройства»; так я и постараюсь сделать. Позволю себе лишь отвлечение в сторону вот по какому поводу.

Романтическая апология государственных порядков, изначальная оппозиция по отношению к любой оппозиции, ко всему, в чем проявляется «дух недоверия к правительству» (VIII, 359), естественным образом предопределяет соответствующий взгляд Гоголя на цензуру. Под названием «Карамзин» писатель включает в «Выбранные места..» отрывок из своего письма к Языкову от 5 мая 1846 года. Величайшую заслугу автора «Истории государства Российского» он усматривает в том, что Карамзин «первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно» (VIII, 266). Гоголю, как он уверяет, смешны те сочинители, которые сетуют на невозможность в России сказать правду,— виноваты они сами, ибо пытаются провозглашать правду «заносчивыми словами», «словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души». Между тем надо прежде всего иметь собственную «благоустроенную душу», какой обладал Карамзин, «и тогда возвещай свою правду: все тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве» (VIII, 267).

Даже законопослушный Шевырев с недоумением воспринял этот панегирик цензуре. «Странно... говоришь ты,— писал он Гоголю,— что в наше время можно сказать вслух всякую правду, и в доказательство приводишь Карамзина...» Шевырев напоминает, что сочинение Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», написанное в 1811 году и вызвавшее недовольство Александра I, до сих пор не опубликовано в России, более того, когда он, Шевырев, вздумал сослаться на нее в своей лекции, «то получил за это выговор от попечителя»[1].

Не знаю, обратил ли внимание читатель на оговорку насчет того, что Гоголь «уверяет». Она не случайна. Читая главу «Ка-

[1] Письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю. — Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1893 год, прилож., с. 42—43. См.: Карамзин Н. М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. Вступительная статья Ю. М. Лотмана.— Литературная учеба, 1988, № 4.

рамзин», невольно ловишь себя на мысли: уж не литературная ли мистификация перед тобой? Не отвлекающий ли маневр автора, наученного горьким опытом цензурных мытарств с «Мертвыми душами»? Такое объяснение заманчиво, оно, так сказать, выигрышно с точки зрения писательской репутации, однако боюсь, что для него нет достаточных оснований. «Повесть о капитане Копейкине» и, скажем, письма «Нужно проездиться по России» и «Занимающему важное место» — вещи совершенно непохожие; не сказал бы, что диаметрально противоположные, как принято считать (вопрос сложнее), но все же лежащие в разных плоскостях. Вряд ли Гоголь мог предположить, что в письмах, в которых утверждается идея защиты и укрепления существующего государственного порядка, цензура усмотрит предосудительные и недопустимые обличительные мотивы. Даже мысль подобная не приходила писателю в голову, о чем свидетельствует бодрый, оптимистический тон, в котором он говорит в письмах 1846 года о готовящейся книге.

Гром грянул с ясного неба. Процитированное только что письмо Шевырева датировано 30 января 1847 года, но автор его не знал, что к этому времени Гоголь, по иронии судьбы, на себе самом уже успел почувствовать, насколько «просторно» в объятьях цензуры тому, кто пытается «возвещать свою правду». Еще до получения от Шевырева письма он сообщает ему, «что печатанье книги... задержалось по причине многих возней с цензурами всякого рода и что многих писем к должностным лицам не решаются пропустить» (XIII, 188). В январских и февральских письмах к Плетневу, Смирновой, Жуковскому, Толстому, А. Вьельгорской, к тому же Шевыреву сквозит сначала недоумение, затем растерянность пополам с надеждой, наконец, боль и отчаяние. «Самые важные письма, — жалуется Гоголь Смирновой, — которые должны были составить существенную часть книги, не вошли в нее, — письма, которые направлены были именно к тому, чтобы получше ознакомить с бедами, происходящими от нас самих внутри России, и о способах исправить многое, письма, которыми я думал сослужить честную службу государю и всем моим соотечественникам» (XIII, 198).

Опровергнутой оказалась высказанная в главе «Карамзин» (ее, естественно, цензура не тронула!) уверенность, что «все тебя выслушают, начиная от царя и до последнего нищего в государстве». Высочайшей защиты гоголевской книги от цензуры искали Плетнев, М. Вьельгорский, пытался и сам Гоголь достучаться до царя, упросить его «бросить взгляд на статьи мои», заранее смиренно принимая «свято и непреложно» любое решение, «какое ни произнесут уста Вашего Императорского Величества» (XIII, 425), — все было тщетно...

Неожиданный удар был тем болезненнее, обида тем гор-

ше, что пришелся в самую сердцевину гоголевской концепции государственности. Словно молния ударила в заоблачную вершину стройной иерархической пирамиды; рвалась священная цепь любви к вышестоящей власти, любви, которая, как эстафета, «должна быть передаваема по начальству, и всякой начальник, как только заметит ее устремленье к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь самому Богу» (VIII, 366).

Идея монарха — в ее высшем, трансцендентальном значении — есть венец рисуемой в «Переписке» модели теократического государства, ее важнейший компонент, характерный, по мнению Гоголя, для России и даже исключительно для нее. «В Европе, — замечает писатель, имея в виду, разумеется, новое время, — не приходило никому в ум определять высшее значенье монарха» (VIII, 256). Тамошние «государственные люди, законоискусники и правоведы» смотрят на монарха лишь как на «высшего чиновника в государстве», утрачено представление о божественном происхождении монархической власти, а значит, о «полном значении этой власти», ее могучей объединяющей силе; монархия либо остается анахроничным внешним атрибутом, либо интегрируется в систему буржуазной демократии, становится ее придатком. Иначе в России, говорит Гоголь. «Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо, клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвесть... знаменитый переворот всего в государстве, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя, и воздвигнуть в самом себе ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и всё придет в сознанье сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия» (VIII, 256—257).

Главные аргументы в пользу своих взглядов Гоголь черпает в русской литературе. Считая отличительной чертой русской поэзии («чего нет у поэтов других наций») «высокий лиризм», «что-то близкое к библейскому», он находит едва ли не самое яркое и впечатляющее проявление этого свойства именно в «любви к царю», придающей поэзии «уже со времен Ломоносова и Державина» некое особое «величественно-царственное выражение» (VIII, 249, 251). Истоки этого чувства — в любви народа к царю, «а потому и поэт, как чистейшее отражение того

же народа, должен был ее услышать...» И не только услышать, не только почувствовать, но и осознать «мудростию полного своего разума» все «значение полномощного монарха», прозреть пути «развития полнейшего этой власти» (219).

Гоголь убежден, что глубже всех это смог сделать Пушкин. В письме к Жуковскому, включенному в «Переписку» под заглавием «О лиризме наших поэтов» (цитируемые выше высказывания взяты из него), приводятся размышления Пушкина, который «умно определял... значение полномощного монарха»: «Государство без полномощного монарха — автомат...», «Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера...» (VIII, 252—253).

В этом месте не обойтись без двух оговорок.

Хотя Гоголь и ссылается на сочинения Пушкина, явившиеся «только после его смерти», он делает это в общей форме, не называя таких сочинений конкретно. Это не удивительно. Того текста, который цитирует Гоголь как пушкинский, у Пушкина нет, лишь замечание о Соединенных Штатах («мертвечина») перекликается с некоторыми положениями статьи «Джон Теннер». Можно допустить, как это чаще всего и делается в комментариях, что Гоголь излагает смысл какой-то из своих бесед с Пушкиным. Я, однако, не исключал бы и другого, быть может, несколько рискованного предположения. Не мог ли Гоголь, действительно исходя из опыта своего общения с Пушкиным, бесед с ним, из сложившихся у него представлений о взглядах поэта, взять на себя смелость и сконструировать своего рода модель его суждений? На такую мысль наталкивают некоторые стилистические особенности текста, более характерные, на мой взгляд, для гоголевской, нежели для пушкинской манеры («много — много», «никуды», «шершавый звук», «дурак — барабан или неуклюжий тулумбас», «скрыпка»).

Такова первая оговорка. Вторая связана со случаем, который обычно расценивают как казусный. Когда было посмертно опубликовано под заглавием «К Н***» стихотворение Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один...», большинство современников однозначно увидели в нем посвящение поэту Н. Гнедичу, переводчику «Илиады»; эта точка зрения оказалась превалирующей и в дальнейшем, вплоть до наших дней, хотя в спорах высказывались иногда и другие мнения. Белинский еще задолго до выхода «Переписки», упоминая в пятой статье о Пушкине это стихотворение, прямо называет его «К Гнедичу». Поэтому так шокированы были читатели, в том числе друзья Гоголя, когда он в главе «О лиризме наших поэтов» охарактеризовал пушкинское послание как «оду императору Николаю» и даже сослался на некий эпизод из жизни императора, якобы послуживший поводом для написания Пуш-

киным этого стихотворения. Я не решусь предложить свою обоснованную версию, касающуюся адресата пушкинского послания. Эпизод, пересказываемый Гоголем тоном очевидца (и кому — Жуковскому, дворцовому насельнику!), надо признать, отмечен слишком явной печатью придворной мифологии и носит характер публицистического приема. Да и сопоставление императора Николая (если бы речь шла о нем), с «прямым поэтом», который «с дивной легкостью... летает... во след Бовы иль Еруслана», представляется несколько странным; правда, по свидетельству Анненкова, в автографе две последние строфы вычеркнуты автором. С другой стороны, трудно, на мой взгляд, объяснить и сравнение Гнедича, прекрасного переводчика, но скромного стихотворца, с пророком Моисеем, который «сошел с таинственных вершин и вынес нам», погрязшим в дикости и язычестве, «свои скрижали»...

Что-то здесь не так. Думается, вопрос о стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один...» не стоило бы считать решенным окончательно; впрочем, это компетенция специалистов. Как бы то ни было, в то время практически ни у кого (см., к примеру, упоминавшееся уже письмо Шевырева от 30 января 1847 года) не было сомнений в том, что Гоголь допустил грубейшую и даже в чем-то не совсем приличную ошибку. Содержащиеся в ответе Шевыреву (27 апреля 1847 года) объяснения Гоголя на сей счет довольно туманны; в приписке к письму почему-то утверждается, например, будто именно он, Гоголь, распустил слух о том, что «стихотворение принадлежит Гнедичу»[1]. Что это должно означать, сказать трудно.

Вопрос об отношении Пушкина к императору Николаю и к монархической власти вообще сложен, боюсь, значительно сложнее, чем это выглядит в иных лукавых комментариях. Я не собираюсь его подробно рассматривать. Замечу одно. Достоверны ли или впрямь вольно стилизованы приводимые Гоголем в качестве пушкинских суждения о царской власти; безусловно ли ошибочна или все же не лишена некоторых оснований его трактовка стихотворения «С Гомером...», нельзя отрицать, что в обоих случаях нет кричащего противоречия с известными и неопровержимыми моментами духовной биографии Пушкина. Напомню такие стихотворения, как «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», восторженно принятые царской семьей и ее ближайшим окружением, или письмо поэта к Вяземскому от 1 июня 1831 года, где высказывается убеждение, что мятежных поляков «надобно задушить, и наша медлительность мучительна»[2]. Напомню дневниковую запись от

[1] Письма Н. В. Гоголя в 4-х томах, т. III. СПб., 1901, с. 445. примеч.
[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 351.

26 июля того же года, в которой звучит недовольство не самим фактом усмирения кнутом и картечью (с личным участием императора) бунта в военных поселениях Новгородской губернии, а тем, что «царю не должно сближаться лично с народом», ибо «чернь перестает скоро бояться таинственной власти...»[1]. Говорю об этом, разумеется, не с целью бросить тень на Пушкина, это невозможно, а лишь для объяснения позиции Гоголя, правомерности его ссылок на поэта, которого он называл своим учителем.

К тому же есть тут и аспект субъективный, личный. Роль императора Николая в жизни и творческой биографии Пушкина вряд ли можно считать проясненной до конца и должным образом оцененной. Мы, кажется, уже готовы вырваться из заколдованного круга классово-вульгаризаторских стереотипов, хотя к новой, более объективной, более полной трактовке еще не пришли. Во всяком случае, сегодня нас уже не может удовлетворить взгляд на Николая как злого гения и чуть ли не косвенного убийцу Пушкина; ясно, что не будь царь неглуп и дальновиден, не будь он по-своему доброжелателен к Пушкину, многого бы мы недосчитались в нашей литературе — хотя бы «Капитанской дочки» и «Истории Пугачевского бунта», да и судьба самого поэта после 14 декабря могла бы сложиться совсем иначе...

В отличие от Пушкина, Гоголь не был близок ко двору, Николай знал его понаслышке, говорят, не вполне ориентировался в сочинениях писателя и даже не очень твердо произносил его фамилию. Однако факт остается фактом: именно высочайшая поддержка спасла «Ревизора» — ведь император не только присутствовал на премьере, он смеялся, аплодировал, по преданию, даже сказал какую-то фразу вроде того, что, дескать, «всем досталось, а больше всего мне». Почему-то этот эпизод принято трактовать как проявление того, что Николай «был не так умен...»[2]. По мне, как раз напротив.

Как известно, Гоголь вскоре после премьеры «Ревизора» уехал, угнетенный, за границу, в памяти он увозил горечь и обиду, но увозил и чувство благодарности к тем, кто его понял и ободрил, и далеко не в последнюю очередь — к царю.

Ценил он и царскую денежную помощь, получаемую, правда, во многом благодаря хлопотам Смирновой и Жуковского, но все же получаемую. А для вечно нуждающегося, лишенного постоянного источника доходов Гоголя это было, без преувеличения, дело жизни или смерти. В главе «Исторический живописец Иванов» он рассказывает об одном, далеко, впрочем, не

---

[1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 23.
[2] Золотусский Игорь. Гоголь, с. 193.

единственном случае, когда он очутился в чужом городе, совершенно одинокий, без гроша, перед реальной опасностью умереть не то что от болезни и духовных страданий, «но даже от голода». «Спасен я был государем. Нежданно ко мне пришла от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движение милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг» (VIII, 334).

Помимо естественного человеческого чувства благодарности, которое испытывал писатель к тому, кто помог ему в критическую минуту, известное эмоциональное влияние на его настроение имели, по всей видимости, и письма Смирновой. Александра Осиповна воспитывалась в Екатерининском институте, а традицией этого весьма тесно связанного со двором учебного заведения была трепетная, граничащая с обожанием любовь к членам августейшей семьи. Эти чувства Смирнова сохранила на всю жизнь, значительную часть которой — не забудем — она провела в самой непосредственной близости к своим высоким покровителям. Не удивительно, что ее письма к Гоголю на эту тему носят ярко выраженную интимную окраску, в них ощущается глубокая сопричастность семейным радостям, тревогам, горестям царствующего дома, много подробностей быта и взаимоотношений, личных характеристик, проникнутых неподдельной симпатией, подчас восхищением. Читая письма Смирновой, Гоголь не мог не включаться незаметно для себя в их атмосферу и тональность, люди, близкие Александре Осиповне, которой он очень верил и мнением которой дорожил, к тому же люди, от которых он сам не видел зла, а видел добро, — эти люди и ему становились душевно ближе.

Вот почему так больно должны были ранить Гоголя высказанные Белинским в зальцбруннском письме упреки в том, что он, Гоголь, пытается достичь «небесным путем чисто земных целей» и что есть основания поверить слухам о том, будто вся его книга написана «с целию попасть в наставники к сыну наследника»[1]. Несколько десятилетий спустя, в марте 1909 года, Л. Толстой, перечитывая «Выбранные места...» (и,

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 282, 286. Справедливости ради надо заметить, однако, что еще до письма Белинского Гоголь и сам ощущал какое-то смутное беспокойство, душевный дискомфорт в связи с написанным им о царе. Отсылая в Петербург пятую, заключительную часть рукописи «Выбранных мест...», он пишет в сопроводительном письме Плетневу: «...Тут, в этой тетради, найдешь вставку и перемену к письму «О лиризме наших поэтов». Нужно выбросить все то место, где говорится о значении власти монарха, в каком оно должно явиться в мире. Это не будет понято и примется в другом смысле» (XIII, 111).

кстати, в целом резко не соглашаясь с Белинским в отношении к ним), процитированное выше место из главы «Исторический живописец Иванов» отмечает на полях жирной чертой и ставит сердитый вопросительный знак, а всю главу оценивает «единицей». Что ж, можно понять чувства великого бунтаря и аутсайдера, однако не упустим из виду, что хозяину Ясной Поляны никогда в жизни не доводилось испытывать того отчаянного одиночества, причем в самом буквальном, не метафорическом смысле слова, тех лишений и тех, я скажу, унижений лишениями, какие выпали на долю Гоголя; сытый, как известно, голодного не разумеет...

Впрочем, и Гоголя не ссылали в солдаты, не запрещали ему писать и рисовать, как Шевченко. Легко представить, какие пометки мог бы сделать — но не сделал — ссыльный поэт на полях письма «Исторический живописец Иванов». В его глазах Николай I был «жестоким распинателем», «темным мучителем», «палачом-христианином». В стихотворном послании 1844 года «Гоголю» писатель предстает прежде всего как певец героического казацкого духа, запорожских традиций вольности и демократизма, сама природа которых чужда идее самодержавия, вообще всякой неконтролируемой, тоталитарной власти[1]. Запись от 27 июля 1857 года в шевченковском «Журнале» (дневнике) свидетельствует, что Кобзарь знаком был со статьей о живописце Иванове. Шевченко сдержанно признается, что почему-то заранее относится к «Явлению Христа народу» с некоторым предубеждением, хотя картины не видел; ему, как многим художникам и знатокам, «восторженное письмо Гоголя... ничего не сказало». И это все. Иных, более серьезных упреков «Выбранным местам...» Шевченко не высказывает, их автор остается для него, судя по всему, прежде всего автором «Тараса Бульбы»... А ведь сам он только-только вырвался из царской ссылки, из «этой мрачной, монотонной десятилетней драмы»[2].

Нельзя не отдать должного и Чернышевскому. Его отношение к книге Гоголя однозначно, это критическое отношение. Однако отнюдь не однозначен взгляд на личность писателя. Как бы полемизируя в подтексте с бесцензурным письмом Белинского, наверняка отлично ему известным, Чернышевский от-

---

[1] Вспомним, как описана у Гоголя заключительная церемония выборов запорожцами своего кошевого атамана: «Тогда выступило из средины народа четверо самых старых, седоусых и седочупринных казаков... и, взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоял не сдвинувшись и благодарил казаков за оказанную честь».

[2] Шевченко Тарас. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4. М., 1977, с. 6, 16, 77.

вергает адресованные Гоголю обвинения в погоне за выгодой, искательстве перед властью. «...Каковы бы ни были некоторые поступки Гоголя и даже некоторые стороны его характера, все-таки нельзя не видеть в нем одного из благороднейших людей нашего века» [1].

Гоголевскую систему монархической государственной иерархии чаще всего соотносят с присущим ему интересом и внутренним тяготением к средневековью. К. Мочульский даже замечает в этой связи, что античность, воспетая Гоголем в главе об «Одиссее»,— это в сущности своего рода «псевдоним» чисто феодального общества, признаки которого «соответствовали его средневековому сознанию» [2]. Это любопытное наблюдение, однако оно несколько упрощает проблему, затрагивает лишь поверхностный ее слой. Истоки гоголевской концепции лежат глубже, в византийских представлениях об императорской власти, и античный компонент, если внимательно присмотреться, не замещает здесь средневековье, он включен в более сложный исторический контекст. Дело в том, что византийская теория государства представляла собою синтез различных начал — антично-эллинистических идей автократии, традиций римского принципата и домината и христианской концепции богоизбранности императорской власти [3]. Средневековые европейские монархи выросли из этого триединого византийского корня, русским самодержавием также были унаследованы многие его черты, прежде всего строго централистский характер и мессианистские претензии.

Кому-нибудь может показаться, что проблема носит характер сугубо академический и спор идет о дефинициях. Это не так. Осознание триединства, точнее, трехступенчатой структуры гоголевской концепции монархического государства дает возможность увидеть в ней те грани, которые мы, как правило, не замечаем, не вычленяем, довольствуясь обобщенными, стереотипными формулами. В частности, особенность византийской модели высшей власти состояла в том, что это был сплав трансформированных эллинско-эллинистических и римских традиций государственности, причем не только правовых, но, что особенно важно, и этических, с христианскими постулатами. Результатом было сформирование представлений о земном властителе как репрезентанте власти божественной. Идея царства становилась первичной, идея царя — вторичной. Монархическое

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. III, с. 535.

[2] Мочульский К. Духовный путь Гоголя, с. 100.

[3] См. об этом: Курбатов Г. Л. Политическая теория в ранней Византии. Идеология императорской власти и аристократическая оппозиция.— В кн.: Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984, с. 98—118.

государство сохраняло и развивало — разумеется, на свой лад, в христианской интерпретации — античный принцип «согласия», «единомыслия», оно противостояло центробежным тенденциям и враждебному напору извне «не в силу своего деспотизма, но опираясь на традиции определенной гражданской общности, «общего дела» [1].

Внимательный читатель «Выбранных мест...» заметит, что выражение «общее дело» — из лексикона автора книги (через несколько десятилетий оно появится в названии сочинения другого отечественного мыслителя, Н. Федорова,— «Философия общего дела»). И это не простое совпадение, здесь созвучность. Созвучность тем сторонам византийского учения о монархе, в которых выявлялось сложное сочетание «полномощной» власти, богоизбранности самодержца с его ответственностью перед Богом за вверенную ему власть, а в известной мере и перед людьми, перед «народом Константинополя», представление об императоре как о верховном властителе и — одновременно — как о рабе Божьем, смертном человеке. Такого рода нюансы во взглядах автора «Выбранных мест...» его критиками, ослепленными праведным гневом, по традиции попросту игнорируются.

Между тем в данном случае уместно, пожалуй, говорить даже не о «нюансах», нет, мы имеем дело с весьма существенными, коренными особенностями взгляда Гоголя на монархию, особенностями, придающими этому взгляду принципиально важное качество, прежде всего — историческую зоркость. Вместо казенной, плоской, одномерной трактовки обнаружим «стереоскопичность» вйдения проблемы, понимание ее внутренней противоречивости, ее ретро- и перспективных сторон. Смещаются акценты: мотив «полномощной» власти как-то незаметно заслоняется двумя другими мотивами — любви и долга. Неожиданным образом сквозь оболочку традиционных, официозных формул пробивается, хотя и с трудом, не сразу уловимое, но все-таки уловимое критическое начало, нота неудовлетворенности. Апология утрачивает строгие очертания, скорее это обрисовка целей, едва завуалированный призыв к совершенствованию — и тем самым разве не скрытый намек на нынешнее несовершенство, на несовпадение, или по крайней мере неполное совпадение, реальности с абсолютом?

В самом деле, обратим внимание: там, где у Гоголя речь идет о высочайших, по его убеждению, достоинствах государя — осознании им собственного долга и его любви к людям, там все дается в будущем времени, там звучит утверждение не столько сущего, сколько должного. «...Да образуется в России эта власть (власть монарха.— *Ю. Б.*) в ее полном и совершен-

---

[1] Культура Византии, с. 107.

ном виде» (VIII, 257). «Да образуется» — стало быть, еще не образовалась, а если и образовалась, то все же пока не достигла полноты и совершенства. Или: «Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши всё, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновенье будет не жестко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство». И там же: «Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом Того на земле, Который сам есть любовь» (VIII, 256).

Гоголь говорит о любви к царю как источнике высокого лиризма русской поэзии, но вольно или невольно сбивается на предостережение: «...Если бы даже и нашелся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилится сам перед святостью званья своего» (VIII, 252). «Сии строки»—это оды Державина. Певец Фелицы импонирует Гоголю тем, что в своих одах, воспевая «трех царей», вместе с тем смело «очертывает властелину широкий круг его благотворных действий» (VIII, 251). Примерно так же киевский философ Хома Брут — вы помните? — ограждал себя от разгулявшейся нечистой силы. Гоголь по сути пытается замкнуть в подобном невидимом круге своего государя, дабы уберечь его от искушений громадной власти. Надо признать, довольно дерзкая попытка, которую сам писатель, вероятно, оправдывал лишь искренностью своих намерений.

Тишайшему Жуковскому такая дерзость вроде бы чужда. И все же, заметим, письмо «О лиризме наших поэтов» адресовано именно ему. В чем тут дело?

Ко времени создания «Выбранных мест...», к 1845—1850 гг., относятся так называемые «Отрывки» Жуковского, серия заметок-размышлений о христианстве, философии, науке, искусстве, морали, педагогике, а также примыкающие к ним «Мысли и заметки»; последние включают рабочие записи, связанные с деятельностью Жуковского как воспитателя наследника, и в черновиках объединены общей рубрикой «Для Великого Князя». Главная тема «Мыслей и заметок» — государственное и общественное устройство, фундаментальные нравственно-религиозные принципы самодержавной власти, отношение государя к своим подданным. Перед нами своего рода конспект правового и гуманистического «семинария» для будущего императора.

Так вот, в размышлениях Жуковского обнаруживаем немало точек соприкосновения с гоголевскими «Выбранными местами...». Прежде всего это глубокая убежденность в том, что самодержавие «есть высшая и самая простая форма верховной власти» и что «любовь к самодержавию и чувство спасительности самодержавия вкоренилось в русский народ» исторически, еще со времен междоусобий и татарского ига. Отсюда — естественное неприятие «разрушительной философии XVIII века», которая, «подкопав все основания общества, выразилась наконец в революции... опрокинула весь прежний порядок». Безоговорочно отвергая провозглашаемые революцией атеизм, «отвержение всякой власти» и неизбежно, на его взгляд, вытекающий из этого «республиканский деспотизм террористов», деспотизм «черни, гордой свободою», Жуковский, однако, не приемлет и деспотизма, насаждаемого «верховным властителем». «Там нет народного благоденствия,— пишет он в заметке «Деспотизм»,— где народ чувствует себя под стесняющим влиянием какой-то невидимой власти, которая вкрадывается во все и бременит тебя во все минуты жизни...» Для него существует глубочайшая разница, пропасть между восточными деспотиями, где покорность «рабствующих народов» есть «предание себя железной необходимости», и историческим русским самодержавием, суть которого ему видится в том, что народ осознает «святыню царской власти», царь же, «понимая это чувство во всей его обширности, не будет гордиться, а преисполнится смирения перед недоступным величием того идеала, который века и судьба земли русской вложили в сердце русского народа». «И беда самодержцу, — добавляет Жуковский, — когда сей идеал утратится в сердце русского народа». «Терпеливость» и смирение» — вот ключевые понятия в характеристике Жуковским русского самодержавия. «Смирение христианское есть венец самодержавия; оно должно быть святейшею добродетелью самодержца», ибо, «представляя Бога, он не есть Бог, а только самый могущественный исполнитель Божией воли, то есть Божией правды»[1].

Как видим,—это отголоски той же, что и у Гоголя, византийской традиции, хотя ни в одном из случаев прямых ссылок на Византию нет. Близость взглядов обоих авторов столь явственна, что есть все основания предположить влияние одного на другого (быть может, Жуковского, как старшего, более опытного, близкого ко двору, на Гоголя?), скорее же — взаимовлияние. Доверительные беседы на эти темы могли начаться еще в 1838 году в Риме, куда Жуковский прибыл вместе со своим

---

[1] Жуковский В. А. Полн. собр. соч. в 12-ти томах, т. XI. СПб., 1902, с. 34—37.

августейшим воспитанником и где писателей, знакомых еще по Петербургу, особенно сблизили скорбные воспоминания о Пушкине. Судя по дневниковым записям Жуковского, они встречались часто — у великого князя и на вилле Зинаиды Волконской, в мастерских художников и у Гоголя, на Via Felice. Но еще большее значение имели, вероятно, более поздние, 40-х годов, встречи в Европе, где к тому времени уже почти постоянно жил Жуковский и где Гоголь метался в тщетных поисках эффективного лечения и душевного успокоения. Именно тогда формировался замысел «Переписки» и шла работа над ней.

Вернемся, однако, к образу царя у Гоголя.

Кто же этот кроткий, любвеобильный помазанник, рыдающий и молящийся денно и нощно, излучающий безграничную доброту, смирение, всепрощение, — то ли Людовик IX Святой (сравнение К. Мочульского), то ли ушедший от мирских страстей пустынник? Во всяком случае, это не император Николай Павлович, такой земной, далеко не безгрешный человек, такой грозный, могущественный и беспощадный властитель, чей стальной взгляд заставлял холодеть не только Россию, но и Европу. Не случайна несколько небрежно оброненная Гоголем фраза: «Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще...» (VIII, 254). Где и когда, в каком сказочном царстве-государстве, в каком граде Китеже или Новом Иерусалиме правит гоголевский государь-схимник? Во всяком случае, не в современной писателю николаевской России, не в последекабристскую и предреформенную эпоху — это очевидно.

Как же ответить?

Не думаю, чтобы можно было всерьез принять версию Абрама Терца, по которой в гоголевском «идеальном Монархе» нам рисуется ...сам Гоголь с его якобы «маниакальной... страстью к неземному владычеству», что подобно Поприщину «Гоголь примеривал собственную корону: идет!»[1]. Это коробящее ёрничанье связано с тем зудом хлесткости и эпатажа, который снедает автора и, замечу, основательно вредит его книге.

А может быть, правы были те, кто видел (пусть каждый со своей колокольни) истоки ошибок и срывов автора «Переписки» в том, что он не знал России, мало дышал ее «святым воздухом», судил о ней из «прекрасного далека»? Возможно, в этих упреках, да что там — обвинениях была какая-то часть правды; та часть, которую знал о себе сам писатель («...Все мы очень плохо знаем Россию»; VIII, 287) и которая, впрочем, с не меньшим основанием может быть отнесена к тем, кто

---

[1] Абрам Терц. В тени Гоголя, с. 68, 69.

наблюдал Россию из окон петербургских редакций или московских барских особняков...

Важнее понять другое. Гоголь действительно стоит одиноко в современной ему русской духовной жизни, его положение известным образом изолированно, однако причина тут не в географической отъединенности (как долго прожили в чужих краях Герцен, Тургенев?), а в том прежде всего, что Д. Чижевский называет «иной культурной эпохой»[1].

Гоголь словно бы приотстал от своего времени. Нельзя не заметить, что в духовном отношении «отцы» ему явно ближе, нежели ровесники, он тянется к старшим — к Державину, Пушкину, Карамзину, Жуковскому, И. Дмитриеву. В идейной и литературной буче 40-х годов он выглядит посторонним, человеком «александровской эпохи» — с присущей этой эпохе неустойчивостью воззрений и настроений, крутыми перепадами от либеральных порывов и мистически окрашенного энтузиазма к разочарованию, консерватизму. «Мечты о грядущем Иерусалиме, о феократическом правлении, о царстве Божием на земле как на небе привели к Священному Союзу в Европе и к военным поселениям в России»[2].

Я не хочу сказать, будто в Александре I Гоголь видит желанное воплощение идеала́ монарха. Отнюдь нет. В главе о русской поэзии он как раз оценивает «опрятный, благопристойный, вылощенный» (VIII, 375) век Александра без всякой приязни, скорее в иронической интонации. Но где-то в подсознании «дней Александровых прекрасное начало» все же заслоняет для него происходящее сегодня, рядом, вокруг, о многом из того, что волнует современников, будоражит умы, раздирает общество, таит в себе потрясения, — о многом он судит как-то отрешенно, судит не то что из «прекрасного далека», а скорее из иного времени. Парадоксальным образом это «отставание», замечает Д. Чижевский, обернулось тем, что Гоголь опередил свою эпоху, и это стало причиной «его идеологических «провидений», предвосхищения им идей Достоевского, эстетики символизма, некоторых религиозных мотивов, появляющихся снова только у современных русских религиозных философов»[3].

Показательна позиция, занятая Гоголем в острейших баталиях, между так называемыми западниками и славянофилами. Привлеку, в частности, внимание читателя к эпизоду со стихотворением Языкова «К ненашим». Не буду вдаваться в анализ этого произведения и в споры о нем, длящиеся по сей

---

[1] Чижевский Дмитрий. Неизвестный Гоголь.— Новый журнал, Нью-Йорк, 1951, XXVII, с. 135.

[2] Мережковский Д. С. Александр I. — Полн. собр. соч. в 17-ти томах, т. XVI. СПб.—М., 1913, с. 268.

[3] Новый журнал, 1951, XXVII, с. 136.

день. Хотя послание, непосредственным адресатом которого был скорее всего Чаадаев (предположительно назывались еще имена Грановского, Герцена, А. Тургенева), увидело свет лишь посмертно, оно сразу же после написания (в конце 1844 года) получило широкую известность, ходило по рукам, возбуждало страсти и в тогдашних условиях острой идейной полемики приобрело репутацию «пасквильного», продиктованного «духом партии», то есть славянофильского лагеря. Уже в номере «Литературной газеты» от 1 февраля 1845 года Некрасов публикует пародию на Языкова под названием «Послание к другу (из заграницы)» (правда, он затем не включал ее ни в один свой прижизненный сборник). Белинский в обзоре «Русская литература в 1844 году», не называя послание «К ненашим», поскольку оно не было опубликовано, наносит Языкову контрудар, называя его «заживо умершим талантом»[1]. А в письме к Герцену просит последнего принять меры для «распространения» пародии Некрасова[2].

Гоголь в самом начале 1845 года пишет Языкову из Парижа короткую записку с восторженной оценкой послания. «Сам Бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи «К ненашим». Душа твоя была орган, а бряцали по ним другие персты. Они (стихи.—*Ю. Б.*) еще лучше самого «Землетрясенья» и сильней всего, что у нас было написано доселе на Руси» (XII, 455). В следующем письме, сообщая, что от стихотворения «без ума» графини Вьельгорские и А. Толстой, он не скрывает довольной усмешки: «...Тургенев, кажется, закрутит нос, а может быть, даже и чихнет» (XII, 457) (имеется в виду, несомненно, Александр Иванович Тургенев, один из возможных адресатов языковского послания. — *Ю. Б.*). Однако в двух письмах к Языкову, вошедших в «Выбранные места...» под общим заглавием «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», о послании «К ненашим» нет ни слова, речь в них идет как раз о «Землетрясении». Правда, письма датированы 1844 годом, но готовил-то их к публикации Гоголь позднее, летом 1846 года, и ничто не мешало ему, скажем, что-то дописать или дополнить главу третьим письмом. Более того, уже осенью 1846 года он завершает работу над специально написанной для книги большой статьей «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»; здесь есть довольно пространная характеристика поэзии Языкова, приводятся строки из стихов, но только не из послания «К ненашим», оно вновь даже не упоминается.

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7, с. 192.
[2] Там же, т. 9, с. 573.

Выходит, в частной переписке с Языковым Гоголь неискренен? Или он лукавит позднее, в книге, пытаясь обойти острые углы, избежать атак со стороны западников? Скажу, что односложный ответ на эти вопросы вряд ли возможен, надо разобраться спокойно.

У меня лично не вызывает сомнений, что главный пафос послания Языкова должен был импонировать Гоголю. Гневный «возгла́с» поэта против тех «одноплеменников», для которых «чужд... странен, дик» и глас народа, и сам народ русский, чужды «могучих прадедов деянья»; неприятие «предательских мнений и святотатственных снов», навязываемых России под видом новейшего «просвещенья»; вера в то, что «Русь святая» вопреки всему «крепка, надежна» и «русский Бог еще велик», — все это близко уму и сердцу Гоголя. Почти в той же, что у Языкова, тональности звучит в гоголевской «Переписке» обращение к неустановленному адресату — «Близорукому приятелю»: «Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои — гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва — и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие. Россия не Франция; элементы французские — не русские» (VIII, 347). Мысль о неорганичности, чуждости для России европейского пути, о необходимости самобытного, самостоятельного развития, опоры на национальные традиции, веками освященные общественные формы, на исконные духовные ценности варьируется в разных главах «Выбранных мест...», это один из важнейших лейтмотивов книги. Сказывается и субъективный оттенок — сугубо личное, внутреннее отталкивание Гоголя от увиденных в Европе многих черт тамошней цивилизации, особенностей образа жизни, быта, нравственной атмосферы (вспомним, к примеру, некоторые его письма из Парижа или парижские зарисовки в «Риме»).

Словом, не был случайностью восторженный отклик Гоголя на послание «К ненашим», как неслучайны и его дружеские отношения с московскими славянофилами при полном отсутствии таковых с представителями противоположного направления.

Тем не менее к славянофильской «партии» Гоголь не принадлежал. И не только в силу многолетнего пребывания вне пределов России. Он не приемлет кастовой узости, всякого рода крайностей, экстремизма, эпатирующих выходок. «Меня смутило... известие твое,— пишет он в ноябре 1845 года Шевыреву,—о Константине Аксакове. Борода, зипун и проч.... Он просто дурачится...» (XII, 537). Аксаков-младший продолжал «дурачиться», и Гоголь примерно тогда же обращается

уже непосредственно к нему: «Ко мне дошли слухи, что вы слишком привязались к некоторым внешностям, как-то: носите бороду, русский кафтан и проч.» (XII, 540).

Дело, разумеется, было не во «внешностях» как таковых, Гоголь не обратил бы на них внимания, если бы не разглядел за декоративными атрибутами тревожащих его тенденций. Задолго до писем о «зипуне и проч.» он замечает в К. Аксакове вещи куда более серьезные и прямо говорит ему о них. В конце 1842 года, когда только что вышла восторженная брошюра К. Аксакова о «Мертвых душах» и отношения были безоблачными, Гоголь пишет своему молодому другу очень важное письмо. Извинившись за то, что не благодарит за статью, ибо еще не получил ее, Гоголь замечает далее: «...Я знаю, что вы, любя меня, не любите, однако ж, слушать слов моих, если они касаются лично вас». Несмотря на это он считает нужным послать Аксакову «упрек». И какой упрек! «Я не прощу вам того,— пишет Гоголь,— что вы охладили во мне любовь к Москве. Да, до нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. Толкуя беспрестанно одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы живить его. Мне было горько, когда лилось через край ваше излишество и когда смеялись этому излишеству. Всякую мысль, повторяя ее двадцать раз, можно сделать пошлою» (XII, 125). Гоголь умоляет Аксакова отбросить фразерство, взяться за дело, послужить России будничной, но столь необходимой и сулящей радость работой. «Перед вами громада — русский язык! Наслажденье глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его... Займитесь теперь совершенно стороною внутреннею русского языка в отношении к нему самому, мимо отношений его к судьбе России и Москвы, как бы это ни заманчиво было и как бы ни хотелось разгуляться на этом поле» (XII, 125—126) [1].

---

[1] Удивительное, казалось бы, дело: эти рекомендации воинствующему славянофилу, гордому своей «русскостью», близки тому, о чем Гоголь говорит в письме к А. Вьельгорской, особе совсем другого воспитания и среды, лишь мечтающей сделаться русской *«не только душой, но и языком, познаньем России»*. Гоголь настойчиво внушает ей мысль о необходимости изучать старославянский язык, заниматься отечественной историей, читать летописи, забытые книги о русской старине. О последних он, кстати, замечает, что они «гораздо полезнее всех тех, которые пишутся теперь о славянах и славянстве людьми, находящимися в броженьях, в переходных состояниях духа, возрастах, подвластных воображенью, обольщеньям самолюбивого ума и всяким пристрастьям (XIV, 108, 110—111). Не составляет труда догадаться, кто́ мог послужить моделью для этого набросанного несколькими штрихами портрета...

Советы К. Аксакову остались втуне. Константин Сергеевич так и не избавился от своих крайностей, нетерпимости, склонности к звонкой фразе, не изменил стремлению—смешному и далеко не безвредному — соотносить любой «зипун и проч.» с «судьбой России и Москвы». Спустя несколько лет он напишет автору «Выбранных мест...» то самое грубое письмо, о котором уже упоминалось, обвинит писателя во лжи и неискренности, о себе же скажет с чувством удовлетворения и гордости: «Я все тот же: еще более стою за Русскую землю, еще сильнее против Запада...»[1]

Гоголю претит малейшее проявление «духа партии», он уклоняется от любых — слишком уж крепких для художника — групповых объятий. Известно, что не увенчались успехом неоднократные попытки Белинского привлечь его к сотрудничеству в «Отечественных записках». Известно и другое. Когда римский знакомый Гоголя, В. Панов, попробовал было через Языкова раздобыть какую-нибудь статью для редактируемого им «Московского сборника» славянофильской ориентации, Гоголь (опять же через Языкова) предложил редактору «понюхать некоторого словца под именем: *нет*...» (XIII, 107).

Интересен не просто сам факт отказа Гоголя, интересна его аргументация. «У нас воображают,— пишет он Языкову,— что все дело зависит от соединения сил и от какой-то складчины. Сложись-ка прежде сам да сделайся капитальным человеком, а без того принесешь сор в общую кучу. Нет, дело нужно начинать с другого конца. Прямо с себя, а не с общего дела. Воспитай прежде себя для общего дела, чтоб уметь, точно, о нем говорить, как следует. А они: надел кафтан да запустил бороду, да и воображают, что распространяют этим русский дух по русской земле!» Гоголь намекает Языкову, что хотел «им кое-что сказать, но знаю, что они меня не послушают...» (XIII, 107).

Письмо датировано 6 октября 1846 года. Гоголь как раз заканчивает работу над «Выбранными местами...», через несколько дней к Плетневу отправится по почте последняя тетрадь. Он уже знает: «кое-что», которое необходимо сказать «им», будет в книге сказано. Это глава «Споры».

Но кому — «им»? Из письма к Языкову как будто следует, что речь должна пойти о славянофилах. Тем более что в конце письма Гоголь высказывает надежду: Бог «вооружит» его слово и «направит его как раз на то место, на которое следует ударить», и тогда, говорит он Языкову, «услышат от тебя другие послания, а в них твою собственную силу со всем

---

[1] Аксаков К. С. Письма к Н. В. Гоголю.— Русский архив, 1890, № 1, с. 156.

своеобразьем твоего таланта» (XIII, 108). Без сомнения, Гоголь если не вообще пересматривает, то существенно корректирует свою оценку стихотворения «К ненашим», теперь он ждет от поэта «других посланий». Вот почему об этом стихотворении в книге ничего не говорится, ведь Гоголь сам уходит от всякой «партийной» односторонности и старается друга увести, пробудить в нем ту силу и тот талант, которые бы не зависели от группового диктата. Таков ответ на вопрос о «неискренности» Гоголя. На второй вопрос попробую ответить ниже.

Глава «Споры» стала «другим посланием» самого Гоголя. Выясняется, что, адресуя свое обращение «им» (установить имя непосредственного адресата, некоего Л***, пока не удалось), писатель имеет в виду не одних славянофилов, как можно было ожидать после письма к Языкову, а и их оппонентов, тех и других вместе. Очевидно его стремление не только избежать защиты какой-либо из двух сторон и не просто уклониться от споров («К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся»; VIII, 229, 263), но подняться над ними, взглянуть на проблему с более высокой, нежели у любого из участников, интегрирующей точки зрения.

Гоголя не беспокоит, что спорящие стороны — «славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники» — в пылу борьбы наговаривают «весьма много дичи». На его взгляд, противники по сути «не перечат друг другу», ибо говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета»; различны лишь ракурсы: одни, подойдя вплотную к «строению», не видят ничего, кроме фасада, другие сосредоточены на деталях, частностях, «не видится им верхушка всего строения, то есть главы, купола и всё, что ни есть в вышине». Не так уж много нужно сделать той и другой стороне, чтобы сблизить позиции, всего какой-то шаг. «Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими». И это по-настоящему тревожит Гоголя: расшатываются основы общества, «под маскою славяниста или европиста» сплошь и рядом орудует плут, пройдоха, карьерист (VIII, 262—263).

Считается, что в «Спорах» Гоголь все же не сумел скрыть своей симпатии к славянофилам. Действительно, писатель замечает, что «правды больше на стороне славянистов и восточников», они «все-таки говорят о главном». Однако на их стороне, по мнению Гоголя, больше и «кичливости»: «...Они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу» (VIII, 262). К этой характеристике, кстати, Гоголь возвращается еще раз в четвертом письме о «Мертвых душах». «Многие из нас, — пишет он, — уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не

о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство — губитель всего... Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим!» (VIII, 298).

(На провидческий смысл этого гоголевского предостережения обратил внимание Л. Толстой при перечитывании «Переписки», поставив на полях соответствующую пометку. А как звучит оно в наше время!..)

Но все же главное в позиции Гоголя — стремление оставаться «над схваткой», быть выше ненавистного ему духа партийных раздоров, которые в его глазах есть «скорлупа дела, а не ядро дела». Одобрив поначалу языковское стихотворение «К ненашим», он затем критически отзывается о двух других посланиях аналогичной направленности, предостерегает друга: «Поэту более следует *углублять* самою истину, чем *препираться* об истине» (XII, 475). Предпоследнюю в «Переписке» главу Гоголь заканчивает выражением надежды на то, что русская поэзия силой своего могучего дара «вызовет нам нашу Россию, — нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же...» (VIII, 409).

Тут как раз и уместно вернуться ко второму из возникших выше вопросов: неужто Гоголь и впрямь просто-напросто осторожничал, балансировал между враждующими силами или суть его позиции в чем-то другом?

По-видимому, именно этой темы касался Анненков в письме к Гоголю, которое не сохранилось. Судя по гоголевскому ответу от 20 сентября 1847 года, Анненков превратно истолковал слова Гоголя о своем поиске «законной желанной *середины*, уничтоженья лжи и преувеличенностей во всём (XIII, 382), упрекал писателя в том, что он пытается занять нейтральное, промежуточное положение в столкновении партий, вероятно, намекая при этом, что такая попытка чревата «посредственностью». Что же отвечает Анненкову (и нам!) Гоголь? Вот что: «...Дело в том, что я под словом «середина» разумел ту высокую гармонию в жизни, к которой стремится человечество, которая слышится несколько вперед только людьми, преобладательно одаренными поэтическим элементом, но никак не может обратиться в систему какого-нибудь стремленья каждого человека. К середине этой идут не поскабливаньем того и другого в той и другой партии: напротив, к ней идет каждый своею дорогою... Вы назвали мое стремление выслушивать с равным вниманием все работающие ныне силы стремлением

уравновешивать эти силы. Это довольно грубая ошибка. Это стремление есть просто *желанье знать дело обстоятельней другого*. Вот и все!» (XIII, 387—388).

За свое желание Гоголь дорого поплатился. Мы помним, что, намереваясь «кое-что» сказать «им», он не питал иллюзий, наперед знал: «...Они меня не послушают...» (XIII, 107). И, конечно, как в воду глядел. Книга его оказалась между жерновами, попала под уничтожающий огонь с обеих сторон — достаточно вспомнить письма Белинского и К. Аксакова...

Письма эти исходят из противоположных литературных окопов, сближает их главным образом безоговорочное отрицание книги Гоголя, исходные же импульсы критики и конкретная аргументация, как правило, принципиально различны. Но по крайней мере в одном вопросе оба гоголевских корреспондента единодушны — в своем отношении к главе «Русской помещик» и, в связи с ней, ко взглядам писателя на крепостное право в России. В этом нашло свое отражение всеобщее мнение, исключений практически не было (об одном из них я скажу). «Особничество» Гоголя, не будет преувеличением сказать — его общественная изоляция в вопросе о крепостном праве приобрели слишком явный, поистине одиозный оттенок. Со всей очевидностью обнаружилась бездна между взглядом на проблему прогрессивно мыслящей, больше того — вообще трезво мыслящей России и тем, как проблема эта предстает у Гоголя в главе «Русской помещик». Белинский имел все основания назвать уничтожение крепостного права в числе «самых живых, современных национальных вопросов в России», острейшую необходимость решения которых «чувствует даже само правительство», но, к несчастью, не чувствует «великий писатель, который своими дивно художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России...»[1].

Отрицать правомерность этого упрека автору «Выбранных мест...» невозможно. Иное дело, что упрек оборачивается у критика несоразмерно тяжкими обвинениями: «проповедник кнута», «панегирист татарских нравов» и т. п., принять которые также нельзя. Однако факт остается фактом: проведенная, причем сверху, через полтора десятилетия после «Переписки» отмена крепостного права, гоголевской программой «устройства» России не предусматривалась.

Здесь самое уязвимое место этой программы. Растерявшиеся современники, не будучи в состоянии осмыслить, тем более оправдать отмеченное Белинским противоречие, ограничивались преимущественно негодующими восклицаниями, а то

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 282.

6*

и крепкими эпитетами. У сегодняшнего читателя «Выбранных мест...» нет морального права оставаться в прежних рамках, хотя десятилетиями нормативная история литературы приучала нас, и небезуспешно, именно к этому.

Читая главу «Русской помещик», постараемся прежде всего не терять из виду две важнейшие, коренные особенности мировоззрения автора, понимания им сути и характера общественных процессов, о которых уже упоминалось. Во-первых, его изначальное неприятие любой революционной ломки общественных структур и ориентация на совершенствование — в рамках этих структур — отношений между людьми, «строение» (и «самостроение») человека. И во-вторых, убежденность в высшей, Богом данной предопределенности — «каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит» (VIII, 225). Могла ли на такой почве вызреть или хотя бы дать ростки идея уничтожения крепостного права? Психологически эта идея воспринималась Гоголем — иначе и быть не могло — как чуждая основам русской жизни, как порождение воспаленного ума тех «огорченных» людей, которые, пусть и побуждаемые добрыми намерениями, отрицанием «всего того, что кажется в их глазах несправедливостью», не сеют, однако, вокруг себя ничего, кроме опасной нетерпимости, «духа раздражительности» и «благородного негодованья против общества».

С людьми подобного рода встречается, если мы вспомним, на службе Тентетников во втором томе «Мертвых душ», они даже «подействовали на него сильно», подтолкнули к конфликту с начальством. Тентетников оставляет службу, оседает в деревне, где начинает «хозяйничать, распоряжаться», обуреваемый искренним желанием использовать весь накопленный «запас» сведений, нужных для распространения добра между подвластными, для улучшения целой области, для исполнения многообразных обязанностей помещика».

Сюжет достаточно традиционный для русской литературы первой половины прошлого века. До Тентетникова переселялись в деревню (правда, на время) «глубокий эконом» — герой «Евгения Онегина» и Владимир Z. из неоконченного пушкинского «Романа в письмах», этого своеобразного варианта «к бессмертным сценам в доме Лариных»;[1] позднее — толстовский князь Нехлюдов, оставивший университет, чтобы целиком посвятить себя заботе «о счастии этих семисот человек, за которых я должен будут отвечать Богу» («Утро помещика»).

Чтобы лучше понять замысел «Русского помещика», стоит вспомнить, как развивался и чем закончился деревенский экс-

---

[1] Брюсов Валерий. Неоконченные повести из русской жизни.— В кн.: Пушкин. Соч. в 6-ти томах, т. IV. СПб., 1910, с. 265.

перимент Тентетникова. Первая встреча с мужиками тронула молодого помещика до слез, укрепив в горячем стремлении разделить с крепостными «труды и занятия». Первые шаги в хозяйстве были уверенны и энергичны: Тентетников уменьшил барщину, выгнал плута и дурака управителя, сам неустанно вникал во все работы. Но вскоре наступило разочарование, оказалось, что «прыткость» не заменит знания хозяйства и понимания людей, строгим Тентетников быть не умел, а доброта явно шла во вред ему да и самому мужику. Разочарование сменилось равнодушием, апатией, тайной душевной болью от сознания того, «что, растопившись подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки» и что «не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек...».

Письмо «Русской помещик»—это своего рода предостерегающая памятная записка, конспект программы действий для того, кто, как Тентетников, «положил себе непременно быть помещиком». Возможно, оно адресовано Виктору Владимировичу Апраксину, племяннику А. Толстого, или, скорее, написано под влиянием бесед с ним. Апраксину Гоголь симпатизировал, ему нравился этот «весьма дельный молодой человек, вовсе не похожий на юношей-щелкоперов», который намерен серьезно заняться благосостоянием своего огромного имения (XIII, 175). Впрочем, письмо перекликается, подчас почти совпадает текстуально, и с советами Гоголя сестре Ольге, содержащимися в письме к матери от 1 мая 1846 года.

Хозяйственных советов в узком смысле слова писатель в «Русском помещике» избегает: «Это ты знаешь лучше меня...» Внимание его сосредоточено на социально-нравственной, можно сказать, философской стороне дела. Свою задачу Гоголь видит в том, чтобы обосновать и внушить корреспонденту мысль о законности и незыблемости существующих между барином и крепостными отношений, о богоданности власти помещика над мужиком. «Собери прежде всего мужиков,— советует он, — и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога» (VIII, 324, 322). Нравственной опорой в любом вопросе помещик должен сделать Святое писание, а первым своим помощником — священника. Из рекомендаций Гоголя вырисовывается близкая, как мы помним, его уму и сердцу модель

иерархической лестницы, на вершине которой находится помещик-«патриарх», остальные ступени занимают священник, приказчик, староста и, наконец, «примерные хозяева и лучшие мужики». Последним следует оказывать всяческое уважение, «чтобы, еще завидевши издали примерного мужика и хозяина, летели бы шапки с головы у всех мужиков и все бы ему давало дорогу» (VIII, 323).

Таким «очинно сильным» мужиком называют у Л. Толстого в «Утре помещика» старика Дутлова, главу большой работящей, состоятельной семьи. «Лошадей у них, — объясняют в деревне Нехлюдову, — окромя жеребят да подростков, троек шесть соберется, а скотины, коров да овец, как с поля гонят да бабы выйдут на улицу загонять, так в воротах их то сопрется, что беда; да и пчел-то колодок сотни две, не то больше живет».

Сопоставление «Русского помещика» с произведением Л. Толстого принадлежит П. Матвееву, одному из немногих, чуть ли не единственному, кто доказывал, что в письме Гоголя нет «ничего позорного» и что писатель вообще «не только лучше знал нашего крестьянина, но и любил его не менее вознегодовавших на него за это письма народолюбцев». П. Матвеев считает, что на Толстого «письмо Гоголя к русскому помещику произвело... сильное впечатление и притом не возбудило в нем никакого негодования» и что «Утро помещика» «носит довольно очевидно следы этого влияния»[1].

Сама по себе предложенная П. Матвеевым параллель не лишена интереса, тем более что «Утро помещика»—это отрывок из неоконченного романа под названием «Русский помещик». Однако выводы, сделанные критиком из своего наблюдения, придется оспорить. «Утро помещика» датировано 1852 годом, и нет свидетельств того, что Толстой к этому времени вообще был знаком с «Выбранными местами...». Во всяком случае, упоминание о них встречаем лишь в дневниковой записи от 8 сентября 1857 года. И вот какова эта запись: «Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь»[2]. В конце жизни Толстой пересмотрел свою оценку «Переписки» и ее автора, но в 50-е годы если и было «сильное впечатление», то далеко не положительное.

Но дело не только в этом. По своему содержанию и даже по сюжету «Утро помещика» сопоставимо скорее не с письмом «Русской помещик», а с той частью первой главы второго тома «Мертвые души», где рассказана история неудавшегося хозяйствования Тентетникова. Подобно гоголевскому ге-

---

[1] Матвеев П. А. Николай Васильевич Гоголь и его Переписка с друзьями, с. 89—90.

[2] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 47, с. 156.

рою, Нехлюдов обуреваем высокими нравственными устремлениями, горячим желанием посвятить себя служению своим крепостным и в этом обрести душевное удовлетворение. Подобно Тентетникову, он оказывается беспомощным перед лицом неприглядной деревенской реальности, «человеком со стороны», чуждым тем, кого мечтает осчастливить, неспособным постичь их психологию, их действительные заботы и желания.

Вместе с тем в трактовке этого конфликта Гоголем и Толстым, в попытке его разрешения есть глубокое различие. Беда Тентетникова прежде всего в нем самом, в его полнейшей инфантильности, неумении управляться с хозяйством и с мужиком, норовящим перехитрить, обмануть доверчивого барина, воспользоваться его добротой. Герой Гоголя терпит поражение как слабая личность, как человек, взявшийся за непосильное дело, он не слишком болезненно переживает утрату иллюзий, смиряется с неудачей, так и не поняв, в сущности и не попытавшись понять, в чем ее корень. А вот писатель со своими иллюзиями не расстается, ему кажется, что если другой помещик извлечет из горького опыта Тентетникова необходимый урок, то все пойдет на лад. Такой урок он и пытается преподать в письме, будучи убежден, что сам он «родился быть хозяином» (XIII, 159).

Иное дело — «Утро помещика». Причина краха благородных намерений Нехлюдова не просто в его наивности или незнании того, как помещик должен обращаться со своими мужиками. Драматизм ситуации в том, что идеал входит в противоречие с действующей системой. Нравственный кризис, переживаемый князем, есть отражение кризиса социального. Нехлюдов мечтает выполнить свой моральный долг перед принадлежащими ему крестьянами, оставаясь в рамках прежних, привычных, как бы естественных крепостнических отношений и связей, и вдруг обнаруживает, что эти отношения и связи рушатся, катастрофически распадаются. Ни махнувшему рукой на все — на себя, на семью, на хозяйство — Чурисенку, ни плутоватому Юхванке-Мудреному, ни вечно сонному Давыдке не нужны благодеяния барина, им нужно что-то другое, они и сами не знают, что именно; не догадывается и барин с его образованностью, умом, душевными порывами. Кажется, это знает старик Дутлов: перед нами не абстрактный гоголевский «примерный мужик», а хозяин новой формации, для него барщина уже анахронизм, ее как-нибудь и батрак отработает, свой интерес он ищет в отхожем промысле, в извозе, если и не освобождаясь тем самым совершенно от крепостной зависимости, то по крайней мере ослабляя и потихоньку расшатывая ее. После встречи с Дутловым Нехлюдов испытывает смешанное чувство растерянности, подавленности и тайной зависти к Дут-

лову-младшему, Илюшке, чья вольная ямщицкая жизнь живо рисуется в его воображении. «Славно!—шепчет себе Нехлюдов, и мысль: зачем он не Илюшка, тоже приходит ему». На этой ноте заканчивается «Утро помещика», где все определяется, по замечанию Чернышевского, «мужицким взглядом на вещи»[1].

Применительно к письму Гоголя говорить о таком взгляде не приходится. Это вовсе не значит, что автор его выступает как крепостник, «проповедник кнута». Последнее определение — явный полемический перехлест, вообще не столь уж редкий у Белинского с его экстремизмом и раздражительностью, в данном случае усугубленными еще и фатальным обострением болезни. На самом деле в тексте Гоголя обнаруживаем нечто совершенно противоположное: «Мужика не бей»; надо «пронять его хорошенько словом», «ругнуть» при всем честном народе так, чтобы «тут же обсмеял его весь народ»,— это окажется «в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин» (VIII, 324). Конечно, предлагаемое писателем «меткое слово», вроде «невымытого рыла», коробит нас, но ведь это все же не «кнут», не зуботычина, да и вспомним, что речь-то идет не вообще о крестьянине, а о злостном лодыре, который «весь зажил в саже, так что и глаз не видать» (VIII, 323)...

Знал ли Гоголь русскую деревню, жизнь крепостного крестьянина, как знал их, допустим, Л. Толстой? Вряд ли. И не мог знать. Но и панегириков «татарским нравам», «презрения к простому народу», в чем дружно обвиняли его Белинский и К. Аксаков, нет. Разве в наставлениях сестрам звучит одна только забота о хозяйстве? «Если не любите хозяйничать, по крайней мере взгляните (на полевые работы.— *Ю. Б.*). Как бы то ни было, бедные крестьяне в поте лица работают на нас, а мы, едя их хлеб, не хотим даже взглянуть на труды рук их. Это безбожно»[2].

Запомним это слово — «безбожно» — и перечитаем еще одно гоголевское письмо; адресованное матери, оно в значительной своей части опять-таки посвящено сестрам, их отношению к крепостным. И здесь Гоголь с горечью говорит о том, что в то время, как крестьянин «вырабатывает трудом и пóтом средства своей жизни», «мы кушаем да поджидаем гостей, да выдумываем, куда бы поехать, где бы лучше поразвлечь себя, да почитываем приятную книгу, да зеваем и жалуемся на скуку...». «Или, думают они, одна только половина человечества создана для серьезного труда, а другая так, только для шутки, для приятного препровождения времени»[3]. Подоб-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 4, с. 682.
[2] Письма Н. В. Гоголя, т. IV, с. 380.
[3] Там же, с. 122—123.

ный же упрек, лишь в чуть более мягкой форме, высказывает Гоголь и А. Вьельгорской (XIV, 187).

Мне могут заметить: эти письма не вошли в «Выбранные места...», они не были известны критикам Гоголя. Это так, однако же и в «Русском помещике» содержится совет, оставленный ими без внимания: «Возьми сам в руки топор или косу; это будет тебе в добро и полезней для твоего здоровья всяких Мариенбадов, медицинских муционов и вялых прогулок» (VIII, 325). (Между прочим, что касается «Мариенбадов» и «муционов» самого Гоголя, то они обеспечивались не трудом крепостных — от своей части наследства он еще в молодости отказался, — а его собственной, причем поистине каторжной литературной работой.)

Мысль о какой-либо ломке существующих отношений между помещиком и его крепостными для Гоголя неприемлема, что связано, как уже подчеркивалось, с его представлениями о ходе и направленности общественного развития в целом[1]. Вместе с тем очевидна и ощущаемая им, пусть смутная, тревога по поводу того, в чем ему видится несовершенство этих отношений. По сути он выдвигает свой проект реформы этих отношений — реформы не социальной, а религиозно-нравственной. «...Если только помещик,— читаем в заключительных строках главы «Русской помещик»,— взглянул глазом христианина на свою обязанность, то не только он может укрепить старые связи, о которых толкуют, будто они исчезнули навеки, но связать их новыми, еще сильнейшими связями, — связями во Христе, которых уже ничего не может быть сильнее» (VIII, 328).

Вот почему выше я просил читателя обратить внимание на слово «безбожно», оно дает ключ к пониманию того, что можно назвать гоголевской философией, вернее будет сказать — богословией хозяйствования. В ее основе лежит идея противоположности, несовместимости двух начал — «безбожных», неправедных, аморальных экономических отношений и экономики, опирающейся на принципы христианской нравственности.

А теперь вспомним то письмо к матери, где нам встретилось определение «безбожно». Быть может, в нем говорится о каком-то из ряда вон выходящем примере, о крайних, изу-

---

[1] Я упоминал о знакомом Гоголя, историке и этнографе А. Марковиче. Есть сведения, что в 1852 году Маркович вносил правительству проект коренной реформы своего хозяйства; имелось в виду, в частности, перевести крепостных крестьян (а у Марковича было около тысячи ревизских душ) в особое сословие вольных поселян с арендой или покупкой у него земли. Проект был отклонен правительством. Вероятно, эти идеи не вдруг возникли у Марковича, и вполне можно предположить, что он обдумывал свой проект еще в 1848 году, когда в его черниговском имении Сварково гостил Гоголь. Однако в гоголевских письмах не обнаружим следов того, чтобы идеи Марковича заинтересовали писателя.

верских формах крепостничества, о зверствах какой-нибудь Салтычихи? Да нет же, речь идет об имении добрейшей маменьки Марии Ивановны, о любимых сестрах... И все-таки: «Это безбожно!» Писатель не формулирует логически неизбежный вывод, этот вывод напрашивается сам собой: «безбожно» вообще помещичье хозяйство в нынешнем его виде. Оно может стать праведным, нравственным лишь в том случае, если реформировать его в христианском духе, в соответствии с той программой, которую излагает Гоголь в своем письме «Русской помещик», а в «Мертвых душах» материализует в образе Костанжогло. Деятельность Костанжогло, гармонически сочетающая в себе, по замыслу автора, деловую сметку, хозяйственную активность с религиозной моралью, противостоит не только омертвевшему, «бесхозному» миру плюшкиных, жестокой тупости собакевичей, беспутности ноздревых, убогости коробочек, но и хищничеству (как настоящему, наглядному для нас, так наверняка и потенциальному) мнимого «херсонского помещика» Чичикова, но и бесплодному существованию сломленного, опустошенного Тентетникова. Противостоит она, кстати говоря, и хозяйствованию Кошкарева и Хлобуева, чьи образы, лишь намеченные в сохранившихся главах, но поразительные по глубине и удручающей достоверности, возвращают нашу мысль к суждениям автора «Переписки» о «европистах» и «славянистах».

Гоголь вовсе не считает, что его концепции христианского хозяйствования противоречит извечно присущее человеку стремление к богатству. Собственно, в идеале он убежден, что «довольство во всем нам вредит», ибо «заплывает телом душа»[1], однако при этом отдает себе отчет, что реально идея богатства была и остается для человечества сильнейшим стимулом в деле преображения мира. Потому у него богаты Костанжогло и Муразов, потому в своей «Переписке» он обещает помещику, что тот разбогатеет, «как Крез», и объявляет синонимами такие понятия, как «богатый хозяин» и «хороший человек» (VIII, 327, 323—324). Но, обратим внимание, во всех этих случаях богатство — праведное, оно сопутствует лишь «христианской жизни», хозяйствованию «во Христе».

Резонно сделанное в этой связи В. Зеньковским замечание, что Гоголь отвергает не богатство как таковое, а «обольщение богатством», пытается «изнутри переработать психологию наживы»[2]. А вот ссылка Зеньковского на евангельский сюжет об Анании и Сапфире, к которому — так можно понять исследователя — будто бы восходит позиция Гоголя, не кажется убе-

---

[1] Письма Н. В. Гоголя, т. IV, с. 380.
[2] Зеньковский В. Н. В. Гоголь, с. 190.

дительной. В Деяниях Апостолов рассказывается о том, как «некоторый... муж Ананий, с женою своею Сапфирою», продав имение, «утаил из цены» и «положил к ногам Апостолов» только часть вырученных денег, солгав тем самым «не человекам, а Богу»; однако этим притча не исчерпывается, в ней есть еще один важный аспект. Ведь Ананий и его жена оказались исключением, другие неофиты (сказано даже: «все»), кто владел «землями и домами», отдавали деньги от проданного имущества без остатка; «...никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее», «и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деяния, 5, 4). Не собираюсь вдаваться ни в социологические, ни в богословские тонкости, но очевидно, что выраженное здесь отношение к «имению» человека ближе скорее своеобразному христианскому социализму, нежели гоголевскому взгляду на богатство, его теории «экономики во Христе». Нам придется признать, что теория эта, органически включающая в себя представление о материальном преуспевании, внутренне противоречива, непоследовательна, отмечена печатью нравственного компромисса.

И тем не менее справедливость требует по достоинству оценить предпринятую Гоголем попытку выявить глубинную связь между сферами экономической и духовной, хозяйственной и религиозно-нравственной. Причем не просто выявить, но возвести в принцип, осознать как важнейшее условие гармонизации человеческих отношений, всей общественной жизни.

Было бы преувеличением утверждать, что «богословие хозяйствования» было беспрецедентным открытием автора «Выбранных мест...». Д. Чижевский, рассматривая книгу Гоголя в широком историческом контексте литературы, посвященной религиозно-этической проблематике, находит основания для интересных параллелей с целым рядом европейских и американских авторов. Называются в этой связи «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, книга, высоко ценимая Гоголем, дневник (или незаконченная «Автобиография»?) Б. Франклина, популярные в России первой четверти XIX века сочинения немецкого мистика И.-Г. Юнга-Штиллинга[1], четырехтомные «Патриотические фантазии» другого немецкого автора XVIII века Ю. Мёзера, которого Гете сравнивал «разве что с Франклином»[2], различного рода трактаты, излагавшие взгляды пуритан, пиетистов, квакеров, баптистов и др. Правда, знакомство Гоголя с этими писателями, кроме Фомы Кемпийского, весьма

[1] Д. Свербеев в своих известных «Записках» вспоминает, что его в детские годы «сильно интересовало... сочинение Юнга-Штиллинга под замысловатым названием «Угроз Световостоков» (см.: Свербеев Д. Н. Записки. (1799—1826). М., 1899, с. 52).

[2] Гете И. В. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3. М., 1976, с. 505.

и весьма гипотетично, наблюдения исследователя интересны прежде всего с типологической точки зрения.

Из отечественных сочинений отдаленные аналогии возможны разве что с написанной специально для помещиков Черниговской губернии «Справочной книжкой» П. Кулиша и «Письмами к любезным землякам» Г. Квитки-Основьяненко, также упоминаемыми Д. Чижевским. Однако это аналогии действительно отдаленные. В обоих случаях решаются исключительно прикладные, прагматические задачи, о философском содержании тут говорить не приходится. Так, брошюра Г. Квитки представляет собой выдержанное в псевдонародном стиле разъяснение неграмотному крепостному крестьянину («Нехай кто пысьменный вам чита, а вы слухайте»[1]) смысла и целей взимаемых правительством налогов. Пожалуй, наиболее близок Гоголю в этих вопросах (и не только в этих, но тут нужен разговор особый) Г. Сковорода с его теорией «сродного труда», предрасположенности каждого человека к тому или иному занятию, изначально запрограммированной природой, «врожденной Божиим благоволением» (см., например, диалог «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира», написанный в 1774 году). Так что следует согласиться с Д. Чижевским, отмечающим, что «мотивы «Выбранных мест...» не стоят одиноко в истории религиозной литературы»[2]. Вместе с тем он считает нужным подчеркнуть: «...Мне кажется, что Гоголь *самостоятельно* додумался до своих взглядов в этом вопросе»[3], то есть в вопросе о привнесении религиозных начал в экономику.

«Несвоевременными мыслями» можно назвать гоголевские рекомендации по поводу праведного хозяйствования, высказан-

---

[1] Лысты до любезных землякив Грыцька Основъяненка. Под ред. А. А. Потебни. Харьков, 1887, с. 3. Читателю, которого, возможно, смутит орфография этого издания, напомню, что в соответствии с так называемым Валуевским циркуляром 1863 г. и Эмским актом 1876 г. в России печатание книг на «малороссийском наречии» запрещалось.— *Ю. Б.*

[2] Намеченные Д. Чижевским параллели можно было бы продолжить. Кроме Б. Паскаля, с которым сравнивал автора «Выбранных мест...» Л. Толстой, упомяну итальянского писателя-моралиста Сильвио Пеллико, современника Гоголя. Это имя почти ничего не говорит нынешнему читателю, а в первой половине прошлого века многие в России зачитывались его книгами «Мои темницы» и особенно «Об обязанностях человека»; высочайшую оценку последней дал Пушкин в своем «Современнике». Книгу С. Пеллико в связи с «Перепиской» Гоголя называет П. Вяземский. Без сомнения, могли бы представлять интерес сопоставления гоголевской книги с собранием писем известного отечественного масона С. Гамалеи, земляка Гоголя и близкого друга Н. Новикова (см.: Письма С. И. Г. в 2-х кн. М., 1832), и, конечно же, с «Философическими письмами» П. Чаадаева, проявлявшего, кстати, к Гоголю и его «Выбранным местам...» живой интерес. Но это должно стать предметом специального рассмотрения.

[3] Новый журнал, 1951, XXVII, с. 146, 149.

ные в «Русском помещике». Предреформенное общественное сознание, причем во всех его проявлениях и оттенках — от крайне консервативных тенденций до столь же крайне радикальных, это сознание, за редким исключением, не было в состоянии воспринять концепцию Гоголя. В тексте письма современниками прочитывалось то, что действительно там было, но что лежало на поверхности, в наружном слое, — апология крепостнических отношений, и осуждение, негодование, протест рождались неизбежно. Гоголь не мог быть понят, по причинам, казалось бы, взаимоисключающим: потому, что отстал от своего времени, и одновременно потому, что ушел вперед. Пройдет еще несколько десятилетий, и в новой социально-исторической ситуации идея христианизации экономики, неразрывности двух сфер, хозяйственной и нравственной, станет одной из ключевых в художественных и религиозно-этических исканиях русской общественной мысли. К ней, к этой идее, обращается Л. Толстой в «Анне Карениной» (образ Левина) и в публицистике; В. Соловьев посвящает ей главу «Экономический вопрос с нравственной точки зрения» в фундаментальном труде «Оправдание добра»; С. Булгаков пишет книгу под названием «Философия хозяйства». Мы не найдем в этих книгах прямых ссылок на Гоголя, и все же, без сомнения, тень автора «Переписки» и второго тома «Мертвых душ» витает над ними. Гоголевская мысль о единении евангельских Марфы и Марии, «хозяйства земного» и «хозяйства небесного», не осталась втуне.

Обратимся, однако, вновь к вопросам, затронутым в главе «Русской помещик». Помимо темы крепостного права, еще два пункта вызвали резко отрицательную реакцию современников. Один из них — народное просвещение, школа.

И впрямь, то, что мы читаем, производит шокирующее впечатление. Гоголь одобряет мнение своего корреспондента о ненужности, даже вреде учения для крестьянина. Он пишет: «Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор». И времени, мол, у мужика за работой нет, да и сам мужик, если он не метит на место плута-конторщика, грамотой не интересуется, «бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги», зная, что «там притык всей человеческой путаницы, крючкотворчества и каверзничества». Из бесед с деревенским священником, из нехитрого пересказа святоотеческих книг мужик почерпнет для себя куда больше полезного, нежели из «книжонок». «По-настоящему, — заключает писатель, — ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых» (VIII, 325).

По этому поводу Белинский в своем письме не удерживается от злой иронии: «Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль...»[1]

Ссылка на Византию — из области публицистических метафор. Специалисты, между прочим, отмечают, что в целом «по сравнению с жителями средневековой Западной Европы византийцы были, несомненно, более образованными», в школах ранней Византии, особенно в школах «элементарных», учились «дети не только знатных и богатых родителей, но и ремесленников, и даже крестьян, всех тех, кто был в состоянии платить за обучение»[2]. Метафоричны, сугубо условны и «бородатые русские мужички» (это уже из подцензурной рецензии Белинского на «Выбранные места...»), бегущие к грамоте, «а не от нее», как и упрек Гоголю, совсем в славянофильском духе, за то, что он живет «в разных немецких землях» и потому не знает, дескать, отчета министра государственных имуществ, из которого видно, «как быстро распространяется в России грамотность между простым народом...»[3]. Не скажешь, что рецензент выступает во всеоружии знания предмета, что аргументы его неотразимы, критик руководствуется скорее своей интуицией, гражданским чувством, но они, надо сказать, его не подводят, тем более что оппонент весьма уязвим.

Само слово «просвещение» Гоголь не приемлет, хотя и выносит его в название одной из глав «Переписки». Такого слова, по его мнению, «нет ни на каком языке, оно только у нас» (251). Ап. Григорьев, один из первых и самых доброжелательных рецензентов книги, вынужден был признать, что «в письме XVII (глава «Просвещение».— *Ю. Б.*) непонятно в высшей степени... чтó Гоголь называет просвещением и почему слово *просвещение* есть только у нас, когда немецкое слово Aufklärung значит решительно то же самое»[4]. Дело, впрочем, не просто в том, что Гоголь не силен в немецком; критик отмечает бросающуюся в глаза противоречивость позиции писателя: вроде бы поставив, и весьма категорично, под сомнение общепринятый термин, он буквально тут же сам им пользуется. Вчитавшись, поймем, что Гоголь высказывается против «бессмысленного» употребления слова «просвещение», призывает задуматься, «что оно значит». Он напоминает, что «слово это взято из нашей Церкви» и во время торжественных богослужений понятия «свет Христов» и «свет просвещения» звучат как синонимы. Таким образом, несогласие Гоголя вызывает

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 285.

[2] Самодурова З. Г. Школа и образование. — В кн.: Культура Византии, с. 479—480.

[3] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 231.

[4] Григорьев Ап. Собр. соч., вып. 8, с. 20.

не слово само по себе, а его приземленная, утилитарная трактовка, ей писатель противопоставляет свою трактовку, религиозно-этическую. «Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь» (VIII, 285—286). По существу здесь (хотя по нумерации эта глава помещена в книге раньше) подход Гоголя к проблеме просвещения, изложенный в письме «Русской помещик», как бы дополняется, более того — заметно корректируется. Можно принимать или не принимать его точку зрения; мне лично кажется, что накопленный нами, нынешними читателями Гоголя, далеко не во всем положительный исторический опыт должен бы убедить нас в правомерности акцента именно на нравственной стороне народного просвещения. Во всяком случае, я бы не решился сегодня без оговорок повторить данную Белинским характеристику Гоголя — автора «Выбранных мест...» как «поборника обскурантизма и мракобесия», признать ее справедливой, адекватной всей неоднозначности позиции писателя я не могу.

Не согласился с ней, разумеется, и Гоголь. В сохранившемся черновом отрывке из неотправленного ответа Белинскому он пишет, что критик напрасно принял его слова о грамотности «в буквальном, тесном смысле», сделав из них вывод, будто он, Гоголь, «вооружился против грамотности». Вопрос этот в принципе решен «уже давно нашими отцами», которые, будучи сами безграмотными, твердо знали, «что грамотность нужна». «Мысль, которая проходит сквозь всю мою книгу,— объясняет писатель,— есть та, как просветить прежде грамотных, чем безграмотных, как просветить прежде тех, которые имеют близкие столкновения с народом, чем самый народ, всех этих мелких чиновников и власти, которые все грамотны и которые между тем много делают злоупотреблений» (XIII, 445—446).

На первый взгляд высказанный Белинским упрек Гоголю подкрепляется той, мягко говоря, не слишком высокой оценкой, которую выставляет в конце главы «Просвещение» Л. Толстой,—«ноль с плюсом». Но я бы не торопился с выводом. Дело в том, что в большей своей части гоголевская глава посвящена благотворной роли русской православной Церкви, противопоставляемой Церкви западной, то есть теме, в которой Толстой, конечно же, решительно не согласен с Гоголем, этим и объясняется «нулевая» оценка. А «плюс», как мне думается, есть все основания отнести как раз к концовке главы, где затрагивается проблема просвещения, и ее толкование близко толстовским представлениям о нравственном воспитании. Я уже не говорю

вообще об отрицательном отношении Льва Николаевича к зальцбруннскому письму Белинского.

Кстати, главу о русском помещике Толстой оценивает чистым нулем, без всякого «плюса», и хотя единственная пометка, знак вопроса, стоит на полях в том месте, где говорится о божественном происхождении власти помещика над крепостными, наверняка суждения Гоголя о школе также не могли Толстому понравиться, что повлияло на окончательную оценку. Толстой не хуже Гоголя знал о нежелании многих крестьян отдавать детей в школу, достаточно вспомнить, как в «Утре помещика» Нехлюдов тщетно пытается сломить сопротивление Чурисенка. Но Чурисенок не пускает сынишку в «училищу» не из простого упрямства или, как полагает Гоголь, предубеждения против «всякой письменной бумаги», мальчонка для него какой-никакой, а все-таки помощник в хозяйстве...

Нет толстовской пометки на полях «Русского помещика» и там, где идет речь о суде над крестьянами. Правда, слово «суд» не упоминается, Гоголь говорит об «упреках и выговорах», которые надлежит делать «уличенному в воровстве, лености или пьянстве», но это именно суд, только суд нравственный. Дается совет поставить уличенного «перед лицом Бога, а не перед своим лицом», показать ему, «чем он грешит против Бога», а не против барина, и при этом попрекнуть «бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа», возложить моральную ответственность и на соседей, «зачем допустили, что их же брат, середи их же, зажил собакой и губит ни про что свою душу» (VIII, 323).

Зато читая главу «Сельский суд и расправа», Толстой отмечает жирной чертой и знаком «нотабене» тот пассаж, в котором получают более детальное развитие мысли о нравственном суде, высказанные в «Русском помещике». Гоголь говорит здесь, что суд над провинившимися крестьянами должен быть «двойным»: на одном, «человеческом», обязательно при свидетелях, «оправдайте правого и осудите виноватого», другой же суд — «Божеский», на нем следует осудить обоих. «Выведите ясно первому, как он сам был тому виной, что другой его обидел, а второму — как он вдвойне виноват и пред Богом, и пред людьми; одного укорите, зачем не простил своему брату, как повелел Христос, а другого попрекните, зачем он обидел самого Христа в своем брате; а обоим вместе дайте выговор за то, что не примирились сами собой и пришли на суд... Если такой суд вы будете произносить, вы будете сами полномочны, как Бог, потому что Бог вас уполномочит» (VIII, 342).

Л. Толстой перечитывает эти строки в 1909 году, будучи уже автором «Воскресения», уже свершив свой «суд над судом», объявив вне нравственного, вне Божьего закона те ка-

зенные, государственные установления, которые присваивают себе право судить человека. В иное время, в условиях России дореформенной читает «Переписку» Белинский, и, естественно, совсем иначе воспринимает он гоголевские размышления о суде. В стране, где для миллионов людей существует один суд — суд «неумолимого владельца»,— как оценить совет помещику «судить самому», чувствуя себя при этом «полномочным, как Бог»? В обществе, где пока можно лишь мечтать об элементарных правовых началах,— как отнестись к утверждению, «что нет человека правого и что прав один только Бог», а все иное — «пустые рыцарски-европейские понятия о правде» (VIII, 342)? Гоголю кажется убедительной ссылка на «Капитанскую дочку», по его мнению, комендантша Василиса Егоровна «весьма здраво» чинит суд и расправу — велит наказать и правого и виноватого. Белинский отвергает этот аргумент: так не Пушкин судит, так судит «глупая баба». «Да это, — добавляет критик, — и так у нас делается вчистую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления — быть без вины виноватым!» [1]

Для Гоголя (и тут уж о сочувствии Л. Толстого не может быть речи) его понятия о «совестном суде» выходят далеко за пределы приватных отношений, возводятся в ранг общегосударственного принципа. В главе «Занимающему важное место» действующая в тогдашней России система судопроизводства оценивается как «верх человеколюбия, мудрости и познанья душевного», как яркое проявление высшей «законодательной мудрости» и «правительственного предвиденья», определяющих основу совершенного «организма управления» (VIII, 356). А между тем уже в ту пору даже в правительственных кругах, не говоря об общественном мнении, зрела убежденность в необходимости решительной перестройки сословных судебных порядков, установленных в екатерининскую эпоху. Первые, хотя и очень робкие, сугубо предварительные шаги в этом направлении предпринимались еще в начале сороковых годов, отмена же крепостного права придала работе по подготовке судебных преобразований сильнейший импульс, и к 1864 году реформа судоустройства в России была завершена. Как и в случае с освобождением крестьян, «занимающие важные места» (самые важные!) не вняли советам автора «Переписки»: «суд и расправа», одна из немногих сфер русской жизни, не нуждавшаяся, как казалось Гоголю, в коренных переменах,— именно она подверглась глубокой ломке. Узнать об этом писателю было уже не суждено....

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 283.

* * *

Я перечитываю написанное и вижу, что не сумел выполнить свое намерение — воздержаться от комментариев при изложении гоголевской программы реформ. Что ж, вероятно, в этом есть своя логика. Зато теперь появляется возможность избежать пространных подытоживающих выводов, привычного извлечения «уроков» — тоже неплохо.

Ограничусь одним замечанием.

Говорят, Россия выстрадала то, к чему пришла сегодня. Если примем эту формулу, то с поправкой — отнюдь не грамматической! — во времени: выстрадать, дострадать истину России еще предстоит. Дорога дальняя... Тем более важно понять и оценить выстраданное теми, кто до нас честно прошел свою часть пути. Среди них — Гоголь.

Это действительно страдалец отечественной мысли, томимый испепеляющей духовною жаждою. Мы-то, прилежные ученики его оппонентов, долгое время только корили его, словно нерадивого школяра, пребывая в комфортной уверенности, что в «Выбранных местах...» все не так: и «страхи и ужасы России» автор видит не в том, в чем надо их видеть, и надежды свои связывает не с тем, с чем полагалось бы связывать... Ныне с мучительным трудом продираемся к осознанию того, что Гоголя, при всех его трагических заблуждениях, переучивать поздно, а главное, не надо; учиться же, постигать уроки истории следует, оказывается, нам самим, и учиться смиренно.



«ВЕРНЫЙ ПУТЬ И ТЕСНЫЕ ВРАТА»

Фрагменты *

...Кто в дальнюю дорогу
Сбирается идти, — взяв в руки посох свой,
Тот говорит друзьям: «Друзья, молитесь Богу!..»

Я. Полонский

«НАШ РУССКИЙ ПАСКАЛЬ»

Право же, если бы у стихотворения, из которого взяты строки эпиграфа, не было посвящения «Петру Яковлевичу Чатаеву» (Чаадаеву), вполне можно было бы предположить, что оно обращено к автору «Выбранных мест...». Этот мотив прощания с друзьями перед дальней дорогой; эта смиренная

---

* Подзаголовок, по-видимому, нуждается в пояснении. Дело в том, что в центре внимания в данном случае лишь одно сочинение Гоголя. Сколь ни существенна «Переписка» для понимания религиозных взглядов писателя, тем более — их эволюции, полного представления она, разумеется, не дает. Вопрос вообще сложен чрезвычайно, недаром у нас фактически нет пока работ, рассматривающих его всесторонне и полно, в контексте гоголевского наследия в целом. Такие попытки предприняли в свое время Д. Мережковский в штудии «Гоголь», а затем В. Зеньковский, опубликовавший в нескольких номерах журнала «Христианская мысль» за 1916 год часть своего исследования «Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях»; последняя публикация не была завершена, судя по всему, не по вине автора. Из дооктябрьских работ упомяну еще статью В. Завитневича «Религиозно-нравственное состояние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни» (Памяти Гоголя, 1902) и брошюру Н. Петрова «Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя» (Киев, 1902), посвященные, однако, отдельным, хотя и важным, аспектам проблемы. Чаще, чем другие авторы, но все же попутно, касаются религиозной проблематики В. Зеньковский, К. Мочульский, В. Носов в своих монографиях о Гоголе, изданных за рубежом. Что же касается советского литературоведения, то его позицию приходится признать бесплодно-негативистской, это нам всем слишком известно. Не исключаю, что существуют новейшие отзывы богословов о Гоголе, но я, признаюсь откровенно, подобным материалом не располагаю. Вот почему — только «фрагменты». Во всяком случае, пока...— *Ю. Б.*

просьба «помолиться обо мне» и обещание, в свою очередь, помолиться у Гроба Господня» «о всех моих соотечественниках» (VIII, 218); эта всесжигающая жажда последней исповеди, прощения, покаяния... Томимый предчувствием, что следом за поездкой к Святым местам предстоит путешествие куда более дальнее, невозвратное, что жизнь его «на волоске», Гоголь хочет оставить людям в наследство как «знак небесной милости ко мне Бога» (VIII, 220) прощальное свое слово, «благую мысль». И слово это и мысль эта — о Боге. Именно так определяет он замысел загадочной, как принято считать, до сей поры не известной нам «Прощальной повести», и этим же высшим устремлением продиктовано, по его признанию, издание «Переписки с друзьями».

«Мне ставят в вину, — читаем в письме к Смирновой,— что я заговорил о Боге, что я не имею права на это, будучи заражен и самолюбием, и гордостью, доселе неслыханною. Что ж делать, если и при этих пороках все-таки говорится о Боге? Что ж делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге?» (XIII, 287).

Это написано в апреле 1847 года. Уже ясно стало, что душевный порыв писателя, подвигнувший его на издание «Переписки», не понят и не принят большинством читающей публики, в том числе друзьями, уже обрушилась лавина упреков, насмешек, обличений.

Чему тут удивляться? Перед нами лишь одно из многих проявлений той глубокой драмы русской общественной мысли, того духовного тупика и доселе не преодоленного раскола, о которых почти одновременно с Гоголем сказал Ф. Тютчев в проникнутом безысходной горечью и отчаяньем стихотворении «Наш век»:

Не плоть, а дух растлился в наши дни.
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает погибель он
И жаждет веры — но о ней *не просит*.
Не скажет век, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

Драма даже не в одном только неверии, едва ли не еще страшнее, что человек и не просит о вере; больной, растлившийся дух не ищет исцеленья. Верой стало неверие. Духовная жажда вдруг обернулась бездуховностью. Человекобог вытеснил Богочеловека. «Если бы нужно было,— отмечает С. Булгаков в

своей речи «Религия человекобожия в русской революции» (1908 г.),— выразить духовную сущность нашей эпохи в художественном образе, в картине или в трагической мистерии, то эту картину или мистерию следовало бы назвать «Похороны Бога», или самоубийство человечества»[1]. Философ говорит об эпохе «от Белинского до наших дней», то есть и об эпохе Гоголя, его «прощания с друзьями».

На протяжении всей этой эпохи иссушенное безверием интеллигентское сознание находилось под гипнозом «исторического бранного крика»[2], как назвал Блок письмо Белинского к Гоголю; да и по сей день далеко не рассеялось наваждение, и мы все еще твердим по инерции, что письмо это есть шедевр бесцензурной (чуть-чуть не сорвалось: нецензурной) прогрессивной публицистики... Должно было пройти несколько десятилетий, чтобы в Дневнике Л. Толстого появилась запись от 8 марта 1902 года: «Белинский без религии, — из нижнего этажа. Гоголь религиозный — из верхнего»[3].

Между прочим, к этому выводу Л. Толстой также не сразу пришел. В молодости он испытывает прессинг распространенной точки зрения на «Переписку» и ее автора: «Он просто был дрянь человек»[4] — это дневниковая запись от 8 сентября 1857 года. Но ровно через тридцать лет Толстой вновь читает «Выбранные места...»— и уже совсем иными глазами. «Какая удивительная вещь!—пишет он П. Бирюкову 5 октября 1887 года (приписка к письму, адресованному Софье Андреевне).— За 40 лет сказано, и прекрасно сказано, то, чем должна быть литература»[5]. Несколько дней спустя, 16 октября, в письме к Н. Страхову он признается, что перечитанные письма Гоголя произвели на него «сильное впечатление... подобное Канту». Развивая высказанную в предыдущем письме мысль, Толстой с горечью отмечает, что «Переписка», полная «самых существенных, глубоких мыслей», не была должным образом оценена современниками: «...Толпа (как знать, не вспоминает ли он и собственные давние суждения.— *Ю. Б.*), не понимавшая никогда смысла делаемых предметов и достоинства их, найдя бойкого представителя своей низменной точки зрения, загоготала, и 35 лет лежит под спудом в высшей степени трогательное и значительное житие и поученья подвижника наше-

---

[1] Цит. по: Новый мир, 1989, № 10, с. 215. См. также: Булгаков Сергей. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции).— В кн.: Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909, с. 56.

[2] Блок Александр. Россия и интеллигенция (1907—1918). М., 1918, с. 15.

[3] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 54, с. 125.

[4] Там же, т. 47, с. 156.

[5] Там же, т. 64, с. 98.

го цеха, нашего русского Паскаля»[1]. (Надеюсь, что читатель не обидится, если я напомню, что великий французский ученый Блез Паскаль был глубоко верующим человеком, много размышлял и писал на религиозные темы, утверждая, в частности, мысль о непостижимости для человека Божьего всемогущества.)

С годами Толстой все больше утверждается в своем мнении. Это отнюдь не значит, что он принимает «Выбранные места...» некритично, целиком, в его оценках мелькают и по-толстовски резкие оговорки («пошлости», «нелепости», «ужасная, отвратительная чепуха»), поля читаемого экземпляра (он хранится в яснополянской библиотеке) испещрены пометками, подчеркиваниями, комментариями, часто свидетельствующими о несогласии, почти каждому гоголевскому письму выставлена оценка, и есть здесь не только 5 с тремя плюсами, есть и 1 и даже 0... Но принципиального отношения Толстого к книге это все не меняет. В том же письме к Страхову он делится своим намерением «издать выбранные места из Переписки в Посреднике, с биографией»;[2] это, кстати, было осуществлено: под наблюдением Толстого в издательстве «Посредник» трижды выходят книги о Гоголе «как учителе жизни»[3]. И когда в 1909 году писателя просят откликнуться в одном из журналов на предстоящий столетний гоголевский юбилей, он вновь перечитывает всего Гоголя, в том числе «Выбранные места...». 4 марта Н. Гусев записывает в своем дневнике: «Сегодня утром сказал мне: «Как я рад, что перечитываю Гоголя! Я теперь читаю «Переписку с друзьями». Рядом с пошлостями какие глубокие религиозные истины»[4]. В таком же духе и в те же дни Толстой высказывается в беседе с корреспондентом газеты «Русское слово» С. Спиро, охарактеризовав книгу Гоголя как «далеко не оцененную Белинским»[5].

Что неприятие Толстым отношения Белинского к «Выбранным местам...» связано прежде всего с «религиозными истинами», подтверждается записью от 7 марта того же года в Дневнике: «Много думал о Гоголе и Белинском. Очень интересное сопоставление. Как Гоголь прав в своем безобразии, и как Белинский кругом не прав в своем блеске, с своим презрительным упоминанием о *каком-то* Боге. Гоголь ищет Бога в цер-

[1] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 64, с. 106—107.

[2] Там же, с. 107.

[3] См.: Гоголь Н. В. 1809—1852. М., 1888; Н. В. Гоголь как учитель жизни. М., 1902; Орлов Н. (Орлов А. И.). Гоголь как учитель жизни. М., 1910.

[4] Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973, с. 239.

[5] Спиро С. П. Беседы с Л. Н. Толстым (1909 и 1910 гг.). М., 1911, с. 13.

ковной вере, там, где он извращен, но ищет все-таки Бога, Белинский же, благодаря вере в науку, столь же, если не более нелепую, чем церковная вера... и несомненно еще более вредную, не нуждается ни в каком Боге»[1].

Тут мне кажется уместным отвлечься и вспомнить один полузабавный, полупечальный эпизод из нашей литературно-газетной практики. Известно письмо Тургенева к Толстому с призывом вернуться к литературной деятельности. Так вот, некоторое время тому назад в печати было высказано предположение, что Тургенев послал это письмо из Буживаля специально с таким расчетом, чтобы оно было получено адресатом точно в тот день, которым датировано зальцбруннское послание Белинского, а именно 3(15) июля 1883 года. На почтовом штемпеле действительно значится эта дата. Отсюда делается вывод, что Толстой, «возможно, в этот памятный для русской литературы день... вспомнил о трагедии Гоголя и усмотрел в ней аналогию для себя»[2]. Такое вот «занимательное литературоведение»... Если и допустить, что Тургенев посылал свое письмо «с намеком» (заметка в газете так и называется: «На что намекал Тургенев?»), как говорится, по принципу «кошку бьют — невестке знак подают», хотя это — читатель, думаю, согласится — весьма зыбкое допущение, то нет ни малейших оснований полагать, что и Толстой держал в памяти дату написания письма Белинского. А если бы он вдруг и вспомнил ее, то реагировал бы, судя по приведенным выше высказываниям, совсем не так, как думают авторы упомянутой гипотезы. В последней верно, пожалуй, лишь одно: Толстой вернулся к «Выбранным местам...» и оценил их по-новому в 80-е годы, в период переживаемого им глубокого духовного перелома. Но только «намек» Тургенева (если бы таковой и был) здесь ни при чем. Стоит напомнить, что в эту пору уже была написана «Исповедь»...

Вернемся, однако, к материи более серьезной, нежели газетные сенсации.

Толстой перечитывает «Переписку» Гоголя незадолго до своего трагического Ухода. Вскоре он последует примеру героя пушкинского «Странника» — «тяжким бременем подавлен и согбен», предпримет отчаянную попытку покинуть обреченную «пламени и ветрам» свою благополучную и опостылевшую обитель.

«Странник» относится к последнему периоду жизни Пушкина, тогда же написаны и такие стихи, как «Мирская власть», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Подражание италь-

---

[1] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 57, с. 35—36.
[2] См.: Правда, 1988, 9 ноября.

янскому», «Напрасно я бегу к сионским высотам...». Для всех в той или иной мере характерна религиозно-экстатическая, мистическая окрашенность, отголоски душевной смуты. Эти настроения (нравятся ли они нам, укладываются ли в наши пушкиноведческие схемы — вопрос, к делу не относящийся) корреспондируют с фактами, которые свидетельствуют о возникшей у Пушкина в конце его жизни тяге к церковной литературе: он прилежно читает Библию, особенно Новый Завет, Четьи-Минеи, церковно-учительный сборник «Пролог», делает из них выписки, участвует в составлении «Словаря исторического о Святых, прославленных в Российской Церкви», о котором дает отчет в своем «Современнике»[1]. Тогда же, в 1836 году, просит Языкова в письме: «Пришлите мне ради Бога стих об *Алексее Божием человеке*» и еще какую-нибудь легенду. *Нужно*»[2].

По-своему, в каждом случае неповторимо, глубоко индивидуально такая тенденция проявляется у многих русских классиков, на чем у нас обычно не принято останавливать внимание, хотя подобное стыдливое умолчание, вне всякого сомнения, обедняет, «уплощает» наше представление об отечественной литературе.

Еще только два примера.

Можно не соглашаться с высказанным в свое время мнением, что поэзия Лермонтова, особенно в конце его короткого жизненного пути, стала «художественным выражением того стиха молитвы, который служит формулой русского религиозного настроения: *да будет воля Твоя!*»[3], но вряд ли правильно не слышать отзвуков этого настроения в таких лермонтовских стихах, как «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), другая «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный...») или «Ангел». Можно считать спорным утверждение, что для Кольцова религиозность была главной, определяющей чертой натуры и что все его творчество пронизывает «непреходящая тоска по «небесной родине»[4], но нельзя не замечать того, сколь значительное место занимают в его поэтическом наследии проникнутые глубоким религиозным чувством думы — «Великая тайна», высоко оцененная, кстати говоря, Белинским[5], «Божий мир», «Великое слово», «Молитва» («Спаситель, Спаситель! Чиста

---

[1] См.: Пушкин А. С. Сочинения с объяснениями их и сводом отзывов критики в 5-ти томах, т. 2. М., 1987, с. 324.

[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 574.

[3] (Абрамович Д. И.). Материалы для биографии и литературной характеристики.— В кн.: Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. в 5-ти томах, т. 5. СПб., 1913, с. CXXVII.

[4] Волынский А. Борьба за идеализм. СПб., 1900, с. 108—109.

[5] См.: Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 117—118.

моя вера...»), «Перед образом Спасителя», как важны они для понимания этой далеко не простой и не однозначной поэтической индивидуальности.

Не удивлюсь, если найдутся желающие прервать эти мои размышления, строго напомнив, что авторитет письма Белинского к Гоголю незыблем, а близость проявлений зловредного религиозного фанатизма Толстого и автора «Переписки с друзьями» ни в чем не убеждает; что же касается некоторых мировоззренческих сбоев у Лермонтова, Кольцова и даже у Пушкина, их уступок «боженьке», то они не имеют существенного значения для нашей оценки творчества этих художников в целом, если же о них и говорить, то судить с четких классовых позиций...

Я же думаю, что суть вопроса совсем в другом: религиозные (да, именно религиозные, без привычных эвфемизмов) искания русской литературы — это огромное «белое пятно» в нашей литературной науке, и мы все еще ленивы, непростительно косны, все еще постыдно боязливы перед историческими фактами во всей их непривычной, неожиданной (да и кто знает, вправду ли дозволенной?) полноте.

Сказанное целиком относится к «Выбранным местам...».

СТРАШНЫЙ СУД

Поговаривали, будто преосвященный Григорий, епископ Калужский, когда кто-то поинтересовался, чтó он думает о «Переписке» Гоголя, в частности, о богословском аспекте книги, ответил довольно небрежно: «Э, полноте — какой он богослов, он просто сбившийся с истинного пути пустослов».

Оспаривать епископскую реплику о «пустослове» ныне, через полтораста лет, вряд ли есть резон, тем более что, если верить свидетелям, она была произнесена «с свойственным ему добродушием и голосом, полным как бы сожаления»[1]. А вот что Гоголь не был богословом — в этом, пожалуй, преосвященный близок к истине.

Правда, в семье Гоголей-Яновских, как вообще во многих шляхетных украинских семьях той эпохи, жила традиция семинарской образованности. Отец писателя, Василий Афанасьевич, учился в Полтавской семинарии, дед, Афанасий Демьянович, вышел из стен Киевской академии, через которую в свое время прошли и некоторые более дальние предки; среди них, между прочим, встречаем и священников. При всем том буду-

---

[1] Цит. по: Барсуков Николай. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 8. СПб., 1894, с. 563.

щий автор «Выбранных мест...» сколько-нибудь серьезной богословской подготовки не получил и лишь в самые последние годы жизни попытался восполнить этот пробел, о чем речь ниже. Богословские доктрины, книжная премудрость не играли существенной роли в формировании его религиозности, определяющими были факторы и импульсы совсем иного, глубоко субъективного, внутреннего порядка, относящиеся скорее к области эмоций, а не ума, подсознания, а не сознания, веры, а не учености. Два таких фактора, два импульса я назвал бы, пожалуй, прежде всего — это страх и это искусство.

Страх зародился еще в детстве. Удивительно, что он пришел позднее, чем можно было бы предположить, если учесть, в какой атмосфере рос Никоша.

То была атмосфера повышенной религиозно-мистической настроенности и набожности, «монастырского смирения и послушания»[1]. Главная роль в этом принадлежала бабушке, Татьяне Семеновне, урожденной Лизогуб (сказывалась фамильная черта, унаследованная от отца), и маменьке, Марии Ивановне, даром что была еще совсем молода. Да и Василию Афанасьевичу его веселый, жизнелюбивый нрав, артистичность натуры не мешали оставаться человеком глубоко богобоязненным. В васильевском доме царила искренняя вера в то, что все течение семейной жизни, любое ее событие — от романтической встречи будущих супругов[2] до появления на свет Никоши — предопределено участием Божественного Промысла. Тщательно, до мелочей соблюдались религиозные правила, обряды, обычаи, не нарушался ни один пост, отмечались все церковные праздники. Частыми были посещения, причем по возможности пешком, близлежащих святых мест, монастырей, например, в Лубнах, Будищах или в Диканьке, где находился чудотворный образ святого Николая, в честь которого, кстати, и получил свое имя Никоша...

У мальчика, однако, религиозное чувство пробуждалось медленно, затрудненно. Хотя с младенческих лет его сначала носили, потом водили в храм Божий, он долго ничего не понимал и не чувствовал, окружающее не трогало его, душа оставалась сонной, бесстрастной. Впоследствии, уже взрослым человеком, Гоголь признавался матери в одном из писем: «...Я ходил в церковь потому, что мне приказывали, или носили меня; но стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного ревения дьячков» (X, 282). Ясно, что тут еще нет

---

[1] Чаговец В. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива).— В кн.: Памяти Гоголя, отд. III, с. 37.

[2] См.: Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и М. И. Гоголей-Яновских. М., 1928.

веры, есть просто привычка; если бы мне не претило щеголяние модной терминологией, я сказал бы о «коде» среды, своего рода конвенциональной «знаковой системе», требующей соблюдения, пусть даже бездумного, механического, некоего набора ритуальных норм.

И вдруг — ослепительная вспышка, мощное эмоциональное облучение, потрясение.

«...Один раз,— читаем в том же письме,— я живо, как теперь, помню этот случай. Я просил вас рассказать мне о Страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли» (X, 282).

В письме нет подробного описания той картины, которая предстала когда-то из рассказа матери воображению Никоши; но мы можем все же в какой-то мере судить об этой картине, можем, так сказать, смоделировать ее, обратившись к эмоционально близким впечатлениям другого художника. Я имею в виду Александра Довженко, его «Зачарованную Десну».

Такое моделирование носит, естественно, условный характер, однако, думается, в данном случае прием достаточно корректен. И вот почему. На Украине представление о Страшном суде издавна обладало особым, едва ли не магическим воздействием на души людей, на их мироощущение и настроение. Судить с определенностью о причинах подобного явления не берусь, скажу только, что они кроются, вероятно, в каких-то еще не понятых нами, слабо исследованных глубинных особенностях национально-религиозного сознания, которому присуще обостренное стремление к предельно наглядному нравственному уроку, зримому воплощению идеи возмездия за грехи, торжества справедливости. Как бы то ни было, факт остается фактом: изображение Страшного суда стало одним из характернейших атрибутов национальной религиозной жизни и одновременно повседневного быта, почти непременным элементом интерьера крестьянской хаты, а то и панского дома среднего достатка, а то и сельской церквушки. Еще на рубеже веков такие изображения, по свидетельству современника, сохранялись в церковно-археологическом музее Киевской духовной академии, ожидая «своего Данта»; [1] хотел бы я знать, к слову говоря, как сложилась дальнейшая судьба этого уникального собрания...

---

[1] Памяти Гоголя, отд. II., с. 385.

Висела такая картина и в отцовской хате Сашка Довженко, мать выменяла ее на ярмарке за курицу. Картина «была столь страшна и поучительна», что на нее боялся смотреть даже пес Пират... «Верхнюю часть картины занимал дед и все святые. Посередине вылезали из гробов мертвецы, одни в рай — вверх, другие — вниз. ...Внизу, куда ни глянуть, все горело, как на пожаре. То было пекло. Там горели грешные души и черти. А в самом низу картины, в отдельных клетках, было намалевано что-то вроде прейскуранта кар за грехи: кто любил врать или дразниться, висел в огне, подвешенный на крюке за язык; кто не постился — за живот; кто ел тайком в пост сливки или жарил яичницу с салом — наоборот, лизал сковороду языком»[1]. Каждому из грешных членов семьи уготовано было свое место в пекле, не чувствовал себя безгрешным и маленький Сашко, потому и «ужасался этого суда».

Довженковский «ужас» сродни гоголевскому «потрясению». Разница, однако, в том, что у Сашка это чувство преходяще, он, подобно старшим обитателям хаты, вскоре привык к устрашающим сценам, «как солдат на войне привыкает к грому орудий»; в «Зачарованной Десне» о картине Страшного суда говорится с интонацией добродушного юмора («прейскурант кар за грехи»). Иначе у Гоголя. Детское потрясение сохраняется на всю жизнь, переходит в гнетущий страх перед непостижимостью окружающего мира, перед мистической тайной бытия и небытия человека, его страданий и смерти. Время от времени этот страх всплывает из глубин подсознания, и тогда нам является вдруг серенькая кошечка, предвестница скорой кончины Пульхерии Ивановны, или таинственный портрет ростовщика, «страшный фантом», загубивший талант и жизнь

---

[1] О достоверности этого детского воспоминания Довженко говорит сопоставление его с документальным описанием картины Страшного суда из церкви села Ненадыхи Таращанского уезда Киевской губернии, опубликованным в середине прошлого века «Киевскими Епархиальными ведомостями». Вот как выглядели некоторые наиболее характерные детали огромного полотна, выполненного, по всей вероятности, «каким-нибудь туземным гоголевским Вакулою»: «Тут змий, уязвляющий *сребролюбца,* там *неправедный судья,* голову которого усиливается дьявол ухватить широкою своею *пастью*; чародей с подойником, из которого выглядывает змея; пониже *прелюбодеяние* в виде женщины, которую тащат за волосы; еще ниже — диавол курения... В стороне *клеветник,* прикованный цепью ко пню; дьявол тянет его за бороду и припускает змею к грешному его телу. *Обжоре* одна змея впилась в рот, а другая сосет сердце его...» (Цит. по: Домашняя беседа, 1868, вып. 20, с. 525). Гоголевский персонаж упомянут в связи с этой картиной, конечно же, не зря, реминисценция вполне оправданная. Возможны и другие примеры. Не корреспондируют ли с духом и стилем «ненадыхинского» Страшного суда грозные пророчества Ивана Ивановича Перерепенко о жестоких карах, ожидающих его приятеля, Ивана Никифоровича, на том свете за «богомерзкие слова»?..

художника Черткова. Или возникают фантасмагорические видения несчастного Поприщина, и мы слышим его душераздирающий вопль, мольбу о спасении, о материнской слезинке над больной головушкой... Тогда обостряется никогда не покидающее странное ощущение душевного дискомфорта от незримого присутствия рядом какой-то «чертовщины», от вечной изнурительной борьбы с кознями лукавого... [1]

Тема Страшного суда как неотвратимого наказания за грехи становится одним из лейтмотивов гоголевского творчества, причем она варьируется не только в сюжетном, а и в смысловом плане, обретая разные, подчас неожиданные интерпретации. Таков, например, в «Страшной мести» взгляд на проблему мщения, на несовершенство, нравственную ущербность суда человеческого по сравнению с судом Божьим. Таковы угадываемые под оболочкой героики ужас и смятение перед картинами массовых кровопролитий, разгула ненависти и жестокости, перед тем неслыханным, нечеловеческим, пусть и праведным, «страшным судом», который вершит отец над сыном в «Тарасе Бульбе».

В «Выбранных местах...» вроде бы нет прямого обращения к теме Страшного суда, но опосредованное свое выражение она находит в пронизывающих книгу эсхатологических предчувствиях, в томящем страхе перед «загробным величием» и предстоящим ответом за все вольно или невольно содеянное в жизни. Мотив Страшного суда из сферы обыденного, полурелигиозного-полусуеверного страха переходит в «Переписке» на иной, более высокий уровень, уровень собственно религиозного переживания.

УРОК АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

Письмо «Исторический живописец Иванов» Л. Толстому явно не понравилось, он не счел возможным выставить за него по своей шестибалльной (с учетом «нулей») системе больше «единицы». Недовольство Льва Николаевича, как, быть может, помнит читатель по предыдущей главе, вызвало, в частности, то место, где Гоголь говорит о своей благодарности

[1] См. об этом: Мережковский Д. С. Гоголь и черт. М., 1906. Позднее на ту же тему писали А. Ремизов (Огонь вещей. Париж, 1947), В. Набоков (Николай Гоголь.— Новый мир, 1987, № 4); В. Розанов в «Опавших листьях» прямо идентифицирует Гоголя с «дьяволом», который «вдруг помешал палочкой дно: и со дна пошли токи мути, болотных пузырьков... Это пришел Гоголь» (Наше наследие, 1989, № 1, с. 82). В другом месте: «этот бес Гоголь» (Розанов В. Апокалипсис нашего времени. Сергиев Посад, 1917, с. 4).

царю, чья помощь спасла его в трудный час «не только от болезней и страданий душевных, но даже от голода» (VIII, 334). Позиция Толстого в данном случае ясна, однако странно: неужели достаточно одного, пусть и принципиального, разногласия для безоговорочно суровой оценки письма в целом? Ведь отмеченное Толстым место в тексте — не более чем краткое отступление от темы, попутное личное воспоминание, смысл и содержание статьи отнюдь не в нем. Других пометок на читанном Толстым экземпляре нет, и все-таки похоже, что в гоголевском письме его не устраивало еще что-то. Что же это могло быть?

Наверное, лучше всего, не торопясь с ответом, перечитать само письмо.

Поводом для его написания послужила труднейшая, «непостижимая», по определению автора, судьба русского художника Александра Андреевича Иванова и его картины «Явление Христа народу». Еще в 1838 году Гоголь познакомился и духовно сблизился с жившим в Риме Ивановым, на протяжении многих лет с огромной заинтересованностью и сочувствием следил за его работой, протекавшей в условиях бедственного, временами просто нищенского существования, изнурительного напряжения творческих и физических сил и полного непонимания даже со стороны близких и коллег, не говоря уже о чиновниках из Академии художеств.

Отношения между этими двумя весьма и весьма неординарными — каждая по-своему — натурами, в чем-то близкими и в то же время очень несхожими, не были просты. Гоголь поддерживал Иванова советами, утешал в минуты уныния и отчаяния, порою, правда, бывал и резок, даже высокомерен, как, например, в февральском письме 1847 года из Неаполя; Иванов, по свидетельству современника, «рабски слушал» наставления Гоголя, «видел в нем какого-то пророка»[1] (впрочем, упомянутое письмо из Неаполя очень его обидело и огорчило). Влияние Гоголя явственно дает себя знать в почти не известном публике литературном опыте художника — заметках, озаглавленных «Мысли, приходящие при чтении Библии», которые звучат в pendant к «Выбранным местам...», хотя написаны, видимо, до знакомства с этой книгой. Со временем восторженность сменилась дружеским, но сдержанным расположением — все более сказывались различия в характерах и взглядах, особенно религиозных, которые у Иванова эволюционировали сначала в сторону скептицизма, затем — увлечения мифологи-

---

[1] Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордан(а). М., 1918, с. 187.

ческой концепцией Д. Штрауса; на этом я не буду подробно останавливаться [1].

Однако письмо Гоголя, написанное в 1846 году и включенное им в «Выбранные места...», без сомнения, продиктовано искренним желанием помочь Иванову, привлечь внимание к его картине, добиться назначения художнику денежного содержания, чтобы тот «не умер над ней с голоду» (VIII, 328). Письмо адресовано графу М. Вьельгорскому, человеку влиятельному в свете и, по мнению Гоголя, способному устроить так, «чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержание, которое он просит, но еще сверх того единовременная награда, именно за то самое, что он работал долго над своей картиной и не хотел в это время ничего работать постороннего, как ни заставляли его другие люди и как ни заставляла его собственная нужда» (VIII, 335).

Таков, так сказать, прагматический аспект гоголевского письма, не оставшегося, кстати, без реальных последствий. Иванов благодарил, хотя одно место в письме его покоробило: «...Позвольте возразить против следующих слов вашей статьи: *«Иванов ведет жизнь истинно монашескую»*. И очень бы не отказался иметь женой монахиню...» [2]

Для Гоголя, заметим, важна не только собственно практическая сторона дела. Он хочет, чтобы русское общество, власти предержащие, сами художники осознали суть феномена, который можно назвать «уроком Иванова» — уроком самоотверженной и безраздельной преданности искусству, подвижнического, доходящего до самоотречения, до аскетизма, если угодно — фанатизма служения ему. «Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить искусство. Что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни; как Иванов, учиться и считать себя век учеником; как Иванов, отказывать себе во всем...» (VIII, 335). Потому он и просит Вьельгорского показать его письмо «многим, как моим, так и вашим приятелям, и особенно таким, которых управлению вверена какая-нибудь часть, потому что труженики, подобные Иванову, могут случиться на всех поприщах, и все-таки не нужно допускать, чтобы они умерли с голоду» (VIII, 336—337).

Гоголь как никто понимает Иванова, он сам «испробовал почти то же состояние, испробовал его на собственном теле» (VIII, 335), ему ведомы и добровольная каторга творчества, и «недуги нервические», и горечь одиночества, «недуги от не-

---

[1] См.: Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806—1858. Издал Михаил Боткин. СПб. 1880, с. XI, XXIII, XIV; Зуммер В. М. О вере и храме Александра Иванова.— Христианская мысль, 1917, № 9—10, 11—12.

[2] Александр Андреевич Иванов, с. 247.

уменья изъяснить никому в свете своего положения» (VIII, 333), когда «нужно бежать к одному Богу, и ни к кому больше» (VIII, 334—335); его, как и Иванова, удостоил Бог познать «сладость» нищенства и понять, что «кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира» (VIII, 337).

А Толстой?

Тут кстати будет вспомнить предложенное в свое время В. Зеньковским сопоставление: Гоголь и Толстой в их отношении к искусству и религии. Между Толстым-художником, считает исследователь, и Толстым — религиозным человеком нет конфликта, он никогда не священнодействовал в своем писательском деле, не считал себя служителем искусства, не преклонялся перед ним, не ставил его превыше всего, и в том, что в конце концов он отрекся от своей прежней художественной деятельности, «не было у него никакой измены». Гоголь же «любил искусство со всей страстью романтика, со всем упоением тонкого знатока поэзии», потому мысль о том, что «в этой любви к искусству было нечто недолжное для религиозного сердца» [1], доставляла ему глубокие страдания, приводила к мучительному душевному разладу.

Собственно, он и не отрекается от искусства как такового, лишь прежние свои сочинения называет «необдуманными и незрелыми», сожалеет, что они «предстали в таком несовершенном виде» (VIII, 216). «Я не могу понять,— пытается он (и уже не впервые) в письме к Шевыреву разъяснить Бог весть как возникшее недоразумение,— отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства, тогда как из моей же книги можно бы, кажется, видеть было... какие страдания я должен был выносить из любви к искусству...» (VIII, 292).

Вот эти-то страдания, этот разлад как раз и чужды Толстому: где нет любви, нет и страданий. Поэтому «урок Иванова», так глубоко трогающий Гоголя, Толстого оставляет равнодушным, не находит отклика в душе и сознании. Как и не лишенный оттенка юродства пафос «нищенской сумки», нищенства во имя искусства (хотя мы долго и упорно объявляли «юродствующим» самого Толстого, этого рационалиста из рационалистов). Как и гоголевская вера в то, что в создании картины «Явление Христа народу» «вовсе не участвует произвол человека, но воля Того, Кто повыше человека» (VIII, 329). Да и к избранному художником евангельскому сюжету, о котором Гоголь говорит с традиционно возвышенным трепетом,

---

[1] Зеньковский В. В. Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях.— Христианская мысль, 1916, № 2, с. 17.

у Толстого отношение совсем иное, куда более трезвое, если не сказать — скептическое, ведь и на первоисточник, Священное писание, он смотрит не как не богодухновенное творение, а как на «книгу, прошедшую через многосложные соединения, переводы и переписки, составленные 18 веков тому назад людьми малообразованными и суеверными»[1].

Отсюда и толстовская «единица» в конце письма «Исторический живописец Иванов».

Для Гоголя наивысшая ценность работы Иванова заключается в оплодотворении художественного начала началом религиозным. «Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему такого полного обращенья, лил слезы в тишине, прося у Него же сил исполнить Им же внушенную мысль... Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и нехристианин, взглянувши на его картину...» (VIII, 331—332).

Впрочем, Гоголь знает и об «обратной связи» — о воздействии искусства, эстетических впечатлений на религиозное мироощущение. В другом письме из «Выбранных мест...» («О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности») он называет театр ни больше ни меньше, как «незримой ступенью к христианству» (VIII, 269). Определение, которое обычно стыдливо обходится нашими гоголеведами, предпочитающими в тысячу первый раз цитировать слова о кафедре, с которой «можно много сказать миру добра». Между тем для Гоголя и эта функция театра, и такое его качество, как соборность, способность заставить разнородную толпу «потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом» (VIII, 268),— важные, но все же лишь частные слагаемые, предпосылки другой, главной и действительно всеобъемлющей задачи. Ибо театр, говорит он, это высшее место, откуда «видней весь необъятный кругозор христианства» (VIII, 269). Не соглашаясь со своим адресатом, графом А. Толстым, чей взгляд на театр как на рассадник «соблазна» он как раз и считает односторонним, Гоголь ссылается на эпизод из Библии, из Второй Книги Царств (6, 5), где те же «трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними Давидом

[1] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 39, с. 115.

победы, обратились на восхваленье истинного Бога...» (VIII, 277) [1].

К идее неразрывности искусства и религии, красоты и веры Гоголь пришел задолго до «Выбранных мест...». Еще в статьях сборника «Арабески», относящихся к началу 30-х годов, живопись, музыка, готическая архитектура оцениваются как уникальная и совершеннейшая форма воплощения христианского духа, выражение порыва человека к небу, к высотам бессмертного духа.

Но вот что при этом существенно, на что важно обратить внимание. Гоголевское единство искусства и религии подвижно, и часто (особенно же там, где писатель передает свои личные ощущения, где он очевидно субъективен, где он более всего художник, а не мыслитель, не проповедник) в этом единстве явственно заметен крен в сторону эстетического начала, именно оно обретает превалирующую роль, становясь первотолчком, импульсом для религиозного переживания. Вспомним описание внутренности готического храма; оно взято из статьи «Об архитектуре нынешнего времени», однако менее всего похоже на научную характеристику предмета, главное в нем — передача впечатлений и чувств. Это даже не *описание* храма, это его *образ*. «Вступая в священный мрак этого храма, сквозь который фантастически глядит разноцветный цвет окон, поднявши глаза кверху, где теряются, пересекаясь, стрельчатые своды один над другим, один над другим, и им конца нет,— весьма естественно ощутить в душе невольный ужас присутствия святыни, которой не смеет и коснуться дерзновенный ум человека» (VIII, 57).

Спустя десяток лет похожая картина появится во второй редакции «Тараса Бульбы». Андрий попадает в костел, где идет предутреннее богослужение. «Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в

---

[1] Удивительно: мысль эта не вызывает негативной реакции Толстого, какой мы могли бы ожидать, зная его оценку статьи об А. Иванове; напротив, на полях стоит знак «нотабене», а в конце письма — «пятерка»! Отчего такая непоследовательность? Что перед нами: обычные ли перепады настроения, возрастная ли забывчивость, внутренняя противоречивость взглядов или какие-то иные причины? Признаюсь, у меня нет однозначного ответа, ограничусь осторожным предположением. Возможно, сказались присущие позднему Толстому интерес к драме, к театру, вера в силу их преобразующего воздействия на общественные нравы, на человека; импонировать должен был и тот факт, что Гоголь защищает театр от нападок со стороны официальных церковных кругов, с которыми Толстой был, мягко говоря, не в ладах... Более подробные рассуждения вывели бы нас за пределы основной темы.

своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. ...В это время величественный стон органа наполнил вдруг всю церковь; он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые раскаты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко над сводами своими поющими звуками, напоминающими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих».

Эта страничка дала некоторым критикам Гоголя повод для упрека в тайных симпатиях к католичеству. Мне уже доводилось высказываться на сей счет[1], повторяться нет смысла. Напомню лишь об одном своем аргументе в споре с мнительными блюстителями конфессионального целомудрия. Я обращал внимание на то существенное обстоятельство, что сцена в костеле дается через восприятие персонажа, которое никак не следует отождествлять с авторским. Готов и сейчас настаивать на том же; однако при этом считаю необходимым добавить, что механически расчленить две точки зрения на изображаемый предмет, провести жесткую разделительную линию между взглядом автора и взглядом его героя практически вряд ли возможно, не разрушая целостности живого художественного образа. Да, бесспорно, это завороженный Андрий застыл «с полуоткрытым ртом», это он видит происходящее в костеле, он слышит звуки органа. Таков текст. Но можно ли вместе с тем не ощутить в подтексте и благоговейный восторг, священный трепет, охватывающий самого писателя?

Перед чем — перед пышностью католической службы? Я думаю, это слишком поверхностное объяснение. Тут чувство другое: «присутствие святыни» — так определил его когда-то Гоголь. В Риме оно властно покоряет его восприимчивую душу. Из тогдашних писем к близким и друзьям узнаем, что иногда он заходит в «прекрасные» римские церкви; и здесь—кто усомнится?—он молится по своему родному православному обряду, но, кажется, не о том его мысли. Да и не мысли главное в эти минуты, главное — услышать хрупкую, таинственную тишину Божьего дома, проникнуться духом строгого совершенства, звучанием «небесной музыки», главное — почувствовать, как «дышит священный сумрак», увидеть луч солнца, нисходящий «с вышины овального купола, как Святой Дух, как вдохновение». «...Я молюсь за вас здесь,— продолжает он в письме к М. Балабиной,— где молитва на своем месте, то есть в храме. Молитва же в Париже, Лондоне и Петербурге все равно, что молитва на рынке» (XI, 140, 146). Как рынку — храм, так нелюбимым столицам — суетливому Парижу и холодному Пе-

---

[1] См.: Вопросы литературы, 1987, № 1.

тербургу (каким образом оказался в этом ряду Лондон?) — противопоставлен любимый Рим. Он не назван даже, это и не нужно, ибо в воображении писателя образ храма сливается воедино с образом Вечного Города — с исполненной мистики музыкой его архитектурных ансамблей; с разлитым вокруг дыханием старины, патриархальности (если угодно, «старосветскости» в ее, так сказать, римском варианте), столь близкой гоголевскому сердцу; с благодатностью целительного для тела и души воздуха Кампаньи... Религиозное настроение, молитвенный экстаз рождаются из потрясения эмоционального. Красота приобщает к святыне.

ПОВЕРКА РАЗУМА

Но вот Гоголь приходит к выводу, что одних эмоций, одних только эстетических впечатлений и переживаний мало, чтобы действительно «заговорить о Боге» (напомню: это выражение из письма к Смирновой). Он видит «математически ясно», что необходима «поверка разума». Возникает «мысль об ученье».

Возникает она, по признанию писателя, поздно, «в зрелом возрасте», в последнее десятилетие его жизни. «...Я получил в школе воспитание довольно плохое... — читаем в «Авторской исповеди». — Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия» (VIII, 443).

Круг этих занятий широк, «от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника», как и вообще диапазон книжных интересов Гоголя, однако в период, о котором идет речь, в них явственно превалирует религиозная направленность. Стремясь постичь, что́ есть «человек и душа человека», «человечество вообще», Гоголь тем самым ищет дорогу «ко Христу», к Божественной истине, к «узнанью... вечных законов». Среди ставших его чтением книг «законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека» (VIII, 443) главное место занимают богословские труды и святоотеческая литература. С этой точки зрения, думаю, не будет натяжки, если слова о «первоначальных книгах» истолковать в двояком смысле: первоначальные — это значит не только «элементарные», «азбучные», но и «основополагающие», «исходные», дающие фундамент, опору.

Письма тех лет, в частности, к Языкову, Смирновой, С. Аксакову, А. Толстому, содержат многочисленные просьбы о присылке книг церковного и религиозно-нравственного содержа-

ния, еще раньше, судя по «реестру» 1841 года, такие издания посылал писателю в Рим Погодин[1]. В этих списках, а также в записной книжке 1846 года (то есть в самый разгар работы над «Выбранными местами...») обнаруживаем чрезвычайно широкий круг названий и имен. Среди них: Евангелие, Псалтырь, молитвенник, книги синодальные, сочинения отцов Церкви, богословов, духовных писателей — Ефрема Сирина, Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова (Назианзина), Иоанна Златоуста, Андрея Критского, Макария Египетского, Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Мелетия Пигаса (антиохийский патриарх, известный как борец против Брестской унии 1596 года, активный корреспондент русских, украинских, польских государственных и церковных деятелей), Иоанникия Галятовского, Димитрия Ростовского, Гавриила Бужинского, Лазаря Барановича, Стефана Яворского, Никифора Феотоки, Тихона Задонского, Михаила Десницкого, Платона (Левшина), Филарета (Дроздова), Иннокентия (Борисова). Внимание Гоголя привлекают Игнатий Богоносец, Иустин, первосвященник Поликарп и его ученик Ириней Лионский, Авва Дорофей, Кирилл Иерусалимский и Кирилл Александрийский, Фома Аквинский, Амвросий Миланский, Дионисий Ареопагит (так называемый Псевдо-Дионисий), блаженный Августин[2] и особенно Фома Кемпийский, чьей книгой «О подражании Христу» Гоголь был увлечен и настоятельно рекомендовал своим московским друзьям штудировать ее ежедневно. Интересуется писатель исследованиями по литургике, журналом «Христианское чтение», сборниками «Творения Отцев Церкви в русском переводе» — периодическим изданием Московской духовной академии, антологией восточно-христианской патристики «Добротолюбие» (в переводе Паисия Величковского), «Памятником веры» — церковным календарем с различными приложениями, проповедями Ж.-Б. Боссюэ...

О методе, применявшемся Гоголем при чтении, или «проработке», как сказали бы мы сегодня, этих книг (исключение составляет Евангелие, читать которое он испытывает «непреодолимое, сильное желание», «сердечный порыв»; XII, 37), можем судить по его советам Языкову в письме от 8 июля 1843 года: читай, говорит он, «с карандашом в руке», выуживай, «как рыбак», каждое «величавое, нежданное слово или оборот, записывай и отмечай их себе в материал» (XII, 205). Сам писатель именно так и читал, о чем свидетельствует ру-

---

[1] См.: Воропаев В. М. Три этюда о Гоголе. (Из архивных разысканий).— В кн.: Гоголь: история и современность. М., 1985, с. 447—456.

[2] Представляет интерес предлагаемая В. Носовым параллель между гоголевской концепцией Города и сочинением Августина «О граде Божием» (см.: Носов В. Д. «Ключ» к Гоголю).

кописный сборник-тетрадка с выписками из сочинений отцов и учителей православной церкви, как вселенской, так и русской.

Оригинальный экземпляр этой тетрадки, упоминаемый А. Толстым в числе бумаг, оставшихся после покойного Гоголя, пока не найден. Предполагается, что его взял с собою П. Кулиш, посетивший Васильевку вскоре после кончины Гоголя в связи с работой над его двухтомной биографией, после чего след рукописи затерялся. К счастью, сестра писателя, Ольга Васильевна Гоголь-Головня, успела снять копию, впоследствии она передала ее В. Чаговцу, от него тетрадка попала к Н. Петрову, который описал ее и прокомментировал[1].

Сборник объемом в 229 страниц, составленный (или завершенный?) Гоголем, по расчетам Н. Петрова, в Париже не позднее марта 1845 года, то есть в ту пору, когда, как мы помним, уже вызревал замысел «Выбранных мест...», содержит 56 выписок. Временнóй и географический диапазон необычайно широк — от авторов раннехристианских и средневековых до писателей более позднего времени вплоть до современников Гоголя, в том числе епископов — Рязанского Гавриила (Городкова), Костромского Владимира (Алявдина) и Полтавского Гедеона (Вишневского), затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия Машурина и протоиерея Степана Сабинина, настоятеля при русской миссии в Веймаре (вспомним: здесь, в Веймаре, весной 1845 года, в тяжкую пору своего «нервического расстройства», Гоголь говел вместе с А. Толстым — вторично в году). Большинство выписок, 38 из 56, сделано из материалов, опубликованных в журнале «Христианское чтение», остальные почерпнуты либо из других источников (из приложения к катехизису Петра Могилы «Православное исповедание веры»[1], из «Книги правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец», со списков, снятых с различных проповедей и писем), либо — реже — непосредственно из сочинений тех или иных авторов.

По содержанию Н. Петров подразделяет все выписки на три группы: вопросы догматические, литургические и религиозно-нравственные.

Последние занимают в сборнике наиболее значительное место, что, несомненно, связано с подготовкой писателя к ра-

---

[1] См.: Петров Н. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя. Киев, 1902.

[2] Некоторые исследователи считают соавтором (если не действительным автором) этого катехизиса Исаию Трофимóвича-Козловского, первого ректора основанной П. Могилой в 1632 году Киево-Могилевской коллегии (впоследствии академии), первого украинского доктора богословия. См.: Филарет, архиепископ Харьковский. Обзор русской духовной литературы, кн. I. Харьков, 1859, с. 271; Українські письменники. Біо-бібліографічний словник. Составитель Л. Е. Махновец. Т. I. Киев, 1960, с. 565.

боте и самой работой над «Выбранными местами...», а также, в известной мере, над вторым томом «Мертвых душ». Не лишены интереса сделанные Н. Петровым сопоставления выписок и отдельных мыслей и положений из последних сочинений Гоголя: о любви к Богу и к ближнему, о боготворении монарха, о миротворческой деятельности христианина, о нравственном самосовершенствовании и личном самоиспытании, о смирении и т. п.

Литургическим вопросам уделено сравнительно немного внимания, у нас еще будет случай вспомнить о них.

Что же касается выписок, относящихся к области церковной догматики, то тут хотелось бы высказать соображения вот какого рода.

Дело в том, что выписки эти посвящены вопросам сугубо богословского характера. Таков, скажем, отрывок из сочинения «Изложение веры св. Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, по данному ему откровению», рассматривающего основные принципы христианского Символа веры. Сразу же за этим отрывком, которым открывается сборник, следует пространное изложение мыслей Василия Великого о церковных преданиях. Затем на разных страницах находим суждения отцов и учителей церкви о специфических, зачастую спорных проблемах христианской догматики: Иоанна Дамаскина — о таинствах; Прокла Константинопольского — о Боге-Сыне, о богочеловеке; Тертуллиана — о плоти Христовой и о двух естествах Иисуса; Федота Анкирского — о непорочном зачатии и рождении Спасителя от Девы; Иоанна Златоуста — о Церкви как носительнице Святого Духа; отрывок из письма протоиерея Степана Сабинина посвящен почитанию святых, угодников Божиих, неразрывно связанному с почитанием Пресвятой Девы и самого Бога. Подобных выписок — именно чисто богословских — не так уж мало, они занимают более четверти, если не около трети всего сборника.

Так вот, приходится задать себе вопрос: не поторопились ли мы в свое время, согласившись с епископом Григорием в том, что автор «Выбранных мест...» никакой не богослов?

Полагаю, на этот вопрос можно ответить с уверенностью: нет, все-таки не поторопились. Ученик богословов, неофит, прикасающийся к догматической премудрости,— так, пожалуй, будет вернее. Как отмечает Н. Петров, по-видимому, богословские выписки «имели в виду только личное научение Гоголя истинам веры и нигде, кажется, не отразились на его литературных произведениях» [1].

---

[1] Петров Н. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Гоголя, с. 7.

Оговорюсь: это не значит, что такого рода богословское «научение» не имело вовсе никакого отношения к литературным занятиям Гоголя, никак и никогда не влияло на них. Нередко очень даже влияло. Известно, например, как сетовал писатель по поводу того, что слишком поздно узнал сочинения Исаака Сирина, «великого душеведца и прозорливого инока», заставившего его переоценить свои «гнилые слова» о прирожденных страстях в главе XI первого тома «Мертвых душ», увидеть в них «прелесть», «вздор», «только дымное надмение человеческой гордости»[1].

В «Выбранных местах...» мы очень часто, практически на каждом шагу встречаем понятия, термины, символы, фразеологию, связанные с христианской догматикой, ссылки на Священное писание, на авторитет отцов и учителей церкви. Однако все это носит не самодовлеющий (как собственно в богословии), а скорее подчиненный характер, все пропущено через художественное сознание. Богословская категория перевоплощается в образ; богословская мысль дает импульс размышлениям о человеке и его душевном мире. И в письмах, посвященных, казалось бы, узко церковным проблемам, скажем, в письме «Несколько слов о нашей церкви и духовенстве», и в следующем, озаглавленном «О том же», Гоголь, как мы убедимся ниже, говорит не только, даже, быть может, не столько о делах узкоцерковных, сколько о взаимоотношениях церкви с обществом и человеком. И там, где вроде бы просто комментируются канонические религиозные тексты, на самом деле возникает опять-таки тема человеческой жизни, нравственности, смысла существования. В письме «Чей удел на земле выше» евангельская притча о том, как некто дал трем рабам разное количество серебряных талантов и как по-разному распорядился каждый своим богатством (*Матф.*, 25, 15), рождает мысли о неизбежном справедливом, «равном в Боге» воздании «всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий», о тщете суеты, жажде земной известности, об опьянении и похмелье от «очаровательного напитка земной славы» (VIII, 367) — мысли отнюдь не канонические, далеко выходящие за рамки евангельского текста.

Я мог бы привести в качестве примера и статью о Пасхе — «Светлое Воскресенье», однако предпочитаю приберечь ее для отдельного разговора. Пока замечу: статья не богословская, я бы отнес ее к разряду публицистическому.

То же можно сказать о гоголевской книге в целом, о ее жанровой природе. Те, кто искал в ней теологических открове-

---

[1] Цит. по: Матвеев П. Гоголь в Оптиной пустыни.— Русская старина, 1903, февраль, с. 303.

ний, были разочарованы (как, впрочем, и те, кого отталкивала религиозная окрашенность нравственных и общественных идеалов автора, но сейчас речь не о том), одно только «пустословие» усмотрели они в его публицистике.

А «Выбранные места...» — сочинение именно публицистическое, это собрание писательских эссе, предмет которых есть «жизнь, а не что другое» (VIII, 445), жизнь, увиденная и понятая через религиозно-нравственную призму. «Поверка разума», без сомнения, обогатила богословский багаж Гоголя, подкрепила его веру знанием, однако она не сделала его сухим книжником, доморощенным богословом, не выхолостила живого чувства и эстетического начала из религиозного мировосприятия. Он и здесь остается прежде всего художником, что и отличает его книгу, например, от богословской публицистики А. Хомякова. Религиозная идея предстает у Гоголя не в оголенном, не в препарированном теологическим скальпелем виде, она «вплетена» в художественно-публицистическую ткань, составляет основу и сердцевину образа. Позволю себе еще одну метафору: идея эта «растворена» в тексте «Переписки», как соль в воде,— в зарисовках провинциальной жизни («Что такое губернаторша», «Нужно проездиться по России»); в деталях повседневного быта и деятельности священнослужителя («О том же»), помещика («Русской помещик»), крестьянина («Просвещение»), женщин из разных слоев общества («Женщина в свете», «Чем может быть жена...»); в социально-психологических характеристиках общественных типов — от чиновника-мздоимца и станового пристава («Нужно проездиться по России») до крупного сановника («Занимающему важное место»); в раскрытии механизма бюрократической власти как системы тотального ограничения, системы изначально бесплодной, «пустой и жалкой» («Занимающему важное место»); наконец, в авторских суждениях о коренных вопросах развития России, ее исторического прошлого и несовершенного настоящего, о монархическом правлении и революционных «страхах и ужасах», церкви и морали, крепостном праве и литературе, «европистах» и «славянистах», о смысле жизни и «загробном величии»...

Эта невыявленность религиозного начала, его «растворенность» способны ввести и вводили в заблуждение. «...Где же *религия* Гоголя?.. Я нигде не нашел ее следов»,— недоумевал М. Гершензон, один из тех немногих критиков, которые защищали автора «Выбранных мест...» от нападок. Движимый этой благой целью, он решил отвести от него какие бы то ни было упреки в религиозности, объявить писателя если не полным атеистом, то почти единомышленником Белинского в этом вопросе и уж во всяком случае не оппонентом. Если же так, то нравственное самосовершенствование, стремление к слиянию

с Богом оказывается не более чем лукавой «тактической директивой» Гоголя, «общественно-утилитарным орудием», призванным служить «делу земного благоустройства». «...Сердце Гоголя,— считает М. Гершензон,— принадлежало не Богу, а народному благу, России...» [1]

Дело, однако, в том, что эти понятия — Бог и благо народа, Бог и Россия, столь резко разъединяемые критиком, для Гоголя (нравится это нам или нет) как раз абсолютно неразделимы. Они растворены одно в другом, но при этом «вкус соли» — религиозная идея — различим явственно, и не просто различим, без него «раствор» превратился бы в дистиллированную воду...

Неубедительность попытки М. Гершензона очевидна, поскольку речь идет о такой книге, как «Выбранные места...», где религиозные взгляды Гоголя выражены слишком четко. Значительно сложнее с беллетристическими его произведениями. Не случайно бытует мнение, что новое религиозное направление проявилось в «Переписке» как бы неожиданно и стало свидетельством религиозного кризиса писателя. Это возникло с легкой руки С. Аксакова, затем — Белинского еще при жизни Гоголя, после его смерти появились воспоминания Анненкова. И хотя сам писатель не раз, в письмах (к тому же Аксакову) и в «Авторской исповеди», подчеркивал, что «с 12-летнего, может быть, возраста» идет «тою же дорогою, как и ныне» (XII, 301), что и в последней книге он «не совращался с своего пути» (VIII, 445), мнение это довольно широко распространено в гоголеведении [2].

Привлекательность его — в заманчивой простоте объяснения сложного феномена; впрочем, вернее будет сказать, что эта простота вообще не предполагает никаких объяснений, ведь в сущности вопрос сводится к немотивированному, непостижимому казусу, иррациональному скачку, а то и вовсе к патологии. В основе такой простоты лежит, с одной стороны, слепое следование схеме Белинского, для которого автор «Выбранных мест...» был падшим ангелом, с другой — поверхностное, возь-

---

[1] Гершензон М. Завещание Гоголя.— Русская мысль, 1909, № 5, с. 165—167. См. также: Гершензон М. Исторические записки. (О русском обществе). М., 1910, с. 88—101.

[2] О «религиозном кризисе» пишет и К. Мочульский в книге «Духовный путь Гоголя», однако тут перед нами нечто иное. Обратим внимание на датировку — 1847—1848. Это период *после* «Выбранных мест...». Потрясенный тем, как встречена и истолкована его книга, чинимой над ним «страшной анатомией», растерявшийся после паломничества в Иерусалим, не принесшего ожидаемого душевного обновления, писатель «вступает в последний круг своего ада — в пустыню *богооставленности»* (с. 112). Очевидно, что тут перед нами духовный процесс совсем иного рода, нежели тот «перелом», о котором обычно принято говорить.

му на себя смелость сказать, ленивое прочтение всего, что написано Гоголем до этой книги. При таком прочтении (или «почитывании»?), конечно же, нет никакой возможности разглядеть за наивной мифологией и демонологией «Вечеров на хуторе близ Диканьки», за окрашенной в отчетливо религиозные тона героикой «Тараса Бульбы», за трансцендентальной скукой унылого миргородского быта и мистическими мотивами «Старосветских помещиков», за вселенской горечью «Ревизора», сочувствием, жалостью, болью «Записок сумасшедшего» и «Шинели» — разглядеть за всем этим, если не прямо в тексте, то в подтексте или в контексте, зачатки, наблюдаемые еще «в Гоголе — нежинце и петербуржце»[1], зерна той Веры, той завещанной Спасителем любви к ближнему, которые и дали впоследствии сильные всходы в «Выбранных местах...». Даже в «Портрете», где творчество напрямую сопоставляется со «звучащею молитвою», устремленною «вечно к Богу»; даже в «Мертвых душах», в первом томе, антиномичность самого названия которых уже заключает в себе мысль о душах живых, воскресающих, воскресших, не увидены были эти зерна... Хотя среди самых последних слов, написанных Гоголем, было: «Будьте не мертвые, а живые души»[2].

Быть может, пристальнее многих — и удивительно ли? — вгляделся с этой точки зрения во *всего* Гоголя писатель духовный, А. Бухарев, сумевший понять, что «Переписка» уходит своими корнями в особенности личности Гоголя и обстоятельства всей его жизни, что она есть закономерный этап творчества, «последний, самый естественный плод или последнее звено, до которого дошло... стройное, поэтическое и духовное развитие» художника[3]. Я бы лишь добавил: и развитие религиозное, когда писатель уже просто не может не «заговорить о Боге», ибо «и камни готовы завопить о Боге» (XII, 287).

ЦЕРКОВЬ И ХРАМ

Кстати, по поводу книги А. Бухарева.

Мимо внимания вдумчивого читателя наверняка не пройдет разница между двумя датами — написания «Трех писем» и выхода их в свет. Более десяти лет! О причинах задержки не так уж трудно догадаться, если учесть, что рукописью остался недоволен ознакомившийся с нею московский митрополит Фи-

---

[1] Заболотский П. А. Н. В. Гоголь в русской литературе (библиографический обзор).— В кн.: Гоголевский сборник. Киев, 1902, с. 43.

[2] Письма Н. В. Гоголя, т. IV, с. 424.

[3] Архимандрит Феодор (А. Бухарев). Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году, с. 70.

ларет, он счел, что предмет рассмотрения недостоин занятий профессора духовной академии...

Эта недвусмысленная, хотя и косвенная, критическая оценка гоголевской «Переписки», подтверждаемая рядом свидетельств[1], не была исключением, напротив, отражала распространенное среди духовенства мнение. Об отзыве калужского епископа Григория мы уже говорили. Весьма прохладно отношение Иннокентия, архиепископа Таврического и Херсонского. Гоголь через Погодина просил преосвященного, с которым был знаком и чьим мнением чрезвычайно дорожил, сообщить свою оценку «Выбранных мест...». Иннокентий через того же Погодина передал Гоголю благодарность за дружескую память, заверения в нежной любви и... пожелание впредь «не парадировать набожностью: она любит внутреннюю клеть»[2]. Известен был Гоголю, судя по его письму к Плетневу от 9 мая 1847 года, и критический отзыв архимандрита Игнатия (Д. Брянчанинова), а также оптинского старца Макария. О крайних суждениях о. Матвея Константиновского не приходится и говорить. Ржевский протоиерей в своих письмах не оставлял от книги камня на камне, грозил автору карами небесными, требовал покаяния, отречения от литературы.

В целом же превалировало не столько резко негативное, сколько сдержанно-равнодушное, пожалуй, даже пренебрежительное отношение, и это, нетрудно предположить, должно было ранить Гоголя больнее, чем инвективы о. Матвея. По словам Д. Мережковского, то, что русская православная церковь не «рассердилась» на книгу Гоголя, а «просто не заметила» ее, было для писателя «хуже всего, потому что он искал в Церкви последнего убежища». Именно последнего: только после «Переписки» Гоголь до конца «понял весь ужас своего одиночества»[3].

Замечание, отражающее факт несомненный — факт обращения писателя к Церкви. Можно относиться к нему по-разному, но нельзя его отрицать. Объяснимо желание Л. Толстого во что бы то ни стало отделить живое религиозное чувство Гоголя от его «церковной веры»;[4] попытка эта не совсем безосновательна только при одном условии — если иметь в виду весь путь писателя в целом, но по отношению непосредственно к «Выбранным местам...» ближе к реальности, по-моему, В. Эрн, который писал: «Гоголь, когда страждущий дух его осознал

---

[1] См.: Барсуков Николай. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 8, с. 561—562.

[2] Там же, с. 562.

[3] Мережковский Д. Гоголь и Россия.— Возрождение. Париж, 10 июня 1934 г.

[4] См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. т. 38, с. 50.

свою первородную мертвенность, в ужасе бросился к *Церкви*»[1]. Прошу заметить: не говорю — «ближе к истине» (слова о «первородной мертвенности» ближе скорее к розановской формуле «мертвого взгляда», нежели к истине), говорю о близости к реальному тексту.

К нему и обратимся.

И начать представлялось бы логичным с писем «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» и «О том же». Однако я хочу вернуться к ним чуть ниже, из дальнейшего, надеюсь, будет ясно — почему.

Наиболее полную характеристику роли Церкви (я сохраняю написание этого слова с прописной буквы, не принятое у нас, а для Гоголя и вообще для старых авторов имеющее принципиальное значение) как общественного института, стройной иерархической структуры Гоголь дает в адресованном Жуковскому письме «Просвещение». Посетовав на «нестройность» окружающей жизни, он возлагает свои надежды на единственного «примирителя всего внутри самой земли нашей» — на Церковь. «Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направленье, всему законная и верная дорога». Те опасения и ту тревогу, то, скажем более определенно, неприятие, которые писатель испытывал перед экспансией западной цивилизации, перед угрозой революционной ломки, чреватой «страхами и ужасами», вынуждают его обратиться к Церкви — последнему бастиону, гаранту общественного равновесия и стабильности. «По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведенье в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым» (VIII, 283—284).

Двойственное чувство вызывают эти гоголевские сентенции, когда перечитываешь их сегодня. Первая, привычная, за десятилетия внедренная в сознание реакция: заглушить этот странный голос из иного мира, из другого времени, постараться не услышать его, забыть, отринуть преходящие понятия и ценности. Да только вот — все ли они действительно преходящи?..

Всерьез мы задумались над этим вопросом совсем недавно, едва ли не впервые оглянувшись на тысячелетний путь христианства на Руси. Что говорить, разное увидим на этом пути.

---

[1] Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912, с. 89.

Бывала православная русская церковь и впрямь «поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми»[1], как о том напоминал Гоголю разгневанный Белинский. Можно бы и нужно к этому добавить и то, что она выполняла роль мощной русификаторской мельницы, нещадно перемалывавшей язык, культуру, самосознание так называемых национальных окраин империи. Кому-кому, а Гоголю не следовало об этом забывать — историю Украины он знал слишком хорошо. Но ведь далеко не только к этому сводится история русской православной Церкви. Была она и хранительницей гуманистических традиций, носителем и сеятелем культуры, учителем нравственности, провозвестником милосердия, совестливости, любви к брату своему; бывала и оппонентом, и обличителем жестокой власти, а в трудные часы отечественной истории — трубным гласом, поднимающим народ на подвиг...

Своя, «неистовая» правда, правда, диктуемая запросами момента, тактикой революционной борьбы, жаждой разрушения всего и вся во имя светлого будущего, — такая правда у Белинского была. «Жаль только — жить в эту пору прекрасную» не пришлось ни ему, ни последующим — вплоть до нас с вами — поколениям. Не потому ли на нынешнем историческом рубеже совсем по-иному, чем полтора века и чем еще несколько лет тому назад, воспринимается правда гоголевская, его слова о том, что «непостижимая слепота пала на глаза многих» и что наступит время, когда истина о Церкви, о понимании ее роли «будет признано всеми в России, как верующими, так и неверующими» (VIII, 284)? И нового смысла исполняется ответ (как жаль, что так и не отправленный!) Гоголя на поучения Белинского о русском мужике, о его якобы исконном бесстыдно-циничном отношении к Богу, к иконе, к религии вообще. О том самом народе, который, по словам Гоголя, за свои «бедные лепты» тысячами церквей и монастырей покрыл русскую землю и, терпя беспросветную нужду, «делится последней копейкой с бедным и Богом». Думал ли Гоголь о будущем приходе «окаянных дней», когда большинство из этих тысяч храмов окажутся стертыми с лица земли и уже не только мужик русский, но и мнящий себя интеллигентом сын его, и внук, и правнук, напичканные «легкими брошюрами» и «журнальными статейками»,— уже и они будут говорить о Боге, почесывая себя «пониже спины», а чаще и вовсе не говорить, не думать, не помнить... Не заглядывал ли он в ту кровавую апокалипсическую даль, поминая в письме «нынешних коммунистов и социалистов», объясняющих, что «Христос повелел от-

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 6, с. 283.

нимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние» (XIII, 440).

Однако достаточно эмоций. Вернемся все же к тексту «Выбранных мест...», на сей раз к письмам о Церкви.

В первом из них, «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве», находим мысли, прямо перекликающиеся с теми, о которых только что шла речь, из письма к Жуковскому. Вот они: Церковь, «как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей... вся с своими глубокими догматами (едва ли не единственная в книге ссылка на церковные догматы.— *Ю. Б.*) и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа... одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши... может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью... организма...» (VIII, 246).

Добавляет ли эта цитата что-нибудь к тому, что мы уже читали у Гоголя? Или к выспренним монологам об официальном православии, его апостольской природе, изначальной чистоте и мессианском предназначении, монологам, скажем, хомяковским или погодинским? И нет, и да. Общий пафос, даже фразеология вроде бы те же, однако есть нюансы, и в них все дело.

Надо признаться, что цитата здесь усечена. Опущено, помимо местоимений, всего несколько слов, которых, кстати, негодующие комментаторы обычно не замечают,— между прочим, совершенно зря. И вот почему. После приведенных выше слов о том, что России предстоит изумить мир «согласной стройностью... организма», следует уточнение: «того же самого... которым она доселе пугала». Как видим, заботясь о силе и величии России, о ее влиянии на судьбы народов, писатель возлагает надежды не на устрашающий жандармский кулак, а на внутренние реформы, способные привести к гуманизации общества, к его гармонии и совершенству, и именно этим изумить мир, сотворить «чудо в виду всей Европы».

Но и теперь еще цитата усечена, более того, она выдернута из контекста. Каюсь, я сделал это намеренно — чтобы привлечь внимание как раз к контексту; в этом случае как в самой цитате, так и в письме в целом высвечивается новая и весьма существенная грань.

Панегирик Церкви неожиданно оборачивается упреком, адресованным соотечественникам и в первую очередь самому себе: «...И эта Церковь нами незнаема!» Церковь — «сокровище, которому цены нет», это важно понять; но еще важнее,

как мы «владеем сокровищем». Важнее и болезненнее вопрос, который могут нам задать в мире: «А сделала ли ваша Церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг?» Стыд и раскаяние охватывают писателя от такого вопроса: «Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви?..» (VIII, 245—246).

В чем же спасение? В нас самих и только в нас, более нигде. «Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвестить ее правду» (VIII, 245). Человек вне Церкви — мертвая оболочка, набор пустых, трескучих слов, но и Церковь потому только «вся есть *жизнь*», что живет «благоуханием душ наших» (VIII, 246).

Для Гоголя Церковь — менее всего учреждение, это Храм, дом Господен.

Дорогой к такому Храму было паломничество Гоголя в Святую землю, ко Гробу Господню, позднее — в Оптину пустынь. Подобно пушкинскому страннику, он ищет «верный путь и тесные врата» к Богу и — одновременно — к самому себе. «Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех» (VIII, 248).

Этими словами заключает Гоголь письмо «О том же». К кому же обращены они?

Прежде всего к священнику. Тема духовенства логически продолжает и развивает тему Церкви, они неразделимы, что и подчеркивается лаконичным заголовком письма. Вместе с тем священник, в представлении Гоголя, отнюдь не конфессиональный чиновник, чья деятельность регламентируется «уставами нашей Церкви» и правительством, он — посредник между Богом и человеком. «Нужно, чтобы он говорил стоящему среди света человеку с какого-то возвышенного места, чтобы не его присутствие слышал в это время человек, но присутствие самого Бога...» (VIII, 247). Миссия священника есть миссия духовная. Благотворитель, способный, как никто иной, понять и другим «истолковать... святой и глубокий смысл несчастия, которое... есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни» (VIII, 236; «О помощи бедным»). Просветитель, не в расхожем, плоском значении этого слова, а в смысле христианском, предполагающем умение «всего насквозь высветлить человека во всех его силах», «пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь» (VIII, 285; «Просвещение»). Миротворец, которому «у нас поприще

повсюду» и подвиг которого «Спаситель оценил... едва ли не выше всех других» (VIII, 304; «Нужно проездиться по России»). Проповедник и обличитель, чье слово может потрясти заскорузлую грешную душу вора, мздоимца или «честного, но близорукого богача», «поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит», «хотя одно из тех ежеминутных преступлений, которые он совершает» (VIII, 306, 307; там же). Смиренный служитель Бога, стоящий, «каков бы он ни был», «ближе всех нас к возврату на путь свой, а, возвратясь на него сам, может возвратить и всех нас» (VIII, 316—317; «Что такое губернаторша»)... Такой собирательный, но и цельный в главном, образ русского священника вырисовывается из разбросанных по разным главам «Выбранных мест...» штрихам и эскизам.

Спору нет, в целом он идеализирован, этот образ, хотя кое-где, например в «Русском помещике», мелькают намеки на то, что может встретиться священник, который и «дурен», и «неопытен», и не слишком образован. «Я очень много знал дурных попов,— писал Гоголь в черновике своего неотосланного письма к Белинскому, отвечая на упрек в том, что он пропел «гимн гнусному духовенству»,— и могу вам рассказать множество смешных про них анекдотов, может быть, больше, нежели вы». Сомневаться не приходится — и больше и лучше, однако в другом была цель Гоголя. «...Встречал зато, — продолжает он,— и таких, которых святости жизни и подвигам я дивился, и видел, что они — созданье нашей восточной Церкви, а не западной. Итак, я вовсе не думал воздавать песнь духовенству, опозорившему нашу Церковь, но духовенству, возвысившему нашу Церковь» (XIII, 439) [1].

В этой своей позиции, кстати, Гоголь опирается на Пушкина, о чем свидетельствует упоминание в письме «О театре...» пушкинского стихотворения «В часы забав и праздной скуки...», посвященного митрополиту Филарету.

Живой пример и образец русского священнослужителя видел Гоголь в Ржевском протоиерее Матвее Константиновском, с которым познакомился в последние годы своей жизни в доме графа А. Толстого. Об этом, как можно судить, незаурядном, сильном если не глубиной ума и ученостью (впрочем, Гоголь называет его в одном из писем «умнейшим человеком»; XIV, 59), то волей и твердостью веры иерее и о его роли в судьбе писателя существуют мнения разные. Непримиримый, фанатик

---

[1] Здесь писателем затронут важный для него, и не только для него, вопрос о двух церквах—западной, римско-католической, и восточной, русской православной, но этот вопрос заслуживает специального и подробного рассмотрения, что увело бы нас далеко в сторону.

и аскет, «расколовший», подобно твердому дубовому клину, «раздвоенное существо Гоголя» [1], или же мудрый пастырь, сыгравший главную роль «в религиозном возрождении» писателя? [2] Не вдаваясь в подробности этого, думается, не исчерпанного пока спора, замечу, что крайности в суждениях мало помогут в поиске истины [3]. Невозможно отрицать, что мечущаяся в «пустыне богооставленности» (напомню: выражение К. Мочульского) душа Гоголя самых последних лет тянулась к о. Матвею, в известной мере и покорялась ему. В большинстве адресованных протоиерею гоголевских писем доминирует интонация смирения и покорности, и порою кажется, что Гоголь действительно «весь подчинился о. Матвею, отсек... собственную свою волю» [4]. Но в одном, во всяком случае, он так и не подчинился — в вопросе о своем праве и призвании писателя. «Не знаю, сброшу ли я имя литератора...»—по форме уклончиво, а по сути решительно говорит он в одном из писем. Воля Божия? Но он, Гоголь, не знает, «есть ли на то воля Божия». Закон Христов? Но он «до сих пор уверен, что закон Христов можно внести с собой повсюду, даже в стены тюрьмы, и можно исполнять Его требованья во всяком званьи и сословии. Его можно исполнять также и в званьи писателя. Если писателю дан талант, то, верно, недаром и не на то, чтобы обратить его во злое» (XIII, 390). Здесь признаки душевного и творческого смятения, но здесь и отражение борьбы с этим смятением, с самим собою, с отцом Матвеем. А ведь это написано уже после завершения «Выбранных мест...». Протоиерей гнул Гоголя сильно и небезуспешно, но сломил ли?..

Затронутый в связи с темой о. Матвея вопрос об отношении Гоголя к своему писательскому делу, как это ни покажется странным, возвращает нас к письму «О том же». Я имею в виду заключительные слова о «ключе к своей собственной душе». Они обращены, как уже говорилось, к священнику, однако улавливается тут и явный отзвук раздумий автора о себе самом, что прямо корреспондирует с письмами, относящимися к периоду вызревания замысла «Выбранных мест...» и их написания. Сквозной мотив этих писем — испытываемая автором внутренняя потребность нападать «на самые щекотливые ме-

---

[1] См.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. в 17-ти томах, т. X, с. 265.

[2] См.: Мочульский К. Духовный путь Гоголя, с. 119.

[3] Я оставляю в стороне примитивные карикатуры вроде отрывка из повести Б. Левина «Не отрекаюсь!» (см.: Вінок М. В. Гоголю, с. 36—48), ни научного, ни художественного значения такие сочинения не имеют.

[4] Грешищев Николай. Очерк жизни в Бозе почившего Ржевского протоиерея о. Матвея Александровича Константиновского.— Странник, 1860, декабрь, с. 280.

ста, какие только во мне есть» (XII, 267), острое ощущение необходимости «строго взглянуть на самого себя» (XII, 379), «вынести внутреннее, сильное воспитание душевное» (XII, 345), устремление «души к ее лучшему совершенству» (XII, 434), причем этот процесс рассматривается как непременная предпосылка успешной творческой работы. «...О самых трудах моих и сочинениях,— пишет Гоголь Данилевскому,— могу тебе сказать только то, что строение их соединено тесно с моим собственным строением» (XII, 290). Те же мысли находим и в «Четырех письмах к разным лицам по поводу «Мертвых душ», составляющих отдельную главу «Переписки», и опять-таки постижение добра и художественное его отображение ставятся в прямую зависимость от совершенствования собственной души, очищения ее от «дурных качеств», «желания быть лучше» (VIII, 293). «Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них (на добродетельных людей.— *Ю. Б.*) походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств — мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от неба, будет далеко от правды» (VIII, 297).

Здесь — разгадка многого.

То, что кое-кому казалось болезненной замкнутостью, обостренной гордыней, странностью, граничащей с юродством, на самом деле было всепоглощающей сосредоточенностью на «глубоком внутреннем созерцании» (VIII, 248), без чего «опасно выходить на поприще» писателя (VIII, 457). То, в чем видели религиозный фанатизм, мистический надлом, кризис, на самом деле было лишь попыткой уйти от «страшной душевной черноты» (VIII, 220) в «душевный монастырь» (XII, 359), чтобы вдали от мирской суеты искать пути чисто христианского разрешения насущных социальных, нравственных и творческих проблем в их неразрывном единстве, оплодотворить свой талант истиной и законом Христа.

Вот почему так сближены, так тесно переплетены в представлении Гоголя призвания писателя и священнослужителя — нет, не «миссионера католичества западного» с его эффектными жестами и «красноречием рыданий и слов»; Гоголю близок внутренне образ проповедника «католичества восточного», то есть православия, чей «смиренный вид», «потухнувшие очи», «тихий, потрясающий глас, исходящий из души» покоряют людей тем, что открывают перед ними «святую правду Церкви» (VIII, 246).

...Один вопрос не дает мне покоя.

Размышления Гоголя о Церкви и духовенстве мало у кого вызвали сочувствие и поддержку; разве что Шевырев походя похвалил их в одном из писем да еще барон Е. Розен доброжелательно отозвался в своей комически претенциозной статье,

впрочем, лишь для того, кажется, чтобы перечеркнуть книгу в целом[1]. Белинским же и его единомышленниками, в том числе (по крайней мере, в данном конкретном вопросе) даже из славянофильского лагеря они были встречены в штыки. Это, разумеется, ничуть не удивительно.

Удивительно другое: почему «Переписку» не приняли сама Церковь, само духовенство, которым в книге посвящено столько восторженных слов?

Ответ нахожу у Гоголя, в упоминавшемся выше письме к Плетневу от 9 мая 1847 года. Ограничусь тем, что приведу его объяснение целиком, позволив себе краткие комментарии по ходу цитирования. Итак: «Что касается до письма Брянчанинова (из текста явствует, что Плетнев переслал Гоголю отзыв архимандрита Игнатия (Д. Брянчанинова) на «Выбранные места...».— *Ю. Б*), то надобно отдать справедливость нашему духовенству за твердое познание догматов. Это познание слышно во всякой строке его письма (чего, как мы отмечали, не скажешь о книге Гоголя.— *Ю. Б.*). Все сказано справедливо и верно (с точки зрения богословских догматов.— *Ю. Б.*). Но, чтобы произнести полный суд моей книге, для этого нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страданье той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня не удивительно, что им (то есть не одному Брянчанинову, но и другим иерархам и иереям, чьи отзывы известны были Гоголю.— *Ю. Б.*) видится в книге смешение света со тьмой (знаменитый оптинский старец Макарий отмечал, что книга Гоголя «издает из себя и свет и тьму»[2].— *Ю. Б.*). Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома...» О том, что эти гоголевские суждения продиктованы отнюдь не обидой и раздражением, свидетельствует следующее его замечание: «Во всяком случае, письмо это подало мне доброе мнение о Брянчанинове. Я считал его, основываясь на слухах, просто дамским угодником и пустым попом» (XIII, 306).

Так что расхождения касаются сути, самого взгляда на мир, на жизнь в ее многомерности. Это подтверждается и словами того же иеромонаха Макария: «Религиозные его понятия... движутся по направлению сердечного, неясного, безотчетного, душевного, а не духовного»[3]. И в самом деле: «ду-

---

[1] См.: Письмо С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю.— Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1893 год, с. 44; Барон Розен. Ссылка на мертвых.— Сын Отечества, 1847, июнь, отд. III, с. 38, 40.

[2] Цит. по: Борисов Вадим. Оптина пустынь.—Наше наследие, 1988, IV, с. 63, столб. II.

[3] Там же.

шевный монастырь» — еще не монастырь; художник, даже если он склонен, по выражению Гоголя, к жизни «истинно монашеской» и уверяет себя и окружающих, что «нет выше удела на свете, как звание монаха» (XII, 34), — все же еще не монах. Монастырь его — Россия.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА «ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ»

Пасху 1837 года Гоголь встретил в Риме. Он затомился в Париже, хандрил, искал эмоциональной разрядки, душевного праздника. Еще с дороги писал матери, что хочет на Светлое Воскресенье «быть в церкви Святого Петра, где должен служить сам папа...» (XI, 87). Желание осуществилось, и в письмах той поры он с удовольствием вспоминает обедню «в беспредельном Петре» (XI, 96), римского папу «на великолепных носилках с балдахином» (XII, 89), многолюдный, красочный весенний Рим. Тут чувствуются увлеченность зрелищем, эйфория туриста. Долго ли длились они — трудно сказать, но спустя несколько лет воспоминание о таком же празднике пронизано уже совсем иным настроением. Я имею в виду начальные строки главы «Светлое Воскресенье».

Это настроение человека, встречающего близкий его сердцу праздник «в чужой земле». «Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах, — он чувствует грусть и обращается невольно к России». Там, дома, день этот кажется праздничнее и значительнее, и люди радостней и лучше, чем всегда, и уже слышатся человеку величественный полночный звон колоколов, который «всю землю сливает в один гул», приветствия «Христос воскрес!», видятся братские объятья и поцелуи... И уже «он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» (VIII, 409—410).

Такова интродукция. Но затем настроение сменяется трезвым раздумьем, мечта — реальностью, как только перенесешься — хотя бы мысленно — в Россию и припомнишь, что «день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов», корыстных расчетов, мелкого честолюбия, разговоров вовсе «не о воскресеньи Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит», и что «даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня...» (VIII, 410). Нет праздника... Что толку, если «для проформы только», рисуясь перед подчиненными, началь-

ник чмокнет в щеку инвалида, что «какой-нибудь отсталый патриот», в досаде на молодежь и ей в поученье, гневно заклеймит Европу и восславит святую Русь,— все равно «это только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет». Потому что «не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду...» (VIII, 410).

В чем же?

Прежде чем выслушать ответ писателя, отвлечемся на минуту и обратим внимание, что глава «Светлое Воскресенье» — последняя в книге, причем это не письмо, а специально написанная статья, то есть то самое «кое-что, относящееся до собственной души каждого из нас», без чего, как объяснял Гоголь Плетневу, «книга была бы без хвоста» (XIII, 1033). Если мы вспомним, какое значение придавал писатель составу «Переписки» («выбираю сам»), расположению материала, последовательности глав, то убедимся, что и в данном случае имеем дело с продуманным композиционным замыслом. Во взаимосвязи с «Предисловием» и «Завещанием» глава «Светлое Воскресенье» составляет «рамку» произведения (воспользуюсь термином из понятийного арсенала структуральной поэтики), его двуединую смысловую опору. Начальные разделы вводят читателя в проблематику книги, последняя глава завершает развитие мысли; в первом случае главное — мотивировка, во втором — цель, итог, общий знаменатель.

Так что же все-таки отвечает Гоголь на поставленный им самим вопрос? Суть великого праздника, говорит он, «в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, на лучшую свою драгоценность,— так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у Него самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека» (VIII, 411).

После этих слов может показаться странным, что цензура была недовольна гоголевской статьей и подвергла ее правке. Дело, однако, в том, что здесь мы пока еще остаемся в пределах вступительной части главы; приведенный пассаж логически связан не столько с реальностью, сколько с праздничными, к тому же ностальгически окрашенными, мечтаниями о ней. Под-

линная реальность предстает у Гоголя отнюдь не в виде праздника всеобщего братства.

С ужасом вглядывается писатель в лицо своего века — века высоких взлетов гордого ума и страшных нравственных падений. Никогда еще не было такого множества призывов, проектов и грез «о том, как преобразовать все человечество», как сделать, «чтобы всё было общее — и дома и земли»; никогда доселе не звучало столько слов о «подвигах сердоболия и помощи несчастным» и не было так «тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов» (VIII, 411). Но никогда не было у человека и такой черствости, равнодушия, презрения к живому, грешному, страждущему брату своему, высокомерного отвращения к «гною ран его», к «смрадному дыханью уст несчастного», к «тяжелым язвам» его недостатков, такой нетерпимости к несогласию «в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях». Никогда еще так нагло, «как всепогубляющая саранча», не входила в мир злоба, вытесняя ум и добро, не торжествовала «мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя всё, что есть главнейшего и лучшего в человеке» (VIII, 411—415). Даже те, которые смеются над этой фантасмагорической диктатурой моды,— и те сами «пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку», каждый «боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка», но зато никто не боится «преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа» (VIII, 415).

Да какой же он христианин, этот «человек нынешнего века»! Он только «думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин», на самом же деле... «Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!» (VIII, 412). Потому и нет, и не может быть истинного Светлого Праздника, что нынешний человек не в силах обнять в этот день другого человека. «Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет» (VIII, 411).

Уходят в прошлое «обычаи вечного века», исчезло «даже и то наружно-добродушное выраженье прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку», и уж едва трогает нашу душу воспоминание о младенчестве, «как бы виденном в каком-то отдаленном сне», прекрасном младенчестве, «которое утратил гордый нынешний человек» (VIII, 414—416). На место прежнего, старосветского Вия, уходящего корнями в землю, в почву, приходит Вий но-

вый, еще более жуткий — жуткий своей бесплодной пустотой, мертвенностью, Вий-фантом. «И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!» (VIII, 416).

Новую силу набирает в этом мире дьявол. «Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались — и мир это видит и не смеет ослушаться» (VIII, 415).

Так возникает в книге Гоголя тема бесовства, диктующего свою волю покорному, бессловесному миру; четверть века спустя тема эта получит гениальную художественную разработку у Достоевского. Ничем иным, как именно бесовством, «насмешкой духа тьмы», не может объяснить Гоголь главенство «так называемых бесчисленных приличий» над коренными установлениями жизни, «странных», «побочных» властей над властями законными, швей и портных — над Божиими помазанниками... «Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться?» (VIII, 415).

Что бесовство, в представлении Гоголя, есть симптом надвигающегося революционного землетрясения, и не просто симптом, но сам адский первотолчок, за которым следует взрыв слепой всеразрушающей стихии,— что это именно так, вряд ли приходится сомневаться. Для того, кто дочитал книгу Гоголя до заключительной ее главы и помнит трагическое умонастроение автора, его отношение к европейским «сумятицам» и «смутам», к «страхам и ужасам» переломной эпохи, эти мысли писателя не будут неожиданностью. Мы уже довольно подробно о них говорили [1], и я не вижу надобности повторяться.

Не удивит внимательного читателя и переход Гоголя от проблем века, от общеевропейских процессов — к России. В письме «Страхи и ужасы России» высказывалась надежда, что «в России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спа-

---

[1] См. главу «Страхи, ужасы и надежды России».

сенью» (VIII, 344). Завершая книгу, Гоголь возвращается к тому же мотиву, но теперь это уже не только надежда, но и уверенность. «...Где будят, там разбудят» (VIII, 416). Разбудят «гулы всезвонных колоколов» в праздник Светлого Воскресенья. Глухо звучат нынче колокола, потускнел праздник на русской земле, померк, как и всюду, «в пустых и выветрившихся толпах», но это помрачение временное. «Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. ...Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом». Все забытое вспомнится, все померкнувшее вспыхнет — «и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов!» (VIII, 417).

Поразительно смешение у Гоголя здравомыслия, трезвости самокритичного взгляда с социальным инфантилизмом, с мессианистскими иллюзиями. Блок тонко заметил, что его «заветы так же антиномичны, как русская жизнь...»[1]. Ведь Гоголь отлично видит и понимает, что «никого мы не лучше», ничуть не ближе «жизнью ко Христу», чем другие народы, что «хуже мы всех прочих» и жизнь наша «еще неустроенней и беспорядочней всех их». И вместе с тем ему хочется верить, что «еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединенью людей и братской любви между ними...» (VIII, 417); вместе с тем кажется, что «есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа» (VIII, 379), что «начала братства Христова» уже заложены «в самой нашей славянской природе», для которой «побратанье людей» издавна было важнее «даже и кровного братства». Вот глубокое замечание: «Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное...» (VIII, 417). И тут же благородная, но, увы, наивная вера в то, что будут позабыты «всякие ссоры, ненависти, вражды», «брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек» (VIII, 417). У Гоголя есть основание для веры — так было «в двенадцатом году»; мог ли он знать, что в следующем веке история даст его предсказанию лишь одно подтверждение — годы другой отечественной войны, но зато выстроит и целую цепь кровавых опровержений, каиновы десятилетия, разгул бесовства...

К счастью, этого Гоголь не увидел, и последнюю главу своей книги он заканчивает словами надежды: «У нас прежде,

[1] Блок А. Размышления о скудости нашего репертуара.—Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М.— Л., 1962, с. 290.

чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!» (VIII, 418).

Как мы убедились, глава эта представляет собою не что иное, как чистейшей воды публицистику, менее всего похожую на богословский трактат о празднике Пасхи. Но публицистику, замешанную, так сказать, на религиозных дрожжах, на проблематике, связанной с образом и учением Христа.

В содержательной, побуждающей к размышлениям (и спору!) статье С. Семеновой «Всю ночь читал я Твой завет...»[1] приводятся суждения религиозного мыслителя А. Горского о значимости образа Христа для русской литературы. Цитируется, в частности, такое высказывание: «Всякий художник вынуждается ныне силою вещей стать Евангелистом». Мысль в общем понятна, однако выражена она, позволю себе заметить, неточно. Евангелистов, то есть авторов канонических новозаветных книг, как известно, четверо, и сомнительно, чтобы кому-либо из позднейших жизнеописателей Христа удалось пополнить Четвероевангелие своим сочинением... Думается, А. Горский ближе к истине там, где речь идет о необходимости «для каждого художника сказать какое-то свое слово о Христе».

Тема Христа главенствует и в «Выбранных местах...», это ее нерв. Но, разумеется, здесь и намека нет на жизнеописание, на некое новое, «свое» «благовествование», нет ни малейшей попытки художественного воссоздания жизни и образа Иисуса. Гоголевская «Переписка» целиком лежит в русле той отечественной духовной традиции, характеризуя которую исследователь верно отмечает, что «Христос никогда не был литературным героем... Он был Христос»[2]. Показательно, кстати, что и в описании картины Иванова «Явление Христа народу» Гоголь останавливается (глава «Исторический живописец Иванов») на изображении ландшафта, обстановки, персонажей, но только не на образе самого Христа, ибо главную задачу художника понимает широко — «представить в лицах весь ход человеческого обращенья ко Христу» (VIII, 331).

«Свое слово» — для Гоголя это значит глубоко личное, ставшее итогом всей жизни *постижение* Христа; среди самых последних строк, написанных его рукою, находим такие: «Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом...»[3] Учение

---

[1] Новый мир, 1989, № 11.

[2] Золотусский Игорь. Гоголь и Блок.—Новый мир, 1989, № 4. с. 246.

[3] Письма Н. В. Гоголя, т. IV, с. 424. В. Розанов сказал об этом в присущем ему стиле. «Гоголь взглянул *внимательно* на Христа и бросил перо, умер». Он исходит из того, что Гоголь «вовсе не совместим с... «Сладчайшим Иисусом», что «весь смех Гоголя был преступен в нем как в

Христа, прежде всего Нагорная проповедь с ее доминантой — идеей сострадания и любви к ближнему (хотя, кажется, ни одной прямой ссылки на это место Нового завета в книге нет) Гоголь воспринимает как высшее мерило нравственности, подлинное этическое откровение, личность Сына Человеческого — как непревзойденное, абсолютно совершенное воплощение такой любви; собственно, Он, Христос, и есть любовь. Себя Гоголь считает, конечно же, не Евангелистом, а лишь одним из смиренных учеников «того... Учителя; у Которого мы все учимся» (VIII, 465).

Такой взгляд изначально чужд тенденции «предельного очеловечивания» Христа, тенденции, которую С. Семенова в упоминавшейся статье справедливо связывает с именами Э. Ренана и Д. Штрауса, с опытами ряда современных авторов и к которой относится, если я правильно понял, довольно скептически. Жаль только, что границы этого скептицизма, по-моему, чрезмерно раздвинуты, в его гравитационное поле попадают явления, ничего общего не имеющие ни с плоским морализаторством, ни с поверхностной, зачастую спекулятивной беллетризацией. Считая недостаточным и односторонним толкование христианской «благой вести» (так переводится с греческого слово «евангелие») с позиций этического императива, нравственного самосовершенствования личности, любви к ближнему, автор статьи предпочитает, или, вернее сказать, противопоставляет ему, так называемое активное христианство Н. Федорова, ставящее во главу угла «общее дело», под которым понимается управление стихийными силами природы вплоть до физического преодоления смерти — воскрешения умерших и собственного воскресения. Предлагаемое противопоставление, хочет того критик или (что скорее всего) нет, не только ставит под сомнение то могучее благотворное воздействие, которое на протяжении веков оказывал на духовную жизнь человечества, на все мировое искусство, на литературу именно нравственный потенциал Христова учения, но по существу входит в противоречие с направленностью духовно-нравственных поисков отечественной религиозно-философской мысли, русской литературы от Пушкина и Гоголя до Булгакова и Пастернака[1].

христианине», ибо «Христос никогда не *смеялся*» (Розанов В. О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира.— Русская мысль, 1908, № 1, с. 41, 35, 34). Не останавливаюсь на этих суждениях Розанова, как и вообще на его отношении к Гоголю (и, кстати, к Христу); читатель, если пожелает, найдет подробный их разбор в статье Н. Бердяева «Христос и мир. Ответ В. В. Розанову», опубликованной в том же номере «Русской мысли», а также в книге В. Носова «Ключ» к Гоголю» (с. 113—121).

[1] Признаться, меня не убедила попытка С. Семеновой обнаружить следы чуть ли не прямого воздействия воззрений Н. Федорова в романе «Доктор Живаго». Да, «воскресительный» мотив тонко вплетен в ткань повест-

Гоголь не упоминается в статье С. Семеновой. Но это имя неизбежно возникает в разговоре о Христе рядом с именем Н. Федорова — по принципу как сближения, так и несходства.

Я уже имел случай заметить, что выражение «общее дело» встречается в лексиконе обоих авторов. Это дает основание говорить о сходных чертах их мышления и мировосприятия, литургических по своей природе (ведь слово «литургия» в переводе с греческого и означает «общее дело»). Однако нельзя не видеть и весьма существенных различий.

По Федорову, понятие «общее дело» подразумевает участие людей в том, что он называет «внехрамовой литургией», их единение «в метеорическом и космическом процессе... воскрешения родителей и родственников»[1]. Гоголь в «Светлом Воскресенье» также утверждает «дело» в противовес пустым «мечтам и мыслям», «бледным христианским стремленьям века», но при этом он имеет в виду прежде всего «дело» любви, причем не всеобщей, не всемирной, не всечеловеческой, а глубоко индивидуальной любви к ближнему как к брату[2]. Федоров зовет к буквальному воскрешению умерших, к преодолению «рабства тления», его космизм, как это ни странно, приземлен, он напоминает чем-то «мистический натурализм», который Н. Бердяев находил у В. Розанова. Гоголевский космизм иной, он действительно мистичен, ибо неотделим от таинства Евхаристии; и воскресение человека Гоголь понимает как духовное воскресение человека *живого,* его нравственное самосовершенствование, обретение им способности взглянуть на самого себя и в себе разглядеть то, что пугает и отталкивает

вования; да, Николай Николаевич Веденяпин тезка Н. Федорова, и в его суждениях улавливаются отголоски теорий автора «Философии общего дела». Но зерно, суть христианско-нравственного пафоса романа я вижу все же не в этом. Как мне кажется, для Пастернака величайший перелом, произведенный в истории христианством, заключается в том, что на смену «власти количества», власти массы, силы пришла проповедь свободы, осознание самоценности личности. Ключевой с этой точки зрения я считаю беседу Симушки Тунцевой с Ларой. «Отдельная человеческая жизнь,— объясняет Симушка, — стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной». Эта же мысль пронизывает и духовную лирику Юрия Живаго.

[1] Федоров Н. Ф. Философия общего дела. Статьи, мысли и письма, т. I. М., 1913, с. 274.

[2] Думается, именно это свое предпочтение индивидуалистическому, личностному началу в христианстве как религии «каждого», а не «всех», человека, а не абстрактной идеи, религии гуманизма, а не власти, имел в виду Гоголь, когда в письме к Шевыреву признавался, что «пришел ко Христу скорее *протестантским,* чем *католическим* путем». «Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиною того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде всего мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству Его» (XIII, 214).

его в других, ибо *жизне*строение начинается с *само*строения. Для Федорова Христос главным образом Воскреситель, воскрешение Лазаря в Вифании — это, по Федорову, есть завершение дела Христова», апогей всей его деятельности. Для Гоголя Христос — Учитель и Спаситель, вершина Христовой мудрости — закон, провозглашенный в Нагорной проповеди, а высший пример — страдания и гибель на кресте за грехи людей, ради их спасения. Воскресение же, которому как раз и посвящена последняя глава гоголевской книги, несет человечеству благую весть не о продлении до бесконечности земного существования — это было бы слишком просто и плоско, слишком мало, а о спасительном возрождении души.

Такое возрождение немыслимо без Христа; помимо Христа. «Только любовь, рожденная землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, стоящему перед вами человеку, та любовь только не зрит Христа,— пишет Гоголь С. Аксакову в августе 1842 года.— Зато она временна, подвержена страшным несчастьям и утратам. И да молится вечно человек, чтобы спасли его небесные силы от сей ложной, превратной любви! Но любовь душ — это вечная любовь. Тут нет утраты, нет разлуки, нет несчастий, нет смерти» (XII, 95).

Письмо написано задолго до «Выбранных мест...», еще и не возникал замысел книги. Но звучит оно провидчески — как ответ не только С. Аксакову, недоумевающему по поводу задуманного писателем путешествия в Иерусалим (оно состоится позднее, лишь в 1848 году), но и будущим критикам «Переписки». «Рассмотрите меня и мою жизнь среди вас. Что вы нашли во мне похожего на ханжу или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою дышит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею? ...Разве открыли во мне что-нибудь похожее на фанатизм и жаркое, вдруг рождающееся, увлечение чем-нибудь?» (XII, 94). Верно есть, говорит Гоголь, в этой мысли об «отдаленном путешествии» какая-то цель, ради которой соединились в одно «и ум, и душа, и сердце». «Но если б даже и не могло заключиться в ней никакой обширной цели, никакого подвига во имя любви к братьям, никакого дела во имя Христа, то разве вся жизнь моя не стоит благодарности, разве небесные минуты тех радостей, которые я слышу, не вызывают благодарности, разве прекрасная жизнь тех прекрасных душ, с которыми встретилась душа моя, не вызывает благодарности? Разве любовь, обнявшая мою душу и возрастающая в ней более и более с каждым днем, не стоит благодарности?.. Разве эта любовь не есть уже сам Христос?» (XII, 95).

Не знаю, много ли в русской литературе страниц подобной искренности и силы, посвященных Христу...

«Гоголь верил,— писал Мережковский в 1934 году,— что жизнь будет в Христе и Христос будет в жизни. К этому он и звал Россию, но никто его не слушал, может быть, потому, что тогда еще не исполнились времена и сроки. Неужели и теперь не исполнились?..» [1]

Неужели же и теперь?..

ЕЩЕ ОДНА «ПРОЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ»?

Предвижу раздраженное восклицание: вот тебе и раз! Толковали, толковали о «Выбранных местах...», вроде бы пришли к выводу, что именно эта книга и есть «Прощальная повесть», и вдруг — «еще одна»...

Позвольте напомнить, что был не столько вывод, сколько предположение, правда, на мой взгляд, не лишенное оснований. Как ни велик соблазн сохранить свою гипотезу в целомудренной нетронутости, все-таки отмахиваться от фактов, с нею не совпадающих, негоже. А факты в данном случае таковы.

«Выбранные места...» — хронологически не последнее из написанного Гоголем, были после них «Авторская исповедь» и второй том «Мертвых душ». Было и еще одно сочинение, действительно последнее. Вот из-за него-то и отвлечемся чуть-чуть от основной нашей темы.

Наблюдавший Гоголя доктор А. Тарасенков вспоминает, что незадолго до смерти писатель «окончательно отделал и тщательно переписал свое *заветное* (подчеркнуто мною.— *Ю. Б.*) сочинение, которое было обработываемо им в продолжении почти 20-ти лет», многократно переделывалось, и наконец автор «остался им доволен, собирался печатать», причем «хотел сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради поучения и пользы всех сословий. Это сочинение названо *Литургиею*» [2].

Названо оно так, заметим, самим мемуаристом, чисто условно. Рукопись, оставшаяся в бумагах Гоголя, заглавия не имела. В первой описи, составленной А. Толстым, она фигурирует (под № 1) как «Объяснение на литургию», в сопровождающем опись письме Толстого к его сестре С. Апраксиной — «Объяснение Литургии». Так же поначалу именует гоголевскую рукопись и Шевырев, однако затем в его письме к Марии Ива-

---

[1] Мережковский Д. Гоголь и Россия. — Возрождение, 1934, 10 июня.

[2] Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя, с. 6.

новне Гоголь появляется название «Размышления о литургии». В 1857 году сочинение издано П. Кулишом как «Размышления о божественной литургии»[1].

Я чуть было не сказал, следуя привычной формуле, что под таким названием оно, мол, и известно нашему читателю, да вовремя спохватился. Советскому читателю, помимо узкого круга специалистов и ценителей-библиофилов, это произведение Гоголя не известно вообще. Не раз издаваемые до октября 1917 года как в составе собраний сочинений, так и отдельно, «Размышления о божественной литургии» в последние десятилетия не включались даже в «полный» академический четырнадцатитомник, хотя в редакционном предисловии к изданию обещание было дано. Что поделаешь, обстоятельства времени, как видно, оказались сильнее благих намерений... Удивительнее, пожалуй, то, что уже в другую эпоху, в 1989 году, «Размышления о божественной литургии» не упоминаются в пространной статье о Гоголе, вошедшей в такое солидное, так сказать, «неформальное» издание, как биографический словарь «Русские писатели». Поистине «неизвестный Гоголь» — если воспользоваться выражением Д. Чижевского, относящимся, правда, к другому случаю.

Из чего же могла бы возникнуть мысль о связи между «Размышлениями» и «Прощальной повестью»?

Возвращаюсь к сообщению А. Тарасенкова. Не случайно я выделил в нем слово «заветное». Эта характеристика последнего сочинения Гоголя важна и многозначна. Прежде всего она ассоциируется с такими понятиями, как завет, завещание, что сразу же напоминает о гоголевском «Завещании», где писатель оставляет в наследство соотечественникам свою «Прощальную повесть». К этой последней подводит нашу мысль и другое значение слова «заветный»— любимый, близкий сердцу, исполненный особого, дорогого смысла. А ведь «Прощальную повесть» Гоголь называет «лучшим из всего», что произвело на свет его перо, «лучшим своим сокровищем».

Есть и такой оттенок: заветный — это всегда скрываемый, тщательно хранимый, тайный. Над «Размышлениями» Гоголь работал довольно долго, если и не «почти 20 лет», как казалось А. Тарасенкову, то уж несколько лет по крайней мере, правда, с перерывами и параллельно с другими сочинениями — вторым томом «Мертвых душ», «Развязкой «Ревизора», «Выбранными местами из переписки с друзьями». Скорее всего начало работы над «Размышлениями» следует отнести к пер-

---

[1] См. об этом: Паламарчук П. Г. Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя.— В кн.: Гоголь: история и современность, с. 488—490.

вым месяцам 1845 года, не ранее. Живя в ту пору в Париже, у А. Толстого, с которым сблизился именно на почве религиозного умонастроения, и испытывая — далеко не впервые — приступ нервического беспокойства, хандры, смутной тревоги, Гоголь ищет душевного утешения в православном богослужении, открывая в нем для себя глубины мудрости и красоты. Он не пропускает ни одной обедни в местной русской церкви, часто и подолгу беседует со священником Дмитрием Вершинским, человеком, судя по всему, умным и образованным. Вероятно, именно тогда и вызревает замысел «Размышлений о божественной литургии»[1]. Первое конкретное свидетельство интереса писателя к этой теме находим в письме к Смирновой от 4 июня, где в числе книг, которые Гоголь просит купить для него, называется «Изъяснение Литургии, недавно вышедшее, священника Нортова» (XII, 491). Кстати, как раз к этому времени относится первое сожжение рукописи второго тома «Мертвых душ» — «затем... что так было нужно» (VIII, 297), строго объяснит впоследствии Гоголь. Нужно ради поиска новых «путей и дорог» к «высокому и прекрасному», и как веха на этом пути необходимы для него «Размышления о божественной литургии».

И вот что примечательно на протяжении нескольких лет, до самой кончины, — нигде ни единого упоминания о своей работе над литургическим сочинением. Нет и свидетельств того, чтобы писатель прочел кому-нибудь хотя бы отрывок из рукописи, а ведь он любил и умел это делать. А. Тарасенков говорит о некоем знакомом, большом знатоке такого рода литературы, которому Гоголь читал свое сочинение. Очевидно, имеется в виду А. Толстой, подтверждающий это в письме к С. Апраксиной: «Объяснение Литургии... насколько я знаю, он (Гоголь.—*Ю. Б.*) никогда никому не читал, кроме меня»[2]. Первое публичное чтение «Размышлений» состоялось уже после смерти автора.

Наконец, еще одна деталь — замечание А. Тарасенкова о том, что сочинение, которое он называет «Литургией», создавалось «ради поучения и пользы всех сословий». Оно опять-таки корреспондирует со словами Гоголя о «Прощальной повести»: он оставляет ее «в поучение людям», «в виде братского поученья» (VIII, 221).

Все это — аргументы в пользу альтернативной гипотезы о загадочной гоголевской повести.

Есть, однако, и контраргументы. Не буду останавливаться

---

[1] См. об этом: Тихонравов Николай. Примечания редактора и варианты.— В кн.: Сочинения Н. В. Гоголя. Изд. 10-е, т. IV, с. 588—589.

[2] Цит. по: Гоголь: история и современность, с. 489.

на термине «повесть». Жанровые определения у Гоголя, как известно, вообще своеобразны и далеко не всегда отвечают нормативной поэтике («Мертвые души» — «поэма»!). Ведь и «Выбранные места...», собственно, также мало напоминают повесть в привычном значении этого слова, что же до «Размышлений», то они похожи на повесть еще меньше, куда уместнее тут такие определения, как «объяснение», «изъяснение», принятые в богословской литературе, или, наконец, то же «размышление»; кстати было бы и слово «истолкование».

Я хотел бы коснуться другого контраргумента, как мне представляется, наиболее существенного.

Гоголевское «Завещание», где в пункте IV говорится о «Прощальной повести», написано предположительно в начале июля 1845 года, то есть примерно в то же время, к которому относится и письмо к Смирновой от 4 июня. Видимо, к работе над будущими «Размышлениями» Гоголь еще только намеревался приступить, в лучшем случае, начал ее. Правда, подобная, даже, пожалуй, менее определенная, ситуация была и с «Выбранными местами...» — они на то время вообще существовали лишь в замысле. Но дело в том, что, как я уже отмечал в свое время, «в наследство» можно было в данном случае оставить и замысел, ибо основной корпус задуманной книги — письма к друзьям — был уже реальностью, ее, на худой конец, могли бы издать и сами друзья, о чем, кстати, их и просит Гоголь. А кто написал бы за него «Размышления»? Даже на себя самого Гоголь не мог надеяться — вспомним, что «Завещание» писалось им в ожидании близкой кончины, с ощущением, что «смерть уже была близко» (VIII, 215). «Размышлений» не просто еще не существовало, сама возможность их создания была для Гоголя в тот момент более чем сомнительна...

Так обстоит дело с «еще одной» гипотезой о «Прощальной повести». Проигнорировать ее вовсе, не проанализировать «за» и «против» я не считал возможным, однако и принять, отказавшись от ранее выдвинутого предположения касательно «Выбранных мест...», не вижу причин.

Тем не менее сближение и сопоставление этих двух сочинений само по себе не случайно. «Размышления о божественной литургии» не входят в «Выбранные места...», они и завершены были, как мы знаем, значительно позднее. Однако между обеими книгами существует несомненная внутренняя связь, вторая явственно примыкает к первой, как бы продолжает ее (недаром во всех старых изданиях они публиковались рядом).

К тому же дополнительный интерес заключается еще и в том, что «Размышления» на первый взгляд опровергают скептическое мнение о Гоголе как богослове, высказанное когда-то епископом Григорием и поддержанное автором этих строк...

Под таким углом зрения мы и взглянем здесь на это гоголевское сочинение, не забывая, разумеется, что углубленный богословский его анализ — дело специалиста.

Но прежде, с учетом того, что работа практически совсем не известна читателю, полезно дать некоторое общее представление о ней, пусть даже конспективное. Тем более что поклонник «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и петербургских повестей, «Ревизора» и «Мертвых душ» встретится в этом сочинении с совсем не знакомым ему Гоголем.

«Размышления» посвящены главнейшему из христианских богослужений — литургии, связанной с таинством Евхаристии и установленной еще самим Иисусом на Тайной вечере (*Матф.*, 26.26—29), в прощальной беседе его с учениками (*Иоанн*, 13—17). Сочинение повторяет каноническую структуру самого богослужения. Какие бы изменения ни проникали в тексты литургии со времен апостольских до новейших (включая, к примеру, молитвы, возносимые за здравие властей предержащих [1]); сколь бы ни различались между собой отдельные элементы литургии в церквах православной, католической, протестантских; как ни многочисленны существующие варианты и редакции (русским православием приняты литургия Василия Великого и ее модифицированная, сокращенная редакция, принадлежащая Иоанну Златоусту),— при всем том не только главные идеи, но и исходные структурные принципы чинопоследования, его, как сказали бы мы сегодня, алгоритм в общем сохраняются. Гоголь придает особое значение этой внутренней цельности, свою задачу, как подчеркивается в кратком «Предисловии», он видит в том, чтобы помочь утвердить «в голове читателя порядок всего» и при этом «показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша литургия» [2], то есть, если опять-таки воспользоваться современной терминологией, раскрыть системный характер литургического богослужения.

Помимо «Предисловия», книге предпослано еще и «Вступление», а завершается она «Заключением». Основной же текстовой корпус состоит из трех разделов, соответствующих трем частям литургического канона и — если посмотреть глубже — сакральной идее троичности, изначально, с правремен присущей религиозному сознанию, а позднее составившей основу первого христианского догмата — учения о Троице, о трех ипостасях единосущного Бога.

---

[1] См.: Жураковский А. Е. Литургический канон теперь и прежде.—Христианская мысль, 1917, № 9—10, 11—12.

[2] Гоголь Н. В. Сочинения. Изд. 10-е, т. IV, с. 411. Далее «Размышления о божественной литургии» цитируются по этому изданию с указанием в скобках соответствующей страницы.

Уже в этой композиции гоголевских «Размышлений» проявляется то мистико-аллегорическое начало, которое определяет суть и особенности всего сочинения, пронизывает его насквозь.

Первый раздел, «Проскомидия» (с греческого — приношение), соответствует вступительной части литургии, во время которой идет приготовление всего необходимого для причащения, прежде всего хлеба (просфоры) и вина, а также воды. Это, однако, внешняя, практическая сторона дела. Процесс (тут, как и в двух других разделах, он прослеживается писателем подробно, во всех деталях) сопровождается молитвами и магическими ритуальными действиями, связывающими его с рождением и начальным периодом земной жизни Иисуса Христа. Гоголь пишет: «Так как вся проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой литургии, то и соединила с нею Церковь воспоминания о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовленьем к его подвигам в мире» (418). Поэтому по ходу богослужения не только слово, восклицанье, жест, проход священника и дьякона, но и каждый предмет церковной утвари, каждая деталь обстановки — все решительно обретает аллегорический смысл: просфора — это Дева Мария, изымаемый из просфоры «агнец» — Младенец Иисус, жертвенник, или предложение, — вертеп Вифлеемский, дискос (небольшое блюдо, на котором разрезается просфора) — ясли и т. д. «И весь переносится мыслию иерей во время, когда совершилось рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на... боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось в то время небо на землю...» (421). Одновременно в проскомидию вплетаются мотивы предчувствия будущих страданий и насильственной смерти Христа, и потому, скажем, нож для разрезания просфоры символизирует копье римского солдата, которым прободено было тело висящего на кресте Сына Божьего.

Следующий раздел — «Литургия оглашенных». Суть ее разъясняет сам автор: «Как первая часть, проскомидия, соответствовала первоначальной жизни Христа, Его рожденью, открытому только ангелам да немногим людям (это «тайнодействие», оно и совершается в алтаре, незримо для молящихся.— *Ю. Б.*), Его младенчеству и пребыванью в сокровенной неизвестности до времени появленья в мир,— так вторая соответствует Его жизни в мире посреди людей, которых огласил Он словом истины» (424—425). Есть у понятия «литургия оглашенных» и второй смысл: во времена раннего христианства к этой литургии допускались и вчерашние язычники, еще не принявшие крещения, лишь готовившие себя к нему, уже прикоснувшиеся к провозглашенной Христом истине, — они и на-

зывались оглашенными. В конце этой части литургии троекратным восклицанием дьякона «Оглашенные, изыдите!» они удалялись из храма, где могли теперь оставаться только истинные христиане — верные. Кульминация второй части — вынос из алтаря Евангелия, на которое «собранье молящихся взирает... как бы на самого Спасителя, исходящего в первый раз на дело божественной проповеди...» (428—429).

Раздел третий, «Литургия верных», посвящен непосредственно таинству Евхаристии, в которой совершается пресуществление хлеба и вина в «Христовы тело и кровь»[1]. Это, по словам Гоголя, «верховнейшая минута всей литургии», «великая минута», «страшная минута» (448—449), когда человек приобращется к божественному смыслу великого жертвоприношения, деяний и страданий Христа. Таинство таинств, Евхаристия соединяет нас со всем миром, с прошлым и будущим, с Космосом и Вечностью, с самим Богом, «чрез чувственное вкушение небесной пищи (св. даров) влагает в нас таинственный залог и надежду наследовать жизнь небесную».

Последняя фраза принадлежит не Гоголю, она взята из сочинения Вениамина (Румовского-Краснопевкова) «Новая скрижаль»[2]. Такая «стыковка» текстов, принадлежащих разным авторам, не должна смущать. Дело в том, что Гоголь, без сомнения, широко пользовался в работе над «Размышлениями» книгой Вениамина, как, впрочем, и трудами других авторитетов в области литургики. Он и не скрывает этого, прямо предупреждает в «Предисловии»: «Из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотой и доступностью...» (411). В подстрочном примечании писатель ссылается на сочинения константинопольских патриархов Германа и Иеремии, выдающихся богословов средневековья Симеона Солунского и Николая Кавасилы, на упомянутую «Новую скрижаль» Вениамина и выдержавшую не одно издание книгу духовного писателя И. Дмитриевского (Гоголь ошибочно называет его здесь Дмитриевым)[3]. Известны были Гоголю и литургические сочинения Прокла Константинопольского, ученика Иоанна Златоуста, он упоминается в записной книжке за 1846 год.

---

[1] Лютеране допускают лишь их символическое *соприсутствие*, но не мистическое *пресуществление*. Впрочем, тонкостей в толковании Евхаристии разными христианскими церквами и направлениями касаться здесь не будем.

[2] Новая скрижаль, или Объяснение о Церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных. Вениамина, архиепископа Нижегородского и Арзамасского. В 4-х частях. СПб., 1858, ч. II, с. 67.

[3] См.: Дмитриевский Иван. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию... Изд. 3-е. М., 1823.

К этому добавим, что в бытность Гоголя в Париже в 1845 году ему оказал неоценимую помощь в освоении по греческим источникам чина литургии и вообще истории вопроса русский эллинист Федор Николаевич Беляев, к сожалению, ныне забытый. В бумагах, оставшихся после смерти Гоголя, были обнаружены, как указано в толстовской описи, греческий и латинский тексты литургии из ранних, апостольских чиноположений.

Таким образом, по признанию Гоголя, его «Размышления» представляют собою своего рода «выбранные места» из литургических исследований отцов и учителей Церкви и не претендуют на самостоятельное богословское значение.

Как отнестись к этой смиренной самооценке? Наверное, с нею можно согласиться в той части, которая касается использования Гоголем сложившихся богословских формул, «изъяснений», ссылок на священные тексты, детального описания чисто канонических элементов литургии, хотя и в таких описаниях, надо сказать, чувствуется рука художника (достаточно вспомнить хотя бы, как зримо, картинно представлена в «Проскомидии» церемония облачения священника и дьякона, или как в «Литургии верных» приобщенный к христианской истине человек сравнивается с железом, которое в огне раскаляется и вмиг потухает, становится вновь просто куском темного железа, будучи вынуто из огня).

Но главное в книге — писательские комментарии к канону, те его публицистические отступления религиозно-философского характера, для которых литургическая тема служит исходным материалом, нет, точнее — импульсом. Поясню свою мысль на примере размышлений Гоголя по поводу оглашенных и верных. Вопрос о том, могут ли вообще быть оглашенные в современной Церкви, как это было в языческие и раннехристианские времена, — такой вопрос сам по себе не нов для литургики. Вениамин приводит и комментирует в своей книге высказывания на сей счет Симеона Солунского, однако там суть дела сводится главным образом к классификации типов, входящих ныне в категорию оглашенных (некрещеные младенцы, иноверцы, те, кто отлучен от причастия за тяжкие грехи, и т. п.).

Взгляд Гоголя на проблему — неожиданный, даже парадоксальный: он размышляет, собственно, не столько об оглашенных, сколько — в связи с ними — о верных или считающихся таковыми. «...Всякий присутствующий, помышляя, как далеко он отстоит и верой, и делами от верных, удостоившихся соприсутствовать трапезе любви в первые веки христиан, видя, как он, можно сказать, только огласился Христом, но не внес Его в самую жизнь, только что слышит разум слов Его, но не при-

водит их в исполнение, и еще холодно его верованье, и нет огня всепрощающей любви к брату, поядающей душевную черствость, и что, крещенный водой во имя Христа, он не достигнул того возрожденья в духе, без которого ничтожно его христианство... всякий из присутствующих сокрушенно подставляет себя в число оглашенных...» Потому молитва священника и призывы дьякона, составляющие так называемую ектению об оглашенных, обращены в сущности не только к этим последним, но и к тем верным, которые осознают в глубине души, «как мало они сто́ят названия верных», к тем, чье «смиренье души поставило себя в ряды оглашенных», и они, «молясь об оглашенных, молятся о самих себе» (434—435).

Как видим, у Гоголя на первом плане не канонический, не ритуальный аспект, а аспект морально-психологический, тема душевного богатства и чистоты человека, истинности его веры в Бога, способности подтвердить эту веру делами, внести заповеди Христа «в самую жизнь». Можно привести другие примеры подобного рода. Из числа наиболее характерных — авторские комментарии к «блаженствам», моральным максимам Христовой Нагорной проповеди, а также подробное толкование молитвы «Отче наш».

Но особо значимы обрамляющие основной текст сочинения «Вступление» и «Заключение», лейтмотив которых — непреходящая мудрость провозглашенной Христом и утверждаемой литургией идеи любви к ближнему, ее спасительный миротворческий смысл. «И если общество еще не совершенно распалось,— говорит Гоголь,— если люди еще не дышут полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть божественная литургия, напоминающая человеку о святой небесной любви к брату» (463).

Вот ради чего, я думаю, создавались «Размышления» —не просто ради того, чтобы дать еще одно «изъяснение» этого богослужения (достаточно их было и до Гоголя и помимо него), а прежде всего из неудержимой внутренней потребности высказаться о сегодняшнем, наболевшем, терзающем ум и душу, найти и, если получится, людям указать единственно надежную нравственную опору в этом «распадающемся», обезумевшем, насыщенном взаимным непониманием и ненавистью мире.

...«Литургия верных», и тем самым все литургическое священнодействие[1], заканчивается хвалебными песнопениями, восклицаниями священника и дьякона: «Ныне отпущаеши раба

---

[1] Именно так — *священнодействие,* или *тайнодействие,* но, конечно же, не *«действо»,* рассматриваемое в одном ряду с такими понятиями, как театральное зрелище, хор, оркестр и т. п. (см.: Манн Ю. «Ужас сковал всех...». — Вопросы литературы, 1989, № 8, с. 231—232).

Твоего...» Наша память обращается к евангельской притче о Симеоне из Иерусалима, которому было предсказано, что он не умрет, доколе не увидит Христа. И когда он увидел Младенца Иисуса, то благословил его и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром...» (*Лука*, 2, 29).

Не так ли и Гоголь — светло и облегченно — прощается с миром своими «Размышлениями о божественной литургии»? И в хронологическом отношении, и в метафорическом, если угодно — и мистическом смысле это его последнее слово (но не «Прощальная повесть»!), его, по замечанию К. Мочульского, «Ныне отпущаеши...».

* * *

Чем же нам закончить?

Закончу тем, что повторю свою оговорку: не мне судить о чисто богословской ценности и значимости гоголевских «Размышлений». Для меня они — факт литературы, а не теологии, образец того Слова, которое рождается из «Гнева и Любви», из великой боли и великой веры и которое, в этом Гоголь убежден, «есть высший подарок Бога человеку».

Последняя фраза взята из письма «О том, что такое слово» и возвращает нас к главному предмету разговора, к «Выбранным местам...», только теперь уже на новую тематическую колею...



...И СЛОВО БЫЛО БОГ

Речь пойдет о мыслях автора «Переписки», касающихся «искусства и, в особенности, поэзии».

Напомню: определение, взятое мною в кавычки, принадлежит архимандриту Феодору (А. Бухареву), автору книги «Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году». Им впервые был выдвинут и обоснован взгляд на «Выбранные места из переписки с друзьями» как на многосложную целостную систему — философскую, этико-религиозную, эстетическую и в качестве одного из трех основных ее компонентов (или уровней, или подсистем) назван «отдел», посвященный суждениям Гоголя об искусстве и литературе. Обо всем этом уже говорилось в главе «Выбираю сам из моих последних писем...». Там же отмечалось, что автономность этого «отдела», как и двух других, обозначенных А. Бухаревым, относительна, что между всеми тремя подсистемами и внутри каждой из них существуют внутренние связи, основанные на глубинной логике и лишь скрытые под кажущейся хаотичностью, разбросанностью. Именно с учетом этой особенности наиболее продуктивным для проникновения в содержание гоголевской книги признавался, если читатель не забыл, принцип чтения не строго последовательный, а доминантный, предполагающий «зигзагообразное» продвижение по тексту, что соответствует свободному, часто по-видимости прихотливому течению авторской мысли, ее неожиданным поворотам, «перескакиваниям», возвратным ходам.

То, что подобный метод (для характеристики его нам показалось тогда уместным обратиться к метафоре Х. Кортасара «игра в классики») адекватен внутренней структуре «Переписки», наглядно обнаруживается на примере одной из сквозных линий книги — литературной. Мысленно вернувшись к уже проделанной нами в предыдущих главах работе над текстом «Выбранных мест...», убедимся, что какой бы тематический

узел, какую бы группу писем, даже отдельное письмо мы ни рассматривали, почти всегда в поле нашего зрения так или иначе оказывались письма о литературе, а в иных случаях некоторые их аспекты анализировались достаточно подробно, как, например, оценка Гоголем стихотворения Пушкина «Странник» или «Землетрясения» Языкова. Это, кстати, я просил бы читателя не упускать из виду, чтобы понятно было, почему кое-где появляются повторы или же, напротив, пропуски в ходе дальнейшего изложения,—подход будет не описательно-всеохватывающим, а выборочным, опять-таки доминантным. С другой стороны, перечитывая литературные — в собственном смысле этого слова — письма Гоголя, чему и посвящена данная глава, нам придется то и дело наталкиваться на уже знакомые по другим письмам общие проблемы, которые представляют собою своего рода опорные точки книги, основу ее невидимого «каркаса». Переплетение здесь такое тугое, взаимопроникновение такое глубокое и органичное, что всякая попытка вычленить отдельный элемент, рассмотреть его изолированно чревата нарушением системных связей, упрощением, уплощением, в конечном счете искажением авторского замысла. Такая попытка может быть допустима лишь как чисто условный прием, строго же говоря, она вообще иллюзорна.

С этих позиций и обратимся к первому из литературных писем, включенных в «Выбранные места...». Многозначительно название письма — «О том, что такое слово», многозначительно и место его в начале книги (это одна из первых глав, четвертая), ясно указывающие на его программный характер. Ведь Гоголь, как мы помним, придавал исключительно важное значение расположению материала в «Переписке», порядку глав, случайного, несущественного в этом вопросе для него не было.

Выделим в письме два основополагающих для автора не только в литературном, но и в нравственном отношении момента.

Первый — мысль Гоголя о богодухновенном происхождении Слова как такового, о его божественной природе. «Оно (слово — *Ю. Б.*) есть высший подарок Бога человеку» (VIII, 231). Отсюда вывод об особой, можно сказать, трепетной ответственности в обращении со словом со стороны того, кому оно вручено и доверено свыше,— писателя. В божественном Слове «дышит... святыня», и это делает его носителем, воплощением, провозвестником истины, а «чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними...». Большой грех берет на свою душу писатель, своим легким ли, бездумным или нечестным обращением с дарованным словом превращающий истину в пустышку, в бездушное и бессмысленное общее место, ибо

«общим местам уже не верят». «Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя Его неосвященными устами» (VIII, 231).

Пример легковесного, небрежного обращения со словом Гоголь видит в литературной и редакторской деятельности «приятеля нашего П...на», в котором читающая публика без труда узнала Погодина. «...Он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего ни набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве» (VIII, 231). В пору написания статьи «О том, что такое слово», в 1843 году, Гоголь, как мы помним, был очень сердит на Погодина за то, что тот опубликовал в своем «Москвитянине» без согласия писателя его портрет, сделанный к тому же «дурно и без сходства» (VIII, 223). Он долго не мог остыть, вновь и вновь, с некоторым даже оттенком маниакальности, возвращается он к этой теме: через полтора года пишет об истории с портретом в специальном пункте «Завещания», который затем, уже в следующем году, включает вместе с главой о «Слове» в подготавливаемую «Переписку», а по выходе книги посылает Погодину экземпляр с дарственной надписью, проникнутой застарелой обидой и раздражением. Шевырев, получив этот экземпляр для передачи адресату, писал Гоголю: «...Остановила меня надпись Погодину. Я хотел тебе искренно сказать, что я ее не могу пропустить через мои руки, не хочу быть посредником в такой передаче. Не так, друг мой, говорят правду от любви, не тем языком, без того раздражения. ...Ведь надобно не обжечь, а согреть»[1]. Судя по следующему письму Шевырева, Погодин «с смирением» принял «публичную оплеуху», данную ему в гоголевской книге;[2] и действительно, его мартовские и апрельские письма 1847 года к Гоголю выдержаны в миролюбивом тоне, несмотря на полемику, однако в одном из них он признается, что первое впечатление от тех мест книги, «которые касаются меня», было тяжелым: «Огорчен был я до глубины сердца... Я готов был плакать»[3].

Подробнее на истории этой размолвки не будем останавливаться. В целом, как бы ни относиться к личности и деятельно-

---

[1] Письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю.— Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1893 год, с. 38.

[2] Там же, с. 42.

[3] Литературное наследство, т. 58. М., 1952, с. 816.

сти Погодина, надо признать, что в конфликте с ним Гоголь предстает не с самой выгодной для себя стороны, хотя впоследствии в письмах к Шевыреву и к самому Погодину он пытается как-то объяснить и смягчить резкость своих высказываний, обещает написать специальную статью «О достоинствах сочинений и литературных трудов Погодина», которую, впрочем, так и не написал.

Хочу, однако, возвращаясь к статье «О том, что такое слово», обратить внимание на один нюанс в характеристике «приятеля нашего П...на», значение его выходит за рамки личных взаимоотношений, а касается куда более широкой сферы литературно-общественных проблем, рассматриваемых писателем в главе «Споры» и в переписке с К. Аксаковым. Гоголь говорит, что у «П...» нередко «чистота самих намерений», «искренность» оказываются «замаскированными», по сути дискредитированными неуклюжим, неумелым словесным выражением, «гнилым словом». «Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей». Божественный дух выветрен из такого слова, таким словом нельзя говорить «о прекрасном и возвышенном», можно лишь «опозорить то, что стремишься возвысить» (VIII, 232).

Тут возникает тема молчания, особой его ценности для тех, кто владеет «даром слова», и «именно в те поры и в то время», когда как раз более всего хочется «пощеголять словом» и душа рвется сказать «много полезного людям». Гоголь вспоминает предостережение Иисуса, сына Сирахова: «Наложи дверь и замки на уста твои... растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста» (VIII, 232). Тема молчания окрашена глубоко личным чувством: известно, как нелегко было самому Гоголю следовать совету ветхозаветного автора, сколько душевных мук доставляла ему та «надежная узда», которую он добровольно налагал на свои уста, боясь, чтобы не слетело с них «гнилое слово». Недаром мотив молчания так органично связан в статье с мотивом сожжения... По мнению Гоголя, высоко ценимый им Державин «слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих»; для многих людей его «пошлые оды» как бы заслонили, перечеркнули присущие лучшим творениям поэта «внутреннюю силу душевного огня», его «орли-

ную замашку», стали поводом для «двусмысленных толков» о личности автора. «И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню» (VIII, 230). Этот мотив — мотив сожжения — вновь прозвучит в «Переписке», уже применительно к собственному творчеству, в «Четырех письмах по поводу «Мертвых душ».

О Державине Гоголь более подробно будет говорить в другой главе, здесь он приводит лишь две строки из стихотворения «Храповицкому»:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит...

Приводит со ссылкой на Пушкина, который не согласился с Державиным, заметив, что «слова поэта суть уже его дела». Собственно, это замечание и наталкивает Гоголя на размышления о нравственной ответственности писателя за свое творчество. «Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще». Всегда найдутся «тесные обстоятельства» в оправдание неблаговидного поступка (а для писателя такой поступок — «глупое», «необдуманное» или «незрелое» слово), всегда можно сослаться на бедность, на затруднительное положение, на лукавые советы «близоруких приятелей» и настырных журналистов, подталкивавших писателя под руку, подстрекавших его на «рановременную деятельность». Но потомству не будет дела до обстоятельств, потомство спросит с писателя и только с него. «Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа?» (VIII, 229—230).

Между прочим, эти гоголевские суждения о гражданском и нравственном долге писателя вызвали очень сочувственный душевный отклик у Л. Толстого, поля читанного им в 1909 году экземпляра «Выбранных мест...» испещрены одобрительными пометками, а в целом статья «О том, что такое слово» оценена — единственная в книге — «пятеркой» с тремя (!) плюсами.

Вспомним, однако, что первотолчок размышлениям Гоголя о Слове дает не кто иной, как Пушкин. Пушкинская тема — вот тот второй момент, который хотелось бы выделить в программной для «Переписки» главе. Более чем десятилетие спу-

стя после знаменитых «Нескольких слов о Пушкине» (они опубликованы в 1835 году, в «Арабесках», а датированы автором 1832 годом; еще раньше были написаны лирико-критический отзыв о «Борисе Годунове» и рецензия на стихи И. Козлова, где упоминался «необъятный Пушкин»), статьи, наряду с работой И. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» положившей по сути начало серьезной отечественной пушкинистике,— так вот, после длительного перерыва Гоголь вновь обращается к пушкинской теме. В статье «О том, что такое слово» она пока только заявлена, но именно отсюда эта тема словно веером развернется по другим главам, предстанет разными своими гранями, в том числе и неожиданными, становясь одной из доминант гоголевской эссеистики, причем отнюдь не только применительно к литературным вопросам.

Уже при следующем появлении имени Пушкина на страницах «Переписки», в письме «О лиризме наших поэтов», обе обозначенные темы — пушкинская и тема божественности слова — сливаются. Говоря о присущем русской поэзии «высшем», «строгом лиризме», таящем в себе «что-то близкое к библейскому», Гоголь вслед за Ломоносовым и Державиным называет Пушкина: «Вспомни только,— обращается он к своему адресату, Жуковскому, — стихотворенья его: к пастырю церкви, Пророк и, наконец, этот таинственный побег из города, напечатанный уже после его смерти» (VIII, 249). К Пушкину в полной мере относится общий вывод Гоголя о том, что «наши поэты видели всякой высокой предмет в его законном соприкосновеньи с верховным источником лиризма — Богом...» (VIII, 249—250). Из того же источника питается, считает Гоголь, и лирическое отношение Пушкина к монарху, к монархической власти; для него, как для русской поэзии вообще, высшее значение монарха заключается в том, что «государь есть образ Божий» (VIII, 255), наиболее полное воплощение любви и милосердия.

Выше мы касались этого аспекта пушкинской темы у Гоголя, однако один мотив статьи «О лиризме наших поэтов» остался тогда вне сферы внимания, между тем он весьма существен. Говоря о монархических симпатиях Пушкина и о сочинениях, в которых они нашли свое выражение, Гоголь резко отделяет их от тех фальшиво-верноподданнических «печатных излияний», в искренность которых «перестали верить у нас на Руси», от «всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопрятно-запальчивых выходок, производимых всякими квасными и неквасными патриотами». На этом фоне Пушкин считал ниже своего достоинства обнаруживать «истинные отношения к государю»: «...его бы как раз назвали подкупным или чего-то ищущим человеком» (VIII, 259). Потому, например, и было

опубликовано без подписи такое стихотворение, как «Герой», подлинный смысл других его подобных сочинений открылся только теперь, после гибели поэта.

В чем же этот смысл, непостижимый для «квасных и неквасных патриотов»? Гоголь видит его в том, что, проникаясь осознанием высшего значения монархической власти, Пушкин вместе с тем не падает «во прах» перед этим величием. Он слишком горд и внутренне независим, слишком дорожит своим личным достоинством и народным признанием, дающим ему моральное право уверовать в свой «нерукотворный» памятник, вознестись «главою непокорной» выше самодержавного «столпа». Понимая «всю малость званья своего (не поэта — подданного. — *Ю. Б.*) перед званием венценосца» и умея «благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего званья», он в то же время чувствует «свое личное преимущество как человека перед многими из венценосцев» (VIII, 255). И в монархе — Гоголь это акцентирует — он выше всего ставит именно проявление чисто человеческих душевных качеств, прежде всего таких, как доброта, великодушие, способность — воздвигнуть упадший дух... утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга» (VIII, 260). В императоре Николае воображение поэта более всего поражает не сила властителя, диктатора, грозы народов и царей, а милосердие и мужество перед лицом народного горя (стихотворение «Герой» написано в связи с приездом царя в холерную Москву):

...Хладно руку жмет чуме
И в погибающем ему
Рождает бодрость...

Та же черта привлекает его в Петре («Пир Петра Первого»), который «с подданным мирится» и празднует это примирение, как победу над врагом, радуется ему, как только на небесах «радуются обращению грешника еще более, чем самому праведнику...». «Только один Пушкин,— говорит Гоголь,— мог почувствовать всю красоту такого поступка», понять, что милосердие есть «истинно божеская черта», ибо он «был знаток и оценщик верный всего великого в человеке» (VIII, 261). Заметим: «в человеке»...

О широте души и доброте царя Петра могли бы кое-что поведать поэту загубленный отцом царевич Алексей, казненные стрельцы, десятки тысяч украинцев, сложивших свои кости в фундамент невской столицы, как и о милосердии Николая — декабристы, каторжанин Достоевский, ссыльный Шевченко... Но Пушкин отвергает «тьму низких истин», он творит здесь монархическую мифологию, «нас возвышающий обман»; впрочем, стихотворение «Герой» диалогично, и в нем находится ме-

сто для реплики оппонента, напоминающего, что «строгая» история «гонит» поэтические мечты... Кому-кому, а Гоголю ведома эта беспощадная строгость исторических «низких истин», но в данном случае для него важна не столько мифологическая оболочка, сколько важен пушкинский гуманистический пафос, утверждение христианских нравственных ценностей.

Поэтому в другом письме, «О театре...», он с такой горячностью и непримиримостью вступает в полемику с теми критиками (это были С. Бурачек и А. Мартынов из журнала «Маяк»), которые утверждали, что «Пушкин был деист, а не христианин». Гоголь негодует по поводу того, что критики с легкостью необыкновенной, не вникнув ни в сложную духовную эволюцию поэта, ни в тайну поэзии вообще, берут на себя сомнительную смелость, «точно как будто бы они побывали в душе Пушкина», публично выставлять его «нехристианином... и даже противником Христа». При этом не принимаются во внимание проникнутые религиозным чувством сочинения зрелого Пушкина, например, посвященное митрополиту Филарету стихотворение «В часы забав иль праздной скуки...» («Стансы»), «где Пушкин сам говорит о себе, что даже и в те годы, когда он увлекался суетой и прелестию света, его поражал даже один вид служителя Христова» (VIII, 275—276).

«Стансы» — весомый аргумент в пользу того, что Пушкин «исповедал выше всего высоту христианскую», весомый, однако не единственный в статье. Гоголь шире смотрит на проблему. Он вообще отвергает любые попытки судить о христианских идеалах поэта по внешним признакам. «По-ихнему (то есть по мнению критиков из «Маяка» и им подобных.— *Ю. Б.*) следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки». Христианское начало у Пушкина глубинно, зачастую оно таится под поверхностным слоем сбивчивых, даже вроде бы отдаляющих человека от Христа «разнородных верований и вопросов своего времени», но ведь Пушкин не «святитель Церкви», который принимается «говорить о высших догматах христианских... не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни». Он — человек от мира сего, он — поэт, и мудрость его в том, что он «не дерзал переносить в стихи того, чем еще не проникла сь вся насквозь его душа, и предпочитал лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами» (VIII, 274—276).

Здесь — прямая параллель с театральным искусством, которое в том же письме (собственно, и посвященном прежде все-

го театру) Гоголь сравнивает с «незримыми ступенями к христианству», возводящими человека на «некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства...» (VIII, 269). Здесь и перекличка с размышлениями о греческом многобожии в письме «Об Одиссее, переводимой Жуковским»: Одиссей, живший во времена, когда «Христос... не родился, апостолов не было», в трудные минуты «обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге» (VIII, 239). По сути во всех этих случаях Гоголь имеет в виду тот непреходящий, вневременной общечеловеческий смысл христианства, тот его гуманистический «инвариант», который как идеал, как надежда и вера подспудно существовал в человеческом сознании всегда, извечно, еще до появления самого Христа. Приход Сына Божьего предчувствовали и предрекали лишь избранные, отмеченные печатью Высшего Духа пророки, но зерно будущей истины уже зрело в человечестве, ожидая часа, чтобы прорасти и дать плод...

Внимательный читатель письма «О театре...» не сможет не обратить внимание на то, что, обороняя Пушкина от недобросовестной и неумной критики, от упреков, им не заслуженных, Гоголь вместе с тем не впадает в идеализацию человеческого облика поэта, не стремится упростить, спрямить путь его духовного развития. Он говорит о постижении Пушкиным «высоты христианской», но не забывает заметить, что происходит это «в лучшие и светлейшие минуты» его поэтического творчества, тем самым ясно давая понять, что речь идет о взлетах пушкинского гения, о кульминационных точках его эволюции. Не раз встречаем в статье слова об «увлекающейся юности» поэта, о «некоторых несовершенствах его души», о том, что он «увлекался светом», впрочем, «как и всяк из нас им увлекался» (это он-то, Гоголь, вечный анахорет, чьи «увлеченья светом» сводились преимущественно к ярким жилетам, редким пирушкам с однокашниками-нежинцами да семейным обедам в чинном аксаковском доме!); наконец, упоминание «о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и может быть истолкован на две стороны...» (VIII, 276). И это — о Пушкине, пиетет перед которым, да что пиетет — восторг, восхищение, преклонение со стороны Гоголя, казалось, не имели границ... «О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни...» (XI, 112).

Правда, уже в молодые годы, при жизни Пушкина, в самый пик их взаимного дружелюбия и творческой близости, когда Пушкин только-только «воззвал голосом трубным» к на-

чинающему литератору, «лепившемуся по низменному тротуару» (X, 207),— уже тогда какие-то «увлечения», «несовершенства души» гениального поэта (а то, что Пушкин именно гениален, что поэзия его есть «величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее» (X, 227), Гоголь в полной мере осознавал), какие-то стороны образа жизни великого патрона рождали у наблюдательного неофита глухое неприятие. «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах,— сетует он в феврале 1833 года в письме к Данилевскому.— Так он протранжирит всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай и более необходимость не затащут его в деревню» (X, 259). Но это все же лишь мимолетная мысль. Абсолютно доминирует у Гоголя осознание величия Пушкина, его судьбоносной роли в собственной писательской биографии и в русской литературе, властвует неодолимая притягательная сила пушкинского таланта, ума, блеска, обаяния всей его личности. Чем был для Гоголя Пушкин, каким Гоголь видел Пушкина и как оценивал его, это с наибольшей полнотой выразилось в письмах-откликах на гибель поэта. «...Никакой вести хуже нельзя было получить из России,— пишет Гоголь в марте 1837 года Плетневу из Рима.— Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою... Невыразимая тоска!..» (XI, 88—89). Те же мотивы варьируются в письмах к Погодину, Жуковскому. И в другом письме к Плетневу: «Боже, как странно. Россия без Пушкина» (XI, 255). Прав И. Золотусский, когда говорит, что присутствие Пушкина в литературе «было для Гоголя такой же необходимостью, как присутствие звезды — для другой звезды, одного небесного тела — для другого небесного тела», и с уходом Пушкина Гоголь остро «ощутил тяжесть своего одиночества»[1].

Тем неожиданнее звучат следующие слова из написанной девять лет спустя статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь — ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих: христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт» (VIII, 407—408). Пусть определения «картинная личность» и «гордость движений» относятся не к Пушкину, а к кому-то из его предшественников или современников, все же ведь и о Пушкине сказано, что он не должен

---

[1] Золотусский Игорь. Поэзия прозы. Статьи о Гоголе. М., 1987, с. 217.

«стать теперь в образец нам»... Что это — отречение от кумира? Разочарование в идеале? Не будем торопиться...

Статью «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» Гоголь писал специально для «Выбранных мест...», будучи уверен, что она «необходима... в объясненье элементов русского человека». Писал трудно, мучительно, сжигая не удовлетворяющие его варианты, писал «в три эпохи», как признавался он в письме к Плетневу (XIII, 110). Некоторые исследователи полагают, что самая ранняя из этих «эпох» относится к началу 30-х годов и что, таким образом, первая, сожженная автором, редакция будущей статьи написана «параллельно, а может быть, даже и до статьи «Несколько слов о Пушкине»[1]. Гипотеза, не лишенная интереса, хотя все же не более чем гипотеза; зато не вызывает сомнений факт, что посвященные Пушкину страницы статьи из «Переписки» и впрямь продолжают и развивают основные положения «Нескольких слов». Тогда откровением прозвучали слова о Пушкине как русском национальном поэте, который «есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет» (VIII, 50). Теперь, в «Выбранных местах...», подлинно новаторскими, обращенными в будущее становятся мысли Гоголя о всемирной отзывчивости, «чуткости» Пушкина, о всеохватности, универсальности его поэзии: «Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов» (VIII, 380).

Остановимся на этой черте пушкинского гения — всеохватности, вчитаемся в то, что́ и ка́к говорит о ней Гоголь: не она ли именно и смущает автора статьи, вызывает противоречивое чувство? Его поражает способность Пушкина вобрать в свое поэтическое «я» безграничную огромность мира, откликнуться «на все, что ни есть в природе видимой и внешней» и из всего, «как ничтожного, так и великого», исторгнуть искру поэтического огня. Но при этом, по мнению Гоголя, поэт не обнаруживает, «зачем исторгнута эта искра», не подставляет «лестницы (вновь лестница! — *Ю. Б.*) ни для кого из тех, которые глухи к поэзии». «Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: смотрите, как прекрасно творение Бога! и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: смотрите, как прекрасно Божие творение» (VIII, 381).

На этом пути Пушкин достиг предела совершенства. Но — «нельзя повторять Пушкина». Нельзя, как это делают его

---

[1] Благой Д. От Кантемира до наших дней, т. 2. М., 1973, с. 403.

эпигоны, «ветрено лепетать» обо всем, «о пустяках», нельзя служить искусству, «не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем нам дано искусство...». Пушкинский гений есть высшая точка всего предыдущего развития русской поэзии, но ныне «другие времена наступают для поэзии» — времена, взыскующие не столько широты и универсальности, сколько глубины, не всеохватности, а сосредоточенности на собственной душе, «которую сам Небесный Творец наш считает перлом своих созданий». Восхититься этим созданием Божьим, как и другими его творениями, показать их совершенство, их красоту — мало для поэта; Гоголь хочет, чтобы слово участвовало в сотворении мира и человека, чтобы оно делало его душу совершеннее и прекраснее. Только такая поэзия способна вернуть обществу то, «что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью» (VIII, 407—408). Путь к этому Гоголю видится один — теургический, сближение поэзии с учением Христа, с Церковью, «христианское, высшее» самовоспитание каждого поэта и литературы в целом. Это дает право, по словам В. Зеньковского, считать Гоголя поистине пророком «православной культуры»[1].

Нельзя не заметить противоречивости позиции Гоголя, парадоксальности его суждений. С одной стороны, он с негодованием отвергает обвинения Пушкина в «нехристианстве», с другой — в той же книге сам высказывает если и не прямой упрек Пушкину, то во всяком случае намек на недостаточную полноту, на некую незавершенность его христианского мировидения, дает понять, что подлинная христианизация литературы есть еще только задача послепушкинского периода ее развития. С одной стороны, Пушкин для него — сияющий впереди идеал, олицетворенное будущее русского человека, с другой — лишь приготовление литературы «к служенью более значительному», своего рода «куренье кадильное» в храме, «которое уже невидимо настрояет душу к слышанью чего-то лучшего еще прежде, чем началось само служение» (VIII, 407); то есть еще не само служенье.

Противоречие действительно есть. Это прежде всего внутреннее противоречие Гоголя, остро ощущающего в самом себе литературные «концы и начала», переломный этап от пушкинской эпохи к послепушкинской и собственное творчество как связующее, переходное звено между двумя эпохами. Но это и объективное противоречие литературного процесса, в котором сложно сочетаются преемственность и отталкивание, продолжение и преодоление, повторение и неповторимость. Пушкин для

---

[1] Зеньковский В. В. История русской философии, т. I. Париж, 1948, с. 187.

русской литературы и «вечный полдень», высокая цель, и в то же время «потерянный рай», куда нет и не может быть возврата[1]. Гоголь осознал это одним из первых, предугадав неизбежность и необходимость возникновения (или, точнее, возрождения, если не забывать о старой духовной отечественной традиции) после Пушкина в русской литературе все более и более набирающей силу тенденции к оплодотворению творчества христианской идеей, христианской моралью, мыслью «о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли своей» (VIII, 405).

Так Гоголь возвращается — не по кругу, по спирали, на новом этапе постижения Христова закона и понимания сути явлений — к высказанным когда-то в статье «Несколько слов о Пушкине» суждениям об «истинной национальности» искусства, состоящей «не в описании сарафана, но в самом духе народа» (VIII, 51). С этой точки зрения и Пушкин, с наибольшей для своего времени полнотой и верностью выразивший свойства народного характера, предстает по-новому, в исторической перспективе — как неотъемлемый компонент того, что «есть действительно в нас лучшего собственно нашего» и что «не позабыли бы... вместить в свое построение» человеческой души (VIII, 405). Пушкин, таким образом, есть одновременно завершение и начало, подведение итогов и предвестие будущего, его органическая составная часть.

Это относится не только к Пушкину, но в той или иной мере ко всей русской словесности пушкинской и допушкинской поры, более того, именно в этом для Гоголя и заключается цель, высший смысл, «существо» отечественного литературного процесса вообще, главное направление его движения. Заглядывая вперед, в то «благодатное время», когда в литературе «еще... слышней выступят наши народные начала» (VIII, 408), Гоголь говорит с достойной удивления дальновидностью, оценить которую в полной мере мы можем, пожалуй, лишь сегодня, по прошествии почти полутора столетий: «Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше, по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья, нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями...» (VIII, 405).

Здесь Гоголь дает краткую, но уникальную по емкости ха-

---

[1] См.: Палиевский П. В. Русские классики. Опыт общей характеристики. М., 1987, с. 44.

рактеристику русской поэзии предшествующего периода — своего рода развернутую ее метафору, которая как бы суммирует детальный историко-литературный обзор, составляющий большую часть статьи «В чем же, наконец, существо...». Важнейшим критерием, мерилом ценности поэзии выступает полнота выражения ею коренных народных свойств: непреклонность и твердость, «библейско-исполинское величие», «услышанные» Державиным в народе; свойство чуткости, живости натуры, которое «в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине»; «верный такт русского ума», с такой свободой и естественностью отразившиеся у Крылова; молодая удаль и отвага, готовность в любой миг «рвануться на дело добра», которая «так и буйствует в стихах Языкова»... Это черты не случайные, они рождены в глубинах народного характера и почерпнуты оттуда: «поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его». И при этом какое разнообразие звучаний, тонов, оттенков: «металлический бронзовый стих Державина», «густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина», «сияющий, праздничный стих Языкова», сладостный, «облитый ароматами полдня стих Батюшкова», «порхающий» стих Жуковского, «тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью», — словно «разнозвонные колокола», словно «бесчисленные клавиши одного великоколепного органа» (VIII, 405—407).

Еще более сжат, почти конспективен, но, быть может, и еще более емок и многозначим набросок перспективы русской поэзии, чертеж ее будущего развития. Намечены главные, опорные точки на этом чертеже, глубинные источники, «струи» поэзии, изначально бьющие «в груди нашей природы», в недрах народной жизни. Это — народные песни с их безграничным, «необъяснимым» разгулом, стремлением «унестись куда-то вместе со звуками», «мимо жизни», к какой-то лучшей отчизне, «по которой тоскует со дня созданья своего человек». Это — «многоочитые пословицы», которые свидетельствуют о том, какие можно сделать «великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек...». Это — «необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов», слово церковных пастырей, «простое, некрасноречивое», зовущее «на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину»... Три источника — и три тайны, ибо еще не пробился, а только в будущем должен пробиться из них «самородный ключ нашей поэзии» (VIII, 369, 408).

И еще одна тайна — «необыкновенный язык наш»; «он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно... язык, который сам по себе уже поэт...». «Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь» (VIII, 408—409). Тогда придет час пробудиться русской поэзии, «остановившей», считает Гоголь, свое движение со смертью Пушкина (одного лишь Лермонтова, в котором «слышатся признаки таланта первостепенного», выделяет он, ставя его в один ряд с Пушкиным и Грибоедовым [1]). Тогда она, доселе не выразившая «нам нигде русского человека вполне, ни в том *идеале*, в каком он должен быть, ни в той *действительности,* в какой он ныне есть», но пока только совокупившая «в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы» (VIII, 404), не ставшая еще ни верной картиной, «ясным зеркалом» общества, ни его воспитателем и потому почти не знаемая этим обществом,— тогда «скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке...» (VIII, 409).

Приступая к литературной теме в «Переписке», мы начали с первой по порядку расположения главы — «О том, что такое слово», а пришли к главе последней, завершающей этот цикл,— «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность». В этой «закольцованности» нет ничего нарочитого, так продиктовали внутренняя логика гоголевской книги, движение мысли автора, на первый взгляд «перетекающей» непринужденно и даже непредсказуемо, на самом же деле строго выверенной, подчиненной ясной конечной цели. Обе главы носят программный характер, наиболее четко выражают взгляды Гоголя на литературный процесс и, в чем-то перекликаясь между собой, вместе с тем находятся в отношениях взаимодополняемости.

Главы, расположенные между этими статьями (заметим, глава «О том, что такое слово», как и другая, «В чем же, наконец, существо...», написана именно в форме статьи, а не письма), представляют собою своего рода «спутники», варьирующие, конкретизирующие основные авторские мысли. Среди них есть главы существенно важные, как, например, «О лиризме наших поэтов», «Предметы для лирического поэта в нынеш-

---

[1] Заметим, что в этом ряду нет даже высоко ценимых Гоголем Языкова и Жуковского, нет Баратынского, Соллогуба, Загоскина, Вельтмана, Лажечникова, не говоря уже о таких авторах, как Булгарин, Греч, Масальский, Свиньин, хотя Гоголь ими интересовался, они числятся в реестре книг, пересланных ему Погодиным в Рим в июле 1841 года.

нее время», «Об Одиссее, переводимой Жуковским», «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», «Споры», «Карамзин»; их мы уже достаточно подробно и внимательно перечитывали. Есть и главки, имеющие более частное значение, таково, скажем, письмо «Чтения русских поэтов перед публикою», где угадываются предварительные наметки некоторых суждений, получивших затем развитие в статье «В чем же, наконец, существо...».

Особое место занимает глава «Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ». В рамках общей литературной концепции «Выбранных мест...» она имеет достаточно самостоятельное значение и заслуживает специального разговора.

«Четыре письма» не просты для исследования. Особенность их — в двоякой природе, в разнонаправленности связей текста с контекстом, точнее сказать, с контекстами. Ибо, будучи, как и другие главы, плотно «вживлены» в ткань книги, органично включены в ее общую «кровеносную систему», «Четыре письма» в то же время заметно выделяются тем, что и по замыслу своему, и по содержанию выходят за пределы книги, принадлежат еще и к иному, более широкому контексту — к истории создания «Мертвых душ», к долгому, исполненному драматизма процессу работы над ними автора и осмысления, интерпретации им своего сочинения. Глава существует и функционирует как бы одновременно на двух уровнях — на уровне «Выбранных мест...» и на уровне «Мертвых душ»; так ее и следует рассматривать, учитывая при этом естественную связь и взаимодействие между обоими уровнями.

«Уровень книги» уже, собственно, был в сфере нашего внимания, когда мы в предыдущих главах в связи с теми или иными вопросами касались отдельных аспектов «Четырех писем». Напомню: это, например, мысли Гоголя о косности бюрократической системы в России, при которой «плуты и взяточники» умеют «загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить... бревно под ноги человеку», а нерадивый, недобросовестный «применитель» сводит на нет любые реформы правительства, действующего «без устани» (VIII, 290); о губительной нашей привычке «хвастаться не в меру русскими доблестями», что «раздражает других и наносит вред самому хвастуну», подталкивая его «прямо в руки к чорту, отцу самонадеянности» (VIII, 298); об осознании своего «назначенья», своего «дела», которое относится не столько к литературной области, сколько и прежде всего к жизни человеческой души (VIII, 298—299); наконец, это нравственная самокритика автора, признания его в собственных «пороках», «гадостях», «дурных качествах» и вместе с тем его страстное «желание быть лучшим» (VIII, 293)... Таковы лишь некоторые из

точек соприкосновения «Четырех писем» с другими главами книги, с ведущими ее темами — преобразование, «устройство» России и самопреобразование, «самостроение» человека. Об этом, повторяю, уже шла у нас речь.

То же и в чисто литературной проблематике. Обратим внимание на два примера. Один из них — мысли о писательской ответственности, развивающие сказанное в главе «О том, что такое слово». Во втором письме о «Мертвых душах» Гоголь говорит, что в только что вышедшем первом томе поэмы он «почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей» и «услышал болезненный упрек себе» — упрек от России, от «ее пустынных пространств», таких же бесприютных, неприветливых и безлюдных, как и полтораста лет назад, «точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома»... А ведь ты «положил себе в непременный закон — служить земле своей, а не себе», ведь на поприще писателя, «как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную». Как же ты исполнил свое дело, ради которого, движимый единственно желанием добра, взялся за перо? Кто виноват в том, что «своих же собственных мыслей, простых, неголоволомных мыслей», не сумел передать (VIII, 289—291)? «Неужели мне говорить, что меня пригиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, нижé пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит» (VIII, 291).

Второй пример — пушкинский лейтмотив, проходящий через всю литературную часть «Выбранных мест...», в том числе проникающий и в «Четыре письма». Прежде всего подтверждается версия, согласно которой Пушкин стоял у истоков «Мертвых душ». Когда-то, в апреле 1837 года, вскоре после гибели поэта, Гоголь впервые сказал об этом в своем письме к Жуковскому: «Я должен продолжать мною начатый, большой труд, который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с тех пор в священное завещание» (XI, 97). Из третьего письма, помещенного в «Переписке», узнаем, что Пушкин не только подал мысль, но и успел ознакомиться в авторском чтении с одним из ранних, наполненных «чудовищами», вариантов первых глав «Мертвых душ» и что именно тогда он, «который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), по мере чтения «начал понемногу становиться все су-

мрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» (VIII, 294).

Тут же Гоголь приводит и определение Пушкиным «главного существа его, Гоголя, писательского дарования. «Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся эта *мелочь,* которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем» (VIII, 292).

Это место вызвало резкое несогласие Белинского. В рецензии на «Выбранные места...» критик, приведя пушкинскую характеристику, с сожалением констатирует, что Гоголь с ней «сам соглашается»; между тем, на взгляд Белинского, она не слишком лестна, из нее следует вывод, что «это талант явно мелкий и ничтожный»[1]. Любопытно, что автор рецензии избегает упоминания о том, что данная характеристика принадлежит Пушкину, он критикует как бы не Пушкина, а соглашающегося с ним Гоголя... Чуть позднее, в статье «Ответ «Москвитянину», Белинский высказывается уже более корректно и более здраво. Он отмечает, что перед нами не просто самооценка Гоголя, но «мнение Пушкина», и, цитируя из «Переписки» известное место о «пошлости пошлого человека», признает, что «в этих словах много правды», просто критик «Москвитянина» (это был Ю. Самарин) «слишком увлекся» ими, принял «за полное и окончательное суждение о Гоголе». Далее Белинский доказывает, и делает это убедительно, неправомерность такого расширительного толкования мысли Пушкина, резонно напоминая, что Гоголь, будучи великим живописцем пошлости жизни», создавал и характеры героические, и «высоко трагические», как Тарас Бульба, что он и «в положительной пошлости жизни» умел «найти трагическое», примером чего могут служить «Старосветские помещики» и «Шинель»[2].

Все так, если говорить о творчестве Гоголя в целом. Однако в пылу полемики с Самариным, со славянофильской критикой вообще, с тем направлением в литературе, которое он называет «реторической», или «неестественной» школой, Белинский упускает из виду по крайней мере два обстоятельства. Хотя Гоголь и говорит, что Пушкин определил его «главное существо», «главное свойство» как писателя, нельзя не учитывать все же, что вспоминает он о пушкинском определении в письме, посвященном именно «Мертвым душам», в связи с ними. Кроме того, ссылкой на высказывание Пушкина и согласием с ним далеко

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 236.
[2] Там же, с. 311—312.

не исчерпывается содержание гоголевского письма, то и другое — только начало, только импульс для дальнейших размышлений писателя о том, что подмеченное Пушкиным его «главное достоинство» не получило бы развития, «если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история». «Никто из читателей моих,—продолжает Гоголь, не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной» (VIII, 293). Ибо «во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке». «Мертвые души», таким образом, предстают как своего рода объектированная в картинах жизни, в образах персонажей исповедь писателя, история его души, а процесс творчества — как нравственное очищение, освобождение от «моей собственной дряни». «Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званьи и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем попало» (VIII, 294). Тех «чудовищ», тех «кошемаров», которые когда-то поразили в «Мертвых душах» Пушкина и привели его в мрачное состояние, Гоголь не выдумывал — «кошемары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло» (VIII, 297).

Позднего Гоголя, автора «Выбранных мест...», много корили за морализаторство, за советодательский зуд. Не удерживается он от совета и в данном случае, предлагая неизвестному адресату «по прочтеньи моего письма, остаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, чтобы проверить на деле истину слов моих» (VIII, 297). Этот тон может не нравиться, вызывать ироническую усмешку, но нельзя не признать, что, давая советы другим, он все-таки первым объектом своих моральных поучений считал самого себя, самовоспитанием завоевывал моральное право на воспитание. Что бы там ни говорили о его притязаниях на роль духовного наставника, без большого душевного мужества не скажешь о себе так, как говорит Гоголь: «Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог» (VIII, 296). Нет, талант «явно мелкий и ничтожный» не уживется с таким нравственным максимализмом!

Нетрудно понять, почему Белинский оставил без внимания все эти психологические тонкости. Они попросту не представляли для него ни малейшего интереса: «темно что-то, мистицизмом отзывается», «пахнет умилительно средневековою легендою».

В концепции «натуральной школы», которая «вышла из Гоголя», главным, всепоглощающим было начало сугубо объективное, «ответ на современные потребности «общества», «реальность явлений жизни»[1] и реальность характеров; одному-единственному характеру не оставалось только места в этой концепции — реальному характеру самого автора, личности художника, его субъективному взгляду на себя самого и на свои творения. Для Гоголя же, коронованного Белинским как основатель «натуральной школы», литературное дело само по себе второстепенно, оно имеет в его глазах смысл лишь в той мере, в какой служит «душе», «строению» человека — и прежде всего собственной душе, прежде всего «самостроению», без чего немыслимо «прочное дело жизни», победа «добра» над «мерзостями», без чего невозможно «все направлять к добру» (VIII, 277). В этом — кричащее противоречие концепции Белинского, к каким бы «диалектическим» уловкам и объяснениям мы ни прибегали, в этом — зародыш неизбежного конфликта между критиком и писателем. «Зальцбруннский взрыв» не мог не произойти, как не могли не появиться на свет «Выбранные места...»; Галатея должна была взбунтоваться против Пигмалиона, ибо на самом деле это была не статуя, не модель, а живой художник, не желающий и не умеющий втиснуться в рамки теоретической схемы — пусть даже самой умной, самой прогрессивной и благородной.

«Бунтарская» нотка звучит уже в первом из «Четырех писем». Сетуя на то, что читатели не «поучают» его, живущего вдали от России, своими советами, Гоголь по ходу дела отпускает едкое замечание, которое адресовано, видимо, не одному Белинскому, однако почти наверняка метит и в него: «Меня же не научат этому (знанию России.— *Ю. Б.*) литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные» (VIII, 288). Очевидно и выраженное им в следующем письме несогласие с оценкой и истолкованием Белинским лирических отступлений, — их критик относил к самым важным недостаткам «Мертвых душ»; особенно огорчало Гоголя превратное понимание «лирического воззванья к самой России», на которое «больше всего напали журналисты, видя в нем признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе» (VIII, 289, 288).

Наконец, «бунт» Гоголя, и это, быть может, наиболее существенно, проявился в том, что, отказываясь от намерения «произвести эпоху в области литературной» (VIII, 298), он тем самым демонстративно уклонялся от той особой миссии, которую

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 320, 321, 311, 313.

возлагали на него «хвалители»; иначе говоря, с обидой комментирует это заявление первый из таких «хвалителей» Белинский, получается, что «лгали те, которые провозгласили его главою новой литературной школы» [1]. Более того, писатель смиренно заявляет, что приемлет брань и нападки своих хулителей, что «неумеренный тон некоторых нападений на Мертвые души... имеет свою хорошую сторону», в частности, «в критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать» (VIII, 286). Велико было недоумение и негодование Белинского: за гоголевским «смиренномудрым признанием собственных ошибок и правды в нападках врагов» он усмотрел скрытый упрек в свой адрес, намек на то, что «слава Гоголя основана на крикливых возгласах какой-то литературной партии, которой нужно было поднять его из своих собственных расчетов» [2], намек, напоминавший ему выпады Булгарина [3]. Историко-литературная правота в данном случае на стороне Белинского; критик не учитывает только одного: «смиренномудрое признание» Гоголя лежит в плоскости не литературной (и тем более не литературно-«партийной»), а этической. Гоголь и здесь размышляет не о литературе, он вглядывается в собственную душу, «на дне» которой «столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия», и «беспрестанные щелчки», «оскорбительный тон», «пронимающие насквозь насмешки» воспринимает как горькое, но необходимое душе нравственное лекарство, за «которое мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку» (VIII, 286).

В своем письме к Белинскому — ответ на рецензию в «Современнике»—Гоголь пытается объяснить по поводу «оплошных» выводов» критика. «Как можно, например, — пишет он, — из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорившие о достоинствах моих, несправедливы? Такая логика может присутствовать в голове только раздраженного человека, продолжающего искать уже одно то, что способно раздражать его, а не оглядывающего предмет спокойно со всех сторон» (VIII, 327). Это письмо написано примерно около 20 июня 1847 года; тем же числом датировано письмо к Прокоповичу, где выражается сожаление по поводу того, что Белинский, «кажется, принял всю книгу написанною на его собственный счет и

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 236.

[2] Там же, с. 237.

[3] Об отношениях между Гоголем и Булгариным см.: Энгельгардт Николай. Гоголь и Булгарин.— Исторический вестник, 1904, № 7.

прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли». Отдавая должное тому, что писал о нем Белинский, писал «с участием в продолжение десяти лет», причем «указал справедливо... на многие такие черты в моих сочинениях, которые не заметили другие», Гоголь просит Прокоповича: «Пожалуйста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в «Современнике», в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем» (XIII, 324—325). В разгоряченном партийной борьбой, болезненно раздраженном Белинском действительно (хотя Прокопович в своем ответе Гоголю и отрицает это) «кипела желчь», и она очень скоро вылилась в письме из Зальцбрунна...

Истинный смысл гоголевских суждений о «нападениях» на «Мертвые души», его готовности согласиться с «озлобленными» понял, пожалуй, только Л. Толстой, да и то уже на склоне лет, когда и к нему, как в свое время к автору «Переписки», также пришло осознание необходимости «выкопать» из себя «всю дрянь» (VIII, 286); начальный абзац первого письма о «Мертвых душах» он отмечает на полях книги чертой и — дважды — знаком «нотабене».

Мысль Гоголя о нравственном значении для него «щелчков» и «насмешек» стала как бы прелюдией к одной из ведущих тем «Четырех писем»—теме второго тома «Мертвых душ», связанных с ним надежд, разочарований, трагических коллизий.

Вновь обратимся к рассказанному писателем эпизоду чтения Пушкину раннего варианта первых глав «Мертвых душ». Мрачная реакция поэта, его «голос тоски» поразили Гоголя: как же это — «Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура («чудовища». — *Ю. Б.*) и моя собственная выдумка». Гоголь задумывается над тем, «в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света»*. «С тех пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести Мертвые души» (VIII, 294). Такому смягчению, нейтрализации «гадостей» служит в первом томе изображение «ничтожности», «пошлости» тех, кто выступает носителем этих гадостей. «...Мне хотелось попробовать, что скажет вообще русской человек, если его попотчеваешь его же собственною пошлостью. Вследствие уже давно принятого плана Мертвых душ для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные». Как видим, пушкинская реплика, хотя и побуждает Гоголя новыми глазами взглянуть на свое сочинение, все же не отражается на «давно принятом» плане первого тома, но зато она становится

импульсом для возникновения идеи следующего тома, который должен уравновесить первый, придать гармонию всему замыслу. «Не спрашивай, — обращается Гоголь к адресату своего письма,—зачем первая часть должна быть вся—*пошлость* и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы — вот и все?» (VIII, 294—295).

Впрочем, к этому времени писатель все более укрепляется в мысли, что равновесия не получится, его и не может, не должно быть: первая часть с присущим ей апофеозом пошлости есть «не более как недоносок» (VIII, 295), лишь «бледное начало» будущего произведения (XII, 63), в «малозначительности» своей она видится ему «похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман в колоссальных размерах...» (XII, 70). Теперь главные надежды Гоголь связывает с продолжением «той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит, наконец, загадку моего существования» (XII, 58).

«Строилась» поэма, именно вторая ее часть, медленно, совсем не так, как хотелось бы писателю, ценой безмерных физических мук и нравственного напряжения. Причин тому много. Одна—без конца одолевающие болезни, «изнуренье сил»: «Едва час в день выберется для труда, и тот не всегда свежий» (VIII, 299). Другая, подспудная, — поистине неоглядная грандиозность замысла, тяжесть «неразрешимой задачи... найти примирение и светлую сторону там, где ни то ни другое невозможно, — в обществе» [1]. Эту мысль из своего письма к Тургеневу, написанному сразу же после похорон Гоголя, И. Аксаков развивает в статье «Несколько слов о Гоголе»: «Нельзя было художнику в одно время вместить в себя, выстрадать, высказать вопрос и самому предложить на него ответ и разрешение!» Русь, у которой Гоголь просил ответа в первом томе, — «куда несешься ты?», так и «не дала... ответа поэту, и не передал он его нам, хотя всю жизнь свою ждал, молил и домогался истины... Долго страдал он, отыскивая светлой стороны и пути к примирению с обществом, как того жаждала любящая душа художника, искал, заблуждался... уже не однажды думал, что найден ответ... Но недостало человека на это новое испытание, и деятельность духа, напором сил своих, постоянно возраставшим, без труда разорвала и сломила сдерживавшие ее земные узы...» [2].

И. Аксаков один из немногих, кто уловил внутреннюю связь между объективной и субъективной сторонами мученичества Гоголя, между масштабом, «неразрешимостью» задачи и захва-

---

[1] Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу.— Русское обозрение, 1894, № 8, с. 464.

[2] Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981, с. 250—251.

тывающей дух высотой нравственной цели, поставленной перед собой автором второго тома «Мертвых душ». Труднейшее препятствие, тормозившее работу, жило в самом авторе. «На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть и притом так самый предмет и дело связано с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя», — делится Гоголь с Языковым в июльском письме 1844 года из Франкфурта (XII, 332).

Языков душевно близок, он все поймет. Поймет и посочувствует Смирнова, когда Гоголь объяснит ей, что ему необходимо «выстрадаться» — «без этого не будут «Мертвые души» тем, чем им быть должно» (XIII, 41). Жуковскому, Плетневу и объяснять подробно нет необходимости — умницы. А вот как убедить других, нетерпеливых, друзей, как втолковать издателям, журналистам, публике, что писатель не «предан праздному бездействию» (XII, 143), что продолжение поэмы рождается с муками «из первого хаоса» и что «нельзя упреждать время» (XII, 144), а тем более — себя самого, надо «ожидать себя». «Если ты, — пишет Гоголь Шевыреву, — под словом *необходимость* появления второго тома разумеешь необходимость истребить неприятное впечатление, ропот и негодование против меня, то верь мне: мне бы слишком хотелось самому, чтоб меня поняли в настоящем значении, а не в превратном... И хотя я чувствую, что появление второго тома было бы светло и слишком выгодно для меня, но в то же время, проникнувши глубже в ход всего текущего перед глазами, вижу, что все, и самая ненависть, есть благо» (XII, 144). И уже нескрываемое раздражение сквозит в третьем из «Четырех писем», адресованном Гоголем кому-то из друзей, задающему «те же пустые запросы» о втором томе. «Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: «Второй том нужен теперь необходимо»? Чтобы я из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом, так же глупо, как поторопился с первым? Да разве уж я совсем выжил из ума?... И откуда вывел ты заключенье, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще, принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени» (VIII, 292, 296). И по тону, и по смыслу это место явно перекликается с написанным в мае того же 1843 года письмом к Прокоповичу: «Говорил ли я когда-нибудь тебе, что буду... печатать 2 том в этом году?.. Точно Мертвые души блин, который можно испечь... Мертвых душ не только не приготовлен 2-ой том к печати, но даже и не написан. И раньше двух лет... не может выйти в свет» (XII, 187).

Ровно два года спустя, на рубеже июня—июля 1845-го, рукопись второго тома была предана автором огню...

С этого эпизода начинается последнее из «Четырех писем»: «Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», — говорит апостол (*I, Кор.* 15, 36.— *Ю. Б.*). Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало душу. Но все было сожжено...» (VIII, 297). По-видимому, это письмо — ответ на сетования или, может быть, даже упреки неизвестного корреспондента, ссылавшегося, судя по всему, на ожидания «любителей искусств и литературы», потому что Гоголь в довольно строгом тоне замечает, что надо принимать во внимание не «наслаждение» избранной публики, «но всех читателей, для которых писались Мертвые души» (VIII, 298), и с непреклонностью подтверждает свою нравственную позицию: «...Образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно...» (VIII, 299).

Одним из осложняющих моментов в работе над вторым томом Гоголь считал нехватку у него живых, непридуманных фактов, сведений обо всем, «что ни делается во всех углах» России. Этот материал надеялся он почерпнуть из отзывов и замечаний на первый том «со стороны людей, занятых делом самой жизни», а не «пустыми словами и литературными разглагольствованиями». Его воображению рисуется целая книга «по поводу Мертвых душ», которая «могла бы написаться всей толпой читателей...» и в многообразных ракурсах представить широкую панораму жизни страны. «Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность мной изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел, и тем бы опроверг меня лучше всяких слов, или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость мною описанного... Мог бы то же сделать и купец, и помещик, словом — всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли». Но никто не откликнулся из «практических людей», кроме литераторов да журналистов, людей, как известно, «кабинетных». Горечью проникнуты заключительные слова гоголевского письма: «...Хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души» (VIII, 287).

Отчаявшись, Гоголь предпосылает второму изданию первого тома поэмы специальное предисловие «К читателю от сочините-

ля». Он прямо обращается к своим читателям — людям разных сословий, званий, чинов—с просьбой дополнить книгу своими наблюдениями, фактами, рассказами о действительных событиях, человеческих лицах и судьбах, почерпнутыми из жизненного опыта, отметить при чтении и обратить внимание автора на допущенные им по недостаточному знанию предмета промахи и ошибки. И это не все. Гоголю хотелось бы, чтобы кто-нибудь из читателей, если он наделен живым воображением, попробовал мысленно проследить возможное дальнейшее развитие выведенных в первом томе персонажей, их предполагаемые поступки в тех или иных обстоятельствах, чтобы автор мог учесть все это, продолжая работу над книгой. Писатель говорит о новом ее издании, но, без сомнения, более всего здесь чувствуется ориентация на второй том.

Гоголевское предисловие вызвало саркастический комментарий Белинского, откликнувшегося в «Современнике» на второе издание «Мертвых душ» небольшой рецензией. «Итак, — пишет критик, — мы не можем теперь вообразить себе всех русских людей иначе, как сидящих перед раскрытою книгою «Мертвых душ» на коленях, с пером в руке и листом почтовой бумаги на столе; чернильница предполагается сама собою...» Простым же людям, продолжает рецензент, предстоят особенно большие хлопоты: «...писать не умеют, а надо... Не лучше ли им всем пуститься за границу для личного свидания с автором — ведь на словах удобнее объясниться, чем на бумаге...» Однако сквозь фельетонную, ёрническую интонацию пробивается в рецензии иная нота, тревожная. «Странное», «фантастическое», написанное в тоне «неумеренного смирения и самоотрицания» предисловие Гоголя внушает Белинскому «живые опасения за авторскую славу в будущем (в прошедшем она непоколебимо прочна) творца «Ревизора» и «Мертвых душ»; она грозит русской литературе новою великою потерею прежде времени...». Критик сопоставляет предисловие с журнальной публикацией статьи о переводе «Одиссеи», исполненной «парадоксов, высказанных с превыспренними претензиями на пророческий тон», и даже готов согласиться с «грубым и неприличным» отзывом об этой статье «одного бездарного писателя» — имеется в виду выступление в «Северной пчеле» (!) барона Розена. Он возвращается и к «Мертвым душам», к тем ее местам, где «из художника силится автор стать каким-то прорицателем и впадает в несколько надутый и напыщенный лиризм», к «мистико-лирическим выходкам в «Мертвых душах», которые, на его взгляд, «были не простыми случайными ошибками со стороны их автора, но зерном, может быть, совершенной утраты его таланта для русской литературы...» [1].

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 512, 511.

Признаюсь, мне трудно согласиться с тем, как интерпретирует Белинский лирические места в «Мертвых душах», как представляет он эволюцию Гоголя — художника и мыслителя и как ее оценивает, но в одном критику не откажешь — в проницательности, или, может быть, интуиции, не знаю, как лучше это назвать. Небольшая рецензия проникнута острым предчувствием, тревожным ожиданием «Выбранных мест...». Связь между этой книгой и «Мертвыми душами» — связь, кстати, далеко не очевидную, не прямолинейную — Белинский разглядел, вернее, почувствовал, предугадал первым.

Интересно, что эту связь осознает и Гоголь, хотя, разумеется, понимает ее совершенно иначе, нежели Белинский. Красноречив уже сам факт включения им в книгу четырех писем о «Мертвых душах» — своего рода предисловия к будущему второму тому поэмы. Да в сущности вся «Переписка», взятая в целом, была таким предисловием. Гоголь прямо говорит об этом в письме к Шевыреву от 5 октября 1846 года. Сообщая, что он отправил Плетневу предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», в котором сказано «дело весьма для меня нужное», он пишет: «Что книга (то есть «Мертвые души».— *Ю. Б.)* выйдет несколько позже, это ничего; ей даже и не следует выходить раньше некоторого *другого предисловия* (подчернуто мною.— *Ю. Б.*), не сделавши которого, мне нельзя и в дорогу». Кратко объяснив Шевыреву, что речь идет о книге, представляющей собою «выбор из некоторых моих писем к друзьям», Гоголь специально предупреждает: «Может быть, через месяц, то есть если не в конце октября, то в начале ноября, должна выйти книга, а потому до того времени не выпускай «Мертвые души» (XIII, 106).

Из чего исходит, чем руководствуется Гоголь, придавая такое значение очередности выхода в свет своих книг — сначала «Выбранные места...» и лишь после них второе издание «Мертвых душ»? Несомненно, ему важно предварить новое прочтение поэмы (а для какой-то части читателей, возможно, и первое прочтение) «Четырьмя письмами», где, с учетом критических отзывов на первое издание, разъясняются некоторые стороны авторского замысла, в свое время не вполне понятые или же превратно истолкованные. Это так, но, думается, дело не только в этом. Гоголь смотрит дальше и глубже.

Перечитаем еще раз последнее из «Четырех писем». Один из коренных изъянов второго тома «Мертвых душ», послуживший толчком к сожжению рукописи, Гоголь видит в том, что то была попытка «устремить общество или даже все поколенье к прекрасному», не раскрыв всей глубины «настоящей мерзости», а главное — не подкрепив идеальные цели реальными средствами их достижения. Между тем «бывает время, что даже вовсе

не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого». «Последнее обстоятельство, — подчеркивает писатель, — было мало и слабо развито во втором томе Мертвых душ, а оно должно было быть едва ли не главным; а потому он и сожжен» (VIII, 298).

Такие «пути и дороги» к прекрасному как для общества, «всего поколенья», так и для каждого человека в отдельности, «для всякого», Гоголь намечает (во всяком случае, ставит перед собой эту задачу) в «Выбранных местах...». Потому они и могут рассматриваться как предвестник второго тома, предварительный его набросок и одновременно как своего рода предисловие, прелюдия к «Мертвым душам» в целом.

* * *

Три постоянных величины, три тематических опоры структурируют литературный «отдел» гоголевской «Переписки» в целостную систему, включенную в общую многосложную систему книги. Это — Пушкин; это — «Мертвые души»; это — нравственные смысл и цель творчества. Если же прибегнуть не к модерной терминологии, а к традиционной, так сказать, старосветской образности, то это три кита, на которых держатся представления автора «Выбранных мест...» о литературе, «о том, что такое слово».



POST SCRIPTUM: ЗАГАДКА? ДРАМА?

Дубовый листок оторвался от ветки родимой...

М. Лермонтов

Вот мы и прочли «Прощальную повесть». Все главы, все письма, без исключения; некоторые — бегло, лишь прикасаясь мыслью к авторской мысли, словно «перстами, легкими, как сон», иные же неспешно, возвращаясь к тексту не раз и не два, стремясь выявить внутренние связи, главные идеи, сквозные мотивы. Не стану таиться: чертовски хотелось бы увлечь этим чтением тех — а таких, как ни горько признать, большинство, — кто прежде и в руки не брал, тем более не раскрывал эту многократно преданную анафеме книгу, довольствуясь скудной, зато легко усваиваемой пищей школьной мифологии...

На этом, собственно, можно было бы и закончить. Однако я чувствую, что без нескольких заключительных слов мне не обойтись.

Читатель наверняка заметил, что гоголевская книга без оговорок названа тут «Прощальной повестью». То, что высказывалось прежде лишь в качестве предположения, версии, гипотезы, вдруг предстает как нечто определенное, доказанное. Что же — выходит, загадка разгадана?..

Решусь на чистосердечное признание. Лично для меня в этом вопросе с самого начала не было (нет и сейчас, после Бог знает какого по счету прочтения книги) никакой особой загадки. Я не видел и не вижу, что́, кроме «Выбранных мест...», пусть даже еще только замышлявшихся, мог иметь в виду Гоголь, говоря в «Завещании» о «Прощальной повести». Гипотетическая форма, в которой изложено это мнение, возникла отчасти из привычной осторожности, из попытки «академического» камуфляжа, а отчасти просто как литературный прием, своего рода небольшая и, надеюсь, невинная мистификация. Пусть уж извинит меня снисходительный читатель, тем более что ведь путь для других гипотез и версий не заказан...

Говоря откровенно, «загадка «Прощальной повести» — далеко не единственная в гоголевской «Переписке», более того, не самая главная. Книга эта таит в себе загадки и более удивительные, и более важные, имеющие для писателя, без преувеличения, судьбоносное, если не роковое значение. Об одной из них не могу не сказать особо.

Мы помним, какое место занимает в «Выбранных местах...» мотив «нужно проездиться по России». С таким советом Гоголь настойчиво обращается к А. Толстому, посвящая этому отдельную и довольно пространную главу, но одновременно, как уже отмечалось, как бы и к самому себе. Последнее подтверждается целым рядом других писем к друзьям, где писатель размышляет о будущих своих поездках по России.

Но вот о намерении «проездиться по Украине» (или, на худой конец, «Малороссии») ни в одном письме нет ни слова. Правда, возвратясь из дальних и долгих странствий, Гоголь все же навестит, и не раз, свою Васильевку, побродит по окрестностям, подышит диканьско-сорочинским воздухом, съездит в Киев, поживет некоторое время в Одессе... Но все это — уже *после* «Выбранных мест...». К тому же то были поездки, так сказать, сугубо приватные, к творческим замыслам, к работе над вторым томом «Мертвых душ», поглощавшей Гоголя целиком, они как бы не имели отношения. Говорю «как бы», потому что внимательный взгляд и в «Мертвых душах» обнаруживает то, что комментаторы называют «малороссийским» акцентом [1], но это явление иного порядка, заслуживающее особого разговора. В «Переписке» же и такого «акцента» нет.

Если считалось, что эта книга создана в «прекрасном далеке» (не только географическом) от России, то что же сказать об Украине? Ни единого упоминания о ней, даже самого этого имени не найдем мы здесь, даже отдаленных признаков, глухих отголосков украинской стихии. Украина осталась где-то за горизонтом жизни...

Давным-давно, еще гимназистом, Гоголь напророчил самому себе: «...Меня судьба загонит в Петербург, откуда навряд ли залечу когда-либо в Малороссию. Да, может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге...» (X, 111). В холодном, быстро опостылевшем Петербурге, куда он, по замечанию Е. Маланюка, охотно спроваживал «своих оборотней, ведьм и чертей» [2], Гоголю так и не «досталось» прожить и окончить свой век, однако и домой вернуться — во всяком случае в духовном смысле — не довелось...

---

[1] См.: Залыгин С. Вступление.— Новый мир, 1987, № 4, с 174.

[2] Цит. по: Шелест Володимир. Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом—Ленінградом і її відображення в літературі. Мюнхен—Ватерлоо, 1974, с. 35.

Гоголь рано покинул Васильевку. Уже девятилетнего Никошу, вместе с младшим братом Иваном, вскоре умершим, мы видим в Полтаве, сначала в поветовом училище, затем в доме учителя Гавриила Сорочинского; через три года — Нежин, гимназия высших наук князя Безбородко, а там и Петербург. Отныне ему суждено быть редким, очень редким гостем в родном доме. Но живые нити сохранялись еще долго. В Нежине, не говоря уж о Полтаве, он чувствует себя по-прежнему членом семьи: радуется каждой весточке «о нашем крае» («родной и дым приятен»; X, 62), томится от каникул до каникул, рисуя себе мысленно «все милое сердцу», «милую Родину», «тихий Псёл» (X, 47), он все еще словно живет в привычном кругу родных, близких, соседей, «все так спестрилось в моем воображении» — дальняя-предальняя родственница княжна Хилкова, дядины собаки, «глубокомысленный Дорогой», «остроумная Пурпура» (X, 107), соседи — помещики Надержинские и Ксения Федоровна Тимченко, по прозвищу «Чцю́цюшка»... В ушах еще звучат семейные шутки, знакомые слова и интонации: «А пани́ч нежиньский мини письмо пише, э... А що, чи вы бачили? Ось воно. Э... Э...» (X, 108).

И из Петербурга Гоголь поначалу шлет поклоны «всем родным и знакомым моим» (X, 155), в одном из писем признается, как ему «надоело серое, почти зеленое северное небо, так же как и... однообразно печальные сосны и ели» (X, 239); он еще полон живых воспоминаний, впечатлений, замыслов, уходящих корнями в родную почву, жадно тянется к национальной истории, даже публикует в газетах объявление о намерении издать «Историю Малороссии», к украинскому фольклору и этнографии — выписывает в свою «Книгу всякой всячины» и М. Максимовичу посылает «Виршу, говоренную гетману Потемкину запорожцами...», собирает народные песни, по его собственным подсчетам, «не менее 300 песен совсем особых, неизвестных другим собирателям» [1]. Одна из песен («Чорна рілля зорана...») приписана к письму, адресованному Пушкину. Мечтает Гоголь о кафедре в Киевском университете, о переезде в Киев — эти «русские Афины, богоспасаемый наш город» (X, 291): «Туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный Киев! Он наш, он не их...» (X, 288). Национальные чувства писателя порою даже несколько перехлестывают через край. «О, Русь, старая, рыжая борода, когда ты поумнеешь?» — восклицает Гоголь в письме к Максимовичу, сетуя на то, что художник-«малоросс», «который один мог бы сделать национальную виньетку» к сборнику украинских песен, «пропал как в воду», пришлось доверить неумехе, и тот «наляпал каких-то чухонцев» (X, 249). В другом письме он со-

[1] См.: Песни, собранные Н. В. Гоголем. Изданные Г. П. Георгиевским.— В кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 2-й. СПб., 1908, с. 7.

ветует тому же адресату: «Бросьте, в самом деле, кацапию, да поезжайте в гетманщину»[1] (X, 273). И еще к нему же: «Что ж, едешь или нет? влюбился же в эту старую толстую бабу Москву, от которой, кроме щей да матерщины, ничего не услышишь» (X, 301).

В первые годы жизни за границей голубая высь Кампаньи еще рождает воспоминание о полтавском небе, в облике Вечного Города чудится что-то неуловимо старосветское, близкое сердцу. «Что сказать тебе вообще об Италии? — пишет Гоголь Данилевскому из Рима.— Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам» (XI, 95). Еще в конце 30-х годов, в Вене, он вынашивает замысел драмы из украинской истории; вновь, после «Ревизора» и других комедий, посвященных российской действительности[2], с наслаждением окунается в атмосферу родной старины, в воображении «выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества», украинские песни опять у него «под рукою», и на душу «нашло само собою ясновидение прошедшего» (XI, 241). В Риме Гоголь работает, одновременно с «Мертвыми душами», над второй редакцией «Тараса Бульбы».

Но то был последний «малороссийский» всплеск... В написанных несколько лет спустя «Выбранных местах...» безраздельно властвует уже одна Россия, в этом обобщенном понятии образ отчего края растворен целиком, без остатка. Как писал

---

[1] Гетманщиной полуофициально называлась Левобережная Украина вместе с Киевом, оставшаяся в составе России после Андрусовского перемирия с Польшей в 1667 году — фактического раздела Украины. В официальных документах царской администрации эта часть именовалась Малороссией, в отличие от Слободской Украины, или просто Украины (нынешняя Харьковская область, части Сумской, Донецкой, Луганской, Воронежской, Курской областей). После того, как Екатерина II упразднила сначала гетманство, затем полковое административно-территориальное устройство и образовала Киевское, Черниговское и Новгород-Северское наместничества, Гетманщина перестала существовать. В том, что Гоголь пользуется этим к тому времени анахроничным понятием, без сомнения, чувствуется подчеркнутый пиетет к утраченной национальной государственности.

[2] С. Венгеров, правда, считал, что к этой действительности Гоголь относился «прямо как иностранец» и всегда изображал «только свою родную, миргородскую, нежинскую, полтавскую», то есть «малорусскую», а не «общерусскую» жизнь. В том же «Ревизоре», по мнению Венгерова, «действие происходит не в бесцветном русском уездном городишке, не в степенной, от века беспробудно спящей Чухломе, а именно в Нежине или даже в Миргороде...» (Венгеров С. А. Собр. соч., т. II. СПб., 1913, с. 138, 133). Между прочим, близок к этой точке зрения и Олесь Гончар, который в статье «Гоголевскими дорогами» замечает, что «юный психолог, впечатлительный, любознательный, оказавшись впервые в большом губернском городе (Полтаве.— *Ю. Б.*), вряд ли «не проявил бы интереса к окружающей жизни» — ведь это был «не просто еще один провинциальный барчонок, а будущий автор «Ревизора» и «Мертвых душ» (см.: Вінок М. В. Гоголю, с. 8).

С. Ефремов, «Украина и Московщина сливаются в ...абстрактную «Русь»...[1] «Нужно любить Россию...» — вот лейтмотив книги. «...Не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, — внушает он А. Толстому, — а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам» (VIII, 301).

Это ли не странность, не подлинная загадка?

Знать досконально историю «нашей единственной, бедной Украины» (X, 284), на просторах которой гуляла когда-то казацкая сабля его полулегендарного предка Остапа Гоголя, причем знать глубоко (Гоголь изучил многочисленные труды отечественных и зарубежных историков, летописи Самовидца, Величко, Грабянки, народные исторические песни и думы, восторгался знаменитой «Историей русов»), и не только знать, но сердцем прочувствовать ее драматизм; задумываться над кровавыми ее загадками, над судьбой такой трагической личности, как оболганный, со всех официальных амвонов проклинаемый Иван Мазепа, — и не уделить всему этому ни единого слова на историософских страницах «Переписки»...

Впечатляюще изобразить жизнь запорожской республики, основанной на принципах самоуправления и демократизма, воспеть дух равенства и братства, господствовавший в казацком «товариществе» и получивший свое правовое воплощение и обоснование в Конституции гетмана Филиппа Орлика[2], — и объявить высочайшей, совершеннейшей формой политического устройства... монархию, а идеальным воплощением нравственности, залогом хозяйственного благополучия как помещика, так и крестьянина, — крепостнические отношения...

Возвысить писательское Слово, осознать значение «народных начал» как основы основ литературы, ее «самородного ключа» — и пройти мимо поэзии Шевченко, младшего своего современника; восхищаться стихами Языкова — и не понять, не оценить ни «Кобзаря», ни «Гайдамаков» (свидетельства Г. Данилевского на сей счет вопиюще противоречивы, научная их достоверность минимальна)...

Как такое стало возможным?

Повторяю: это ли не загадка?

---

[1] Ефремов Сергій. Жертва дводушності. До Гоголевого ювілею.— Рада, 1909, 20 марта (2 квітня).

[2] Этот документ, в котором содержится модель независимого национального государства, основанного на признании естественного права человека и народа на свободу и самоопределение, был принят после поражения и смерти И. Мазепы, в изгнании, в 1710 году, то есть задолго до умеренных деклараций французских просветителей, и по своей демократической направленности не имел аналогов в тогдашней Европе, да и в мире.

О загадочности Гоголя было сказано и написано в русской критике много, но *этой* загадки для нее не существовало. Чернышевский почему-то считает, что в образе мыслей и настроении «Выбранных мест...» нашла свое выражение «природная наклонность, которая очень обыкновенна между малороссами»[1]. Белинский вообще игнорирует эту тему; он подвергает гоголевскую книгу разносу за что угодно, только не за отход от украинской стихии, он побивает автора «Переписки» его же «Мертвыми душами» и «Ревизором», но не говорит ни о «Вечерах на хуторе...», ни о «Миргороде». Удивляться тут не приходится, достаточно вспомнить о пренебрежительно-негативном отношении критика к «малороссийской» литературе, о поистине «неистовом» охаивании им Шевченко; М. Драгоманов (кстати, видевший в «Письме к Гоголю» один из первых «памятников мысли о личном достоинстве и политической свободе в России» и потому издавший его в эмиграции) расценивает это не иначе, как отголосок «старых государственно-сословных привычек»[2].

Недоумевал В. Розанов, вечный отрицатель Гоголя: неужели «он, хохол, и след. чуть-чуть инородец», может «больше любить Россию, крепче любить Россию, чем Великоросс»[3]?

А вот характерное суждение о «Выбранных местах...» современного автора, в других вопросах — буду объективен—ни в малейшей степени не склонного к стереотипам. «Настойчивость, с какой кровный малороссиянин (терминология, как видим, из «единонеделимского» лексикона.— *Ю. Б.*) Гоголь именует себя русским, не случайна. Эта черта вообще необычайно характерна для него, умевшего естественно соединить искреннейшую привязанность к родным местам, совершенно очевидную из посвященных им произведений, со способностью собрать и обнять в своем любящем сердце всю Россию как единое живое тело отечества и не представлявшего возможности расчленения одного народа на взаимно обособленные части и племена»[4].

«Один» народ?.. Сам Гоголь говорит об этом вроде бы и так, но, если вчитаться, все же не совсем так. Да, он полагает, что «обе природы» должны, «слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве». Однако заметим: это именно «обе» природы, отнюдь не «одна», причем «каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой». Поэтому и в себе, в собственной натуре Гоголь «никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином» (XII, 419).

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. III, с. 530.

[2] Драгоманов М. Предисловие.— В кн.: Письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю. Женева, 1880, с. XX.

[3] Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху. Берлин, 1922, с. 125.

[4] Носов В. Д. «Ключ» к Гоголю, с. 66.

Сложный, щекотливый вопрос... И, добавлю, болезненный. В том же письме к Смирновой, из которого взяты приведенные только что высказывания (оно написано в самом конце 1844 года, то есть незадолго до того, как начал формироваться замысел «Выбранных мест...»), Гоголь так отвечает своей корреспондентке, ласково называвшей его «хохликом»: «...Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская...» (XII, 419). Это признание принято у нас комментировать не просто одобрительно, а с каким-то умилением — как свидетельство интернационализма, готовности «собрать и обнять», «слиться воедино». Не знаю, не знаю... Мне слышится совсем другое: плохо скрытая нервозность, растерянность, затаенные горечь и боль, отзвук глубокой, быть может, по-настоящему и не осознанной душевной драмы. Не здесь ли один из истоков того «болезненного настройства», которое уловил в «Переписке» даже доброжелательный к ней и автору Ап. Григорьев?.. Мы можем не принимать данной С. Ефремовым характеристики Гоголя как «жертвы двоедушия», но разве нет правды в таких его словах: «Можно представить, что́ чувствует не обыкновенный, будничный, а великий человек, когда он сам не знает, кто он; какая трагедия происходит из-за этого незнания элементарно нужной для счастья и удовлетворения морального вещи» [1].

Ближе других к пониманию природы «национальной загадки» (не вернее ли сказать — драмы?) Гоголя подошел М. Грушевский. Это была драма национальной интеллигенции, выросшей «на руинах старой Гетманщины» и не подозревавшей, что «со смертью казацкого устройства не перестала жить Украина». Пылкое украинофильство, искренняя любовь к своему краю, его прошлому сочетались с глубоким неверием в его будущее, с горьким чувством исторической бесперспективности и лихорадочным поиском какой-то иной, новой общественной опоры. Гоголю Украина представлялась «дорогой, прекрасной покойницей», он «овеял ее могилу ароматом поэзии — не подозревая ее близкого воскресенья, не подозревая вечной жизни под скорлупой полуистлевших форм». Особенностями биографии, влиянием среды, окружения, состоявшего большей частью либо из русских, либо из «перевертней» — полностью обрусевших украинцев, объясняет М. Грушевский то, что Гоголь «не перешел ни разу на украинский язык в своем творчестве (известен единственный текст, написанный им по-украински, это записка к Б. Залесскому.— *Ю. Б.*), как переходили время от времени «двуязычные» украинцы его поколения, как тот же Максимович, Бодянский, Костомаров и многие другие». Если бы Гоголь, считает ученый, вместо Петербурга, Рима, Москвы пожил в Харькове

---

[1] Ефремов Сергій. Жертва дводушності.

30-х годов или Киеве 40-х, где бурлила национальная литературная жизнь, «литературное наследие Гоголя, пожалуй, не было бы исключительно великорусским» [1].

Тому, кто захотел бы оспорить эти суждения М. Грушевского, кого коробят (надо признать: не без оснований) некоторые крайности в высказываниях С. Ефремова, напоминаю, что обе статьи писались в 1909 году, в особых общественно-политических условиях, когда национальный, и в частности украинский, вопрос приобрел особую остроту. Стало совершенно ясно: без решения этого вопроса, без преодоления сил имперского торможения, без превращения России, как писал тот же М. Грушевский двумя годами ранее в предисловии к сборнику своих статей, «в свободный союз народов немыслимо полное обновление ее, полное освобождение от мрачных пережитков прошлого» [2]. Отсюда — острый полемический тон юбилейных статей о Гоголе, их направленность против духовного «отуречивания», против «врагов украинства», которые стремились сделать из великого писателя «определенного рода символ, знамя и лозунг «общерусизма», на посрамление украинского сепаратизма» [3], и именно им, этим символом, «подпирали централизованные меры и обрусительскую политику» [4]. В такой обстановке было не до спокойного, взвешенного и объективного рассмотрения гоголевского наследия вообще и «Выбранных мест из переписки с друзьями» в особенности. Многие основополагающие для книги идеи, устремленные в будущее, многие социально-нравственные прозрения и предостережения писателя, его духовное послание к соотечественникам не были, да, вероятно, и не могли быть замечены, тем более — поняты и оценены по достоинству; в центре внимания общественного мнения, в значительной мере сформировавшегося под влиянием письма Белинского, оказывались главным образом противоречия, странности, несообразности «несчастной» книги.

Ныне мы имеем возможность и обязаны перечитать гоголевскую «Переписку» новыми, незашоренными глазами, обогащенные, а в чем-то и отягощенные горьким, но в конечном счете целительным историческим и духовным опытом. Такая попытка и предпринята в предлагаемой читателю работе.

Но не упустим из виду и другое. С этой же высоты виднее и драма Гоголя, драма «двух душ». К несчастью, трагически-не-

---

[1] Грушевський Мих. Юбилей Миколи Гоголя.— Літературно-науковий вістник, 1909, кн. III, с. 608—609.

[2] Грушевский Мих. Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки. СПб., 1907, с. III.

[3] Грушевський Мих. Юбилей Миколи Гоголя, с. 606.

[4] Ефремов Сергій. Жертва дводушності.

лепые перипетии национального развития последних десятилетий не только не отодвинули эту драму в прошлое, а, напротив, высветили ее со слепящей очевидностью, сделали для многих из нас понятнее, ближе и... больнее.

* * *

...Май 1848 года. Уже давно отгремели баталии вокруг «Выбранных мест...»; где-то вдали от России мечется в предсмертной тоске главный апологет и главный хулитель Гоголя — автор зальцбруннского письма... А Гоголь — дома, на Полтавщине, в давно покинутой Васильевке, откуда когда-то все начиналось... О чем он думает? Что вспоминает и чувствует? Вот отрывок из письма к Данилевскому: «Подъехал я вечером. Деревья — одни разрослись и стали рощей, другие вырубились. Я отправился того же вечера один степовой дорогой, позади церкви, ведущей в Яворивщину (так назывался небольшой лес неподалеку от усадьбы.— *Ю. Б.*), по которой любил ходить некогда, и почувствовал *сильно,* что тебя нет со мной. Вероятно, того же вечера я был бы в Тóлстом, но Тóлстое пусто, и мне стало еще грустнее...» (XIV, 66—67). Что-то — неуловимое и бесценное — утрачено в жизни, утрачено навсегда... Гоголь успеет еще раз вернуться сюда, но прощание с родным краем уже состоялось. Грустное прощание...

С этим чувством и мы поставим точку.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Барабаш Ю.

Б24 Гоголь. Загадка «Прощальной повести» («Выбранные места из переписки с друзьями». Опыт непредвзятого прочтения). — М.: Худож. лит., 1993. — 269 с.

ISBN 5-280-01466-4

В книге рассматривается одно из центральных произведений Н. В. Гоголя (1809—1852) «Выбранные места из переписки с друзьями». Подробно излагая историю замысла о создании книги Гоголя, анализируя и комментируя содержание ее глав, приводя многочисленные суждения и оценки критиков, автор погружает сочинение Гоголя в широкий историко-литературный контекст.

Б $\frac{4603020101—126}{028(01)—93}$ КБ—20—74—1992

ББК 83.3Р6

Ю. Барабаш

ГОГОЛЬ.
ЗАГАДКА «ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ»

(«Выбранные места из переписки с друзьями». Опыт непредвзятого прочтения)

Заведующая редакцией *С. Князева*
Редактор *Н. Гришкина*
Художественный редактор *Е. Ененко*
Технический редактор *Л. Ковнацкая*
Корректор *И. Лебедева*

ИБ № 6166
Сдано в набор 03.10.91. Подписано в печать 17.03.92
Формат 60×88¹/₁₆. Бумага типографская. Гарнитура «Литературная»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,63. Усл. кр.-отт. 16,87.
Уч.-изд. л. 17,62. Тираж 5 000 экз. Изд. № 1—4365. Заказ 1416.
«С»-176

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Московская типография № 4 Министерства печати и информации РФ
129041 Москва, Б. Переяславская, 46